



International Literary Magazine

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

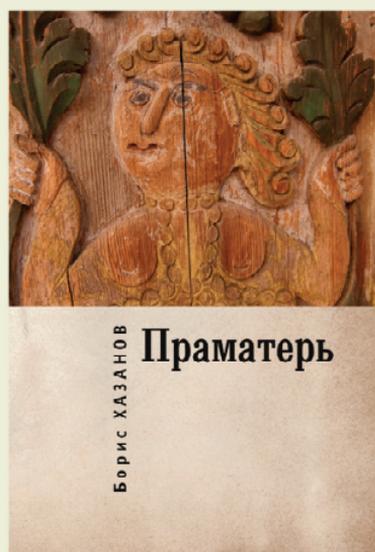
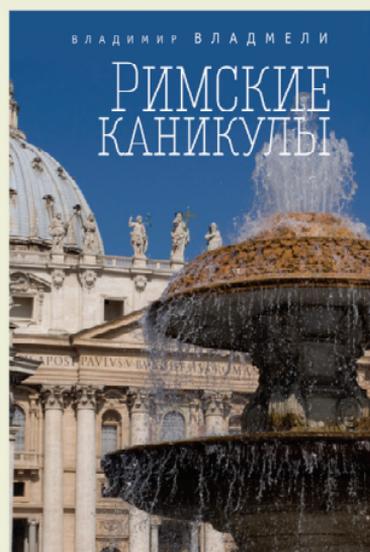
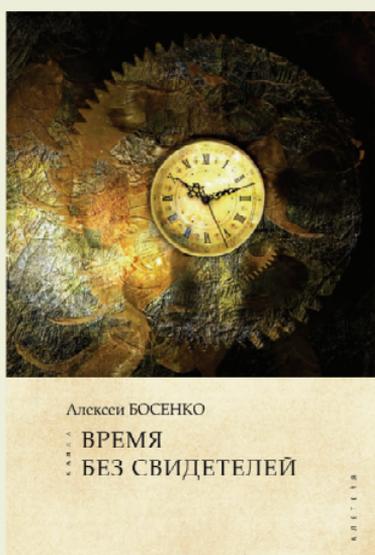
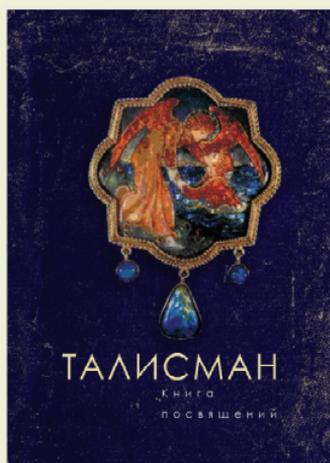
.....

#81

#81

KRESCHATIK
International Literary Magazine

В издательстве «Алетейя»
вышли в свет книги:



Международный
литературно-
художественный
журнал



Главный редактор

Борис Марковский (*Германия*)

тел. (+49) 152-09-682-195

Зам. гл. редактора

Елена Мордовина (*Киев*)

тел. (+38) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (*Москва*),

Виталий Амурский (*Париж*),

Борис Херсонский (*Одесса*),

Игорь Савкин (*Санкт-Петербург*),

Борис Констриктор (*Санкт-Петербург*),

Владимир Алейников (*Москва*),

Вальдемар Вебер (*Аугсбург*),

Сергей Шаталов (*Донецк*),

Айдар Хусаинов (*Уфа*)

Художник

Иван Граве (*Санкт-Петербург*)

Год издания двадцать первый

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskiy, Korn Str. 22

28201 Bremen, Deutschland

e-mail: borismark30@T-Online.de

<http://www.kreschatik.kiev.ua/>

<http://magazines.russ.ru/>

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

192171, Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 53

Журнал выходит 4 раза в год

ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2018 г.

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Александр Амчиславский / <i>Торонто</i> /	«Ведь уже еле дышишь...»	5
Сергей Попов / <i>Москва</i> /	«На раннезимнее стекло...»	53
Майя Шварцман / <i>Гент, Бельгия</i> /	Прогулка по кругу	80
Владимир Кривошеев / <i>СПб.</i> /	Обретённое и явленное	92
Гари Лайт / <i>Чикаго</i> /	Несовпадение во времени...	150
Светлана Заготова / <i>Донецк – Киев</i> /	Мир уходит	163
Александр Габриэль / <i>Бостон</i> /	Цена слов	169
Борис Херсонский / <i>Одесса</i> /	«юность это басня без морали...»	177
Григорий Брайнин / <i>Донецк</i> /	Я вышел к морю...	187
Анастасия Андреева / <i>Брюссель</i> /	«это — наше с тобой...»	209
Андрей Гушин / <i>Киев</i> /	«По белому, неверному, весеннему...»	266
Борис Ванталов / <i>СПб.</i> /	Пир	288
Дмитрий Артис / <i>Москва</i> /	«У меня в кармане ножик...»	297
Валентин Нервин / <i>Воронеж</i> /	«Хочу дотянуться до Господа Бога...»	307

Проза

Борис Берлин / <i>остров принца Эдуарда</i> /	Placenta previa	11
Я. Удин / <i>Саратов</i> /	Преемник	58
Тамара Ветрова / <i>Париж</i> /	Город двойников	86
Андрей Загданский / <i>Киев</i> /	Лия. Документальная повесть	99
Александр Чекрыжев / <i>Кемерово</i> /	Сегодня случатся странные вещи	153
Йосси Кински / <i>Гамбург</i> /	К Элизе. Рассказ	164
Григорий Вахлис / <i>Иерусалим</i> /	Евангелие от Никодима	171
Дмитрий Верещагин / <i>Москва</i> /	Иванка. Рассказ	182
Сандро Гребнев / <i>СПб.</i> /	Рыжий в Мексике	189
Руслан Омаров / <i>Париж</i> /	Телец и Кузина. Рассказы	211
Сергей Катюков / <i>Москва</i> /	Смотритель тишины. Рассказ	224
Михаил Тарковский / <i>с. Бахта</i> /	Таня. Рассказы	243

Переводы

Артюр Рембо / <i>1854–1891</i> / Перевод Анатолия Добровича	Пьяный корабль	220
--	----------------	-----

In memoriam

Виктор Кривулин / 1944–2001 /	Путешествие через Комарово. <i>Поэма</i>	230
Евгений Вензель / 1947–2018 /	«благожелательные дýхи устают...»	323

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Евсей Цейтлин / Чикаго /	Эмиграция как сон	268
Дария Кошка / Харьков /	Дальний собеседник сегодня...	291
Николай Караменов / Александрия /	По ту сторону жизни	299
Вл. Порудоминский / Кёльн /	Было — не было. <i>Из цикла</i>	
Евсей Цейтлин / Чикаго /	«Писатели Русского зарубежья»	310
Александр Карпенко / Москва /	«И каплет время...»	329
Елена Малишевская / Киев /	Обними свой город	332
Илья Иослович / Хайфа /	Катя Капович как зеркало русской революции	334



Александр АМЧИСЛАВСКИЙ

/ Торонто /

* * *

Ведь уже еле дышишь, а часто и вовсе не,
сам же знаешь, как крошатся зубы о каменный воздух,
рвётся горло и стонет изношенный остов
твоего корабля, не плывущего даже во сне.
Ночь кому-то нежна, а тебе лишь углы в сундуке,
перегнуться за борт — так же верно, как биться об стену,
табуны одиночеств охотятся в небе за сеном
и помимо тебя продолжаясь, летят по дуге,
сам же видел, а утром, не помня, что чудом не сдох
чьей-то волей — плевать, попушеньем, остатком аванса,
ковыляешь к столу и мучительно белый листок
очерняешь как можешь земным ремеслом самозванца,
по сусекам скребёшь, наряжаешь в чужие слова
карандашную исповедь — там всех милей и безгрешней
лишь твоя, не дававшая ягод черешня,
и прозрачнее всех не дававшая тени айва.
Этот голод собачий от жара других очагов
прижимает к земле, заставляет копаться в объедках,
виновато глотать парафразы премудростей ветхих
и глаза отводить под чугунной оправой очков.
Не уймёшься, я знаю, и тем, на крылатых конях,
не взмахнёшь, бедолага, чернильною сажеей утешен,
Бог с тобой, если завтра до сердца прольётся коньяк
или бурая кровь не рождённых тобою черешен.

Январь 2018

* * *

Ещё до ночи дела нет,
ещё как днём тепло и сухо,

и колокольчиком над ухом
«любимый, помни обо мне»
звенит, и перегретый свет
голубит яблоки на блюде
и зайчиками на батуте
беззвучно прыгает в листве.
До полусна рукой подать,
но рядом-рядом, мелко-мелко
дрожит над яблоками белка,
переживая благодать,
и день уводит за собой,
весь жар его и полудрёму...
У сосен тяжелеют кроны
над линией береговой,
закат готовится вовсю —
утихомиривает певчих,
бескрылых нас молчаньем лечит
и держит время на весу.
Случится всё, что он решил,
позволив смешиваться краскам,
взыграет золото на красном
и свет исчезнет, как не жил.
Зачем же, не боясь огня
последнего для этой ночи,
звенит всё тот же колокольчик
«любимый, не забудь меня».

Декабрь 2017

ИЗ ЦИКЛА «СНЫ»

1

Тот коридор широк и будто пуст,
а мы в нём — не скажу, что безголосы,
но так тихи, малы, простоволосы,
идем, лопочем, не смыкая уст,
и каждый о своём, важнее нет —
старушка сына ждёт, и всё напрасно,
художник заговаривает краски
по-прежнему с холстом наедине,
помятый классик, вид подрастеряв,
жалеет о забытом предсказанье,
обжора вспоминает о лазанье,
изменник-муж привычно гонит страх,

поэтка нежным взором берedit
смешной гитары тоненькие струнки,
и тянутся рифмованные слюнки
к её недоцелованной груди,
потом, едва ногами шевеля,
какой-то седоватый плечи горбит,
по стеночке, молчком, готовый к скорби,
а я глазам не верю, это — я
и там, и здесь, чудны твои дела,
проснуться б, но спасаются иначе,
а он уходит, это ж я ведь, Амчик,
иду босой, в чём мама родила,
и остаюсь, туда идти боясь,
располовинен полуночной дурью,
плюю, стучу, крещусь, на воду дую,
с самим собой утрачивая связь,
и кто бы мог подумать, кто бы мог —
срываюсь, догоняю, обнимаюсь,
одна надежда — за ночь оклемаюсь,
и больше не ложусь на левый бок.

Февраль 2018

2

Не стой в дверях, смелее, странный вор,
старик затих, да он и так безвреден,
который год пропавшим сыном бредит,
а ты... как будто вылитый в него —
ссутулился, лицо в морщинах, сед,
живой, но как беспомощна усмешка,
не с облака явился, так не мешкай,
входи, перекрывая лунный свет,
в который жизнь родителя стекла —
ты убежал, и замерли тоскливо
скульптуры, инкунабулы, стекла
ганзейского тяжёлые отливы,
ты в детстве, помню, гладил их рукой
и часто мог, выведывая тайны,
заснуть над полюбившейся строкой
и улететь за ней на берег дальний,
напрасно день с утра тебя искал,
играя на рассвете в узнаванье,
то горлицей постукивая в ставни,
то зайчики пуская с ближних скал,
напрасно — ты в отцовский кабинет

спешил за стол с грифонами усесться
вычитывать слепые палимпсесты,
где живы были те, которых нет,
а там, как раньше, в бешеный намёт
срывались кони, скалились горгульи,
и в лица обращался ржавый мёд
инталий из разрушенного улья,
текли колонны к городу, и ты
их вёл на штурм, и плавилась от крови
дворы, дома, проваливались кровли —
дышали жаром ветхие листы
на дереве стола и пальцы жгли,
но от себя тебя не отпускали —
...уже с посеребрёнными висками
ты принимал солдат, и мимо шли,
крича победу, злые ветераны...
ты убежал, я помню, утром рано,
искали все, но так и не нашли.

Мать отказалась от еды и сна,
вода и хлеб, да ночи у распятыя,
коленопреклонённая, она
не выпускала Бога из объятий
и умерла, поди-ка измени
самим собой записанный пергамент,
когда внизу сыновними руками
поставленный, чернеет именник.

Ступай же, вор, и больше не кради,
оставь чужие сны, сюда входящий,
а что услышал, выбрось в долгий ящик
по коридору дальше, впереди.

Март 2018

* * *

Как пел ты, чужак, будто сверху на землю глядел,
раздаривал небо на бедность, паря над дорогой,
но что нам твой бисер, ты, главное, землю не трогай,
а небо ты выдумал, нет его, птенчик, нигде.
Не с лёгкой руки мы печальные песни поём,
хороним друзей, понимая, что дело за малым,
но звонким обманом не тешим, не кличем, не маним,
и ты, легконогий, не знаешь, что будет потом —

никто не вернётся, посмертные тряпки сорвав,
не выпустит веером карты обителей новых,
земля равнодушно берёт и святых, и виновных,
и холодно с верой твоей в одиноких церквах,
чьи камни когда-то служили привычным богам,
и жертвенной кровью, кусками горелого мяса
взывалась победа над каждым, и мир набухал,
как клещ на собаке, и рос, и никак не менялся.
Ты был бы тогда, тонкошейей, прибит на столбе
и, руки раскинув, едва ли б на небо вознёсся,
но боги ослабли, и страшно, что время — тебе,
и страшно вдвойне, что, уйдя, никогда не вернёшься.

Декабрь 2017

MAME

Да, я сижу и слушаю музыку из местного парка,
не важно, о чём она, знаю — всё равно о любви,
как, впрочем, и весь этот божеский алфавит
на губах марокканской еврейки
или, по-здешнему, марокканки.
Мама рядом, слушает и не слышит, ищет глазами
случайное облако, помнит, Израилю нужна вода,
говорит: «Сыночек, как же так, Сара на шин,
а Саша — на самех,
но это всё равно рядышком, да?»
Вчера зажигали факелы, поминали убитых,
пылали все шесть, каждый за миллион,
я говорил ей: «Мамочка, мы будем с тобой в седьмом»,
мама плакала, а потом мы ели клубнику.

Апрель 2018

* * *

Перевернутая лодка на траве,
домик спрятался у речки в рукаве,
птица молча тонет в воздухе пустом,
тихо-тихо, остальное всё потом,
остальное всё... но нет его нигде,
даже небо умещается в воде,
прикоснёшься, и, послушное руке,
замедляется течение в реке.

Тихо-тихо, как в поленнице дрова,
спят ненужные молчанию слова,
я один, и кто-то шёпотом зовет,
что закат вот-вот и жизнь уже вот-вот.

* * *

И.О.

Рассказывай мне, девочка, про всё,
развязывай, руби узлы мирские,
так ветрено легки и так близки мы,
что, видно, наше яблоко рассёк
случайный дух и походя объел
до сердцевины обе половинки,
и мы с тобой на крохотной тропинке
столкнулись, поздние, от дел устав и тел,
уже всё можно, благо, не томит
ни жар ушедший, ни грядущий холод,
наш голод друг по другу чист и долог,
дымится поле к вечеру, а мы
с лесной опушки смотрим на закат,
на это, к счастью, пройденное поле,
как трудно выйти из родной неволи
и с муками к свободе привыкать,
когда невосполнимы голоса,
и клавиш разнополюе полоски
родные воскрешают отголоски
и чем-то мокрым водят по глазам,
рассказывай, пускай звучат шаги
от слова к делу и от дела к слову,
как ты гуляла по небу земному
и вечно выходила за флажки,
я был бы там — и тоже посягнул
на переходе отзвука в безмолвье
шагнуть к тебе и на летящем слове
поймал и не оставил бы одну.

Декабрь 2017



Борис БЕРЛИН

/ остров принца Эдуарда, Канада /

PLACENTA PREVIA¹

... знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч;
о, если бы ты был холоден, или горяч!

Откровение св. Иоанна Богослова, (15, гл. 3).

ЧАСТЬ I БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ

Солнце на двоих

Она вдруг решила постричься. Коротко, когда-то это называлось «под мальчика». Неужели для этого нужно было ехать в Париж?

— И для этого тоже, — голос в телефоне засмеялся и брызнул счастьем. — Вот фото, лови!

Ее, ставшие огромными, черные глаза, гладкий белый лоб, а еще угловатые плечи, выступающие ключицы и острые коленки — почти дитя. Не хватает лишь гривы темно-каштановых волос, и что же мне теперь с этим делать?

Хоть плачь.

— Сержу нравится, он говорит, что это стильно.

Почему-то, когда речь о нем, голос ее неумовимо меняется, чуть-чуть, как бы это сказать, леденеет. И я это слышу.

Они с Зайцем знакомы уже полгода. Ему почти двадцать девять, и по мне он надежен, как скала, иначе сидела бы она сейчас дома в полной неприкосновенности — отец я или не отец?

Не отец.

Но про это — никому.

Заяц — это Майя. Потому что моя.

¹ Предлежание плаценты, (*мед. терм.*)

Вот альбом ее фотографий, с самого детства. Я смотрю на них и... ну вот, как земля, когда из нее дерево — с корнем. И на всех, слышите, на всех, она светится от счастья, а еще то, что не дает уснуть по ночам — уверенность, что смотрит она на меня. Пусть в сторону, а все равно на меня — всегда. Ведь иначе и жить-то мне зачем? Вам же остается только одно: прочитать и забыть. И все, что я еще напишу, тоже.

Забудьте. Потому что это наше, только наше с ней солнце. Одно на двоих.

Детство — самая короткая пора жизни, но и самая счастливая тоже, потому что она, жизнь, хоть уже и началась, но еще нет ничего, кроме любви к своему чаду, своему собственному чуду, постоянной, острой нужды друг в друге и упрямой надежды, что уж ему-то жизнь обязательно улыбнется.

Мы остались вдвоем, когда ей только-только исполнилось шесть. Произошло все как-то неожиданно, а, может быть, слишком поздно спохватились и врачи и мы. Марина, так звали мою жену, угасала очень быстро, но все-таки успела, все-таки успела признаться мне, что наша Майка, на самом деле, вовсе не моя дочь. Сказала, что не может уйти просто так. И я даже не успел спросить — чья?

Я простил ее, не сразу, со временем, но простил. Наверное, потому что любил. А главное, со мной оставалось мое чудо, моя маленькая Зая, моя-не моя дочь, и о ней надо было по-прежнему заботиться, растить ее, любить. Оставаться ей отцом...

Парижская зима и не зима вовсе — праздник. Солнце, платаны, невозмутимо шагающие вдоль набережной, небо — самое прозрачное небо на свете. И над всем — волшебное лицо ее, глаза бездонные и эта странная прическа. Черт его знает почему, но она мне нравится и такой, хотя, конечно, полное безобразие, да и холодно ведь ей на ветру, — декабрь, как ни крути. А взгляд у нее нет, не грустный, а словно дымкой подернулся, словно она этой дымкой от всего мира, даже от меня, отгородиться хочет.

— Оно и понятно, — бормочу я сам себе. — Влюблена она, вот и все. Первый раз у нее это серьезно, я-то знаю. В ее девятнадцать так оно и должно быть...

— Папа, я почти ничего не слышу. Что ты сказал?

— Ничего, это я так. Я фото разглядываю.

— Ну и как? Как я тебе? А Париж?

— Ты у меня лучше всякого Парижа. Не холодно там тебе? Смотри не простудись.

— Что ты, тут тепло. Представляешь, скоро Новый год, а снегом и не пахнет, не то что у нас.

— Все я представляю. Ты, главное, себя береги, не заболей перед самым праздником.

— Пап, да ты не волнуйся, этого просто не может быть, у нас слишком грандиозные планы.

— Ну да, в твоём возрасте других не бывает.

— А где ты будешь на Новый год? Это ведь впервые, когда мы не вместе встречаем.

— Пока не знаю. В этот раз вроде бы Наташина очередь гостей принимать. Мне, правда, как-то не очень хочется... В общем, что-нибудь придумаю.

— Слушай, а если с нами по скайпу, а? Давай, я позвоню тебе без пяти двенадцать?

— Так ведь без пяти двенадцать в Париже и здесь...

— Ой, вот я балда! Ну ладно, ещё целых четыре дня, придумаем что-нибудь. Созвонимся, да?

— Обязательно. Береги себя. Сереге твоему привет.

— Хорошо, пап, спасибо. Ты у меня самый-самый лучший, вот самый-самый...

— Я не самый-самый, а единственный. Я у тебя, а ты у меня. В этом-то все и дело. Ну, целую. Пока...

Санкт-Петербург большой город, большой и красивый — живи и радуйся. Так оно, более-менее и происходило: Майя пошла в первый класс, я ушел в частный бизнес и вполне себе неплохо зарабатывал. Наверное, все бы так и продолжалось, если бы, как сейчас принято говорить, меня не «подставили».

Нет, я, конечно, повоевал — до того момента, когда стало очевидно, что угрожает все это не только мне, но и ей тоже. Дальше все покатило само собой и быстро: продажа всего того, что еще можно было продать, включая квартиру, и отъезд за границу, то есть в никуда. Если хотите, можете называть это бегством, выбора у меня не было, зато было, что спасать, вернее, кого: мое собственное счастье было со мной, и я был за него в ответе.

Накануне отъезда, в пустой и уже не нашей квартире, где не осталось ничего, кроме эха и темнеющих в углу баулов и чемоданов, мы провели нашу последнюю ночь на брошенном прямо на пол старом матрасе, даже не раздеваясь. Прошлого уже не было, а будущее еще не наступило. Мир сжался до тусклого пятна на потолке от уличного фонаря и ее сонного голоса.

— Папа, а мы надолго уезжаем?

— Надолго. Я думаю, навсегда.

— А навсегда — это сколько?

— Это... пока сердце бьется.

— А почему?

— Почему бьется?

— Нет, почему уезжаем?

— Как тебе объяснить... Ну вот, например, у тебя есть любимая игрушка?

- Да, которую мне Дед Мороз подарил на Новый год.
- Вот-вот, заяц твой. Ты же его любишь, а значит, хочешь, чтобы ему было хорошо, чтобы завтра ему было лучше, чем сегодня, правда?
- Да.
- А я люблю тебя гораздо больше, чем ты своего зайца, гораздо-гораздо больше. И поэтому увожу тебя в завтра.
- А в завтра где мы будем жить?
- Вот приедем, там и решим. Я тебе уже объяснял, помнишь?
- Помню, только мне все равно про это думается.
- А ты думай о том, что уже давно пора спать. Завтра у нас с тобой очень трудный день. Утром мы еще здесь, а вечером будем уже совсем в другом месте, даже в другом мире. В завтра.
- А мама?
- Что мама?
- Мы ее здесь оставим?
- Ну, что ты, конечно, нет. Она полетит вместе с нами.
- Так ведь она не знает, куда. Мы и сами еще не знаем.
- Мы нет, а она да. Она там, наверху, знает гораздо больше нашего, и куда мы летим, и что с нами будет.
- Даже больше, чем ты?
- Как тебе сказать... Кое-что, самое главное, я знаю тоже.
- А самое главное, это что?
- А ты спать собираешься? Вот это и есть самое главное.
- Ну, ответь, и я сразу засну.
- Обещаешь?
- Обещаю.
- Мы будем искать наш дом и обязательно найдем. Это и есть самое главное.
- И какой он будет? Такой, как этот?
- Нет, намного лучше. Нам же в нем долго жить предстоит, очень-очень долго.
- Расскажи про него.
- Он будет просторный, с верандой и плоской крышей, чтобы на ней можно было загорать, или чай пить, или принимать гостей. Вокруг трава и деревья, и совсем недалеко до берега.
- До берега? Там что, есть речка?
- Может, и речка... Слушай, а давай, чтобы море? Или, еще лучше, океан.
- А чем он лучше?
- Во-первых, он больше, а во-вторых, океан — это самое-самое. Океан, это океан, понимаешь? На него можно глядеть сколько угодно, и кажется, что больше ничего нет на свете.
- Получается, как на острове?
- Ах ты, моя умница. На острове, да. А теперь спи...

Во всяком случае, мне это казалось тогда несбыточным, но ведь, если очень-очень захотеть, то почему бы и нет? И знаете, с тех пор мое мнение совсем не изменилось, — ведь мы на самом деле стали островитянами, без шуток. Остров наш маленький, не на всякой карте виден, каким ветром нас сюда занесло, это отдельная история. Может, когда-нибудь я и расскажу ее, вот только приду в себя от неудержимо-стремительного Майкиного взросления, смирюсь, что она уже не моя и никогда не моя — и расскажу. Про то, что эмиграция может быть просто путешествием, что любовь — это не быт и не секс, а непроходящий голод, что разлука — никогда не навсегда. Потом расскажу. Не сейчас.

Сейчас только про Зайца и Париж.

И, само собой, про остров.

Дюк

Вот ведь, как только начинаю про Заю мою, про мое неродное дитя, выходит обязательно вздох и наперегонки с самим собой, и именно поэтому очень похоже на нее. Нет, не внешне — если бы так. Она у меня... ну вот, застынет вдруг и начинает рассуждать о письменности у муравьев. Или прочтет что-нибудь этакое и тут же ко мне: «Послушай, как здорово: вечность — это просто у времени за углом». И улыбка, и сразу, откуда ни возьмись, солнце — а за окном дождь, ненастье, слякоть...

Я смотрю не нее и перестаю понимать себя, а может, наоборот, только начинаю. Что такое я? Что такое она? Что такое мы с ней вместе? Есть внутри нас мысли и желания, которых лучше и не осознавать вовсе, потому что стоит им выйти наружу и, словно джинна из бутылки, обратно не загонишь. Когда они от ненависти — страшно. Не дай бог, угнездится в тебе такое и пока не заберет тебя целиком, не прикончит, не остановится.

А когда — от любви?

Остров, это всегда океан и небо. Иногда, как сегодня, хмарь до самого горизонта, которого нет. Виден лишь берег и силуэты скал метрах в трехстах от него. Снегопад почти кончился, впрочем, и небу и океану это все равно.

Сзади меня окликают, и я точно знаю, что это Дюк. В такую погоду и в это время здесь можно встретить только его.

— Привет, Питер!

Я уже давно привык к своему новому-старому имени, кроме того, оно напоминает мне мой родной город.

— Привет, Дюк! Как дела?

— Маяк горит и слава богу, — он попыхивает трубкой. — Ос- тальное ты знаешь лучше меня.

Вновь он закурил недавно, после того, как ушла Агнешка. Это я так говорю, потому что кто знает, что там на самом деле? Да и не люблю я этого слова: «умерла». Не люблю и все. К тому же ведь никто не видел ее мертвой.

Мы молчим, пока в наше молчание не врываются криками чайки.

— Как дочка? — спрашивает Дюк. — Что-то давно я ее не видел. Все в порядке?

— Она сейчас в Париже. У нее каникулы.

— Ну да, она же у тебя вроде на врача учится, верно?

— На медсестру она учится, хочет с самого начала, снизу. Пусть. В любом случае, ей решать, большая уже.

— Правильно, вот и мир пусть посмотрит, пора.

— Угу, потому и отпустил.

— А что, мог бы не отпустить? Послушалась бы тебя, если что?

— Думаю, да. Послушалась бы.

— Ну, значит, правильно воспитал ее. Тем более, ты ее сам растил, один, так и не нашел себе ни жены, ни даже просто женщины, никого не нашел.

— Она моя женщина — главная и единственная. А больше и не надо.

Последнюю фразу я не произношу, а может, ее просто уносит ветром.

Вот уже полтора года, как я вижу ее — мою главную женщину — от силы раз в неделю, а то и реже. Потому что на нашем острове все по-настоящему, есть даже столица — небольшой, нарядный город с мэрией, больницей и даже аэропортом, где каждый год устраивают авиашоу, на которое съезжается и слетается довольно много народу. И, конечно, университет, ведь именно там проходит сейчас большая и главная часть жизни моей дочери. Только одного не хватает ей — берега рядом.

Она всегда мне рассказывала, ну... почти все. Понятно, у девушки в ее возрасте не может не быть секретов. И все же я знал достаточно, чтобы о ней не беспокоиться, ну, а если уж беспокоиться приходилось, то, по крайней мере, всегда было известно, о чем.

Когда появился он... в общем, мне стоило только раз увидеть их вместе. Язык тела может рассказать многое, а уж язык ее тела я понимал, как никто другой. Они просто смотрели друг на друга, а я... Сам не знаю, как я отпустил ее от себя. Да, я ждал, вернее, ожидал этого, я даже был готов, она не могла и не должна была оставаться со мной без конца. Или все-таки могла?

Кончается все и всегда, и детство тоже. И тогда что же это на самом деле — конец, начало?

Может, судьба?

Дюк всегда, сколько я его знаю, был вполне немногословен, да и с кем разговаривать смотрителю маяка — с чайками? Вот и сейчас мы с ним просто молчим. И молчим об одном и том же.

— Послушай, Питер...

— Ничего, Дюк. Пока ничего. Я бы сказал.

— Знаю. Я тут подумал... А если Интерпол?

— Интерпол ищет преступников, а Агнешка твоя разве преступница? Скорее уж... — я не сказал «жертва», но он, конечно, понял.

Я видел их свадебные фотографии — давно, еще и года не прошло, как мы с Зайцем оказались здесь, на острове. Он сам мне их показал — молодые, счастливые, беззаботные лица. Даже Дюк с его более, чем сдержанным, островным характером. Я не видел его таким никогда после. Хотя, может быть, с Наташей...

То, что началось между ними, скрыть было попросту невозможно, по крайней мере, здесь, в таком тесном мирке, как наш. И не хочешь, а все равно... Вот и Агнешка — не хотела, не хотела, не хотела, а потом просто исчезла, видимо не хотеть уже не осталось сил. Примириться, очевидно, тоже. Зато остались все ее вещи, даже белье, даже косметика. И ее сотовый телефон — посередине их аккуратно застеленной, супружеской постели, он прямо бросался в глаза — случайно ли?

Основная и самая вероятная версия в таких случаях: муж и его любовница избавились от той, которая им мешала. То есть Дюк и Наташа от Агнешки. Скорее всего, так было бы и на этот раз, но в тот вечер, когда она исчезла, у обоих было алиби. Наташа играла с подругами в бридж, а Дюк оказался как раз тогда у меня дома — мы с ним играли в шахматы, пили пиво, смотрели хоккей...

— Я тут недавно беседовал кое с кем по службе, парень довольно долго занимался судебной психиатрией. Рассказал ему в двух словах, без подробностей...

Дюк смотрит на меня с прищуром, — может, от ветра?

— Агнешка нормальная, нормальной нас с тобой...

— Дело не в этом.

— А в чем?

— Во-первых, в том, что ты говоришь о ней в настоящем времени, и это правильно, а во-вторых, в диссоциативной фуге. Слышал о ней?

— Сейчас от тебя.

— Это такой особый вид амнезии, иногда, как следствие непеносимых личных обстоятельств. Забывается все, что касается личности — имя, возраст, семья, прошлое. Человек выходит из дома и пропадает — дома-то нет. Ничего нет. Своего рода бегство от реальности. В остальном он остается вполне нормальным и способен вести обычный образ жизни. Длиться это может до полугода, иногда даже дольше.

— А потом?

— В какой-то момент происходит возвращение к реальности, к себе. Вот так, Дюк.

— Ну что же, я подожду. Вот так, Питер. Но это не значит, что перестану ее искать. А обстоятельства, они у нас у всех были переносимые. Да не были, остались: ведь никому из нас не стало ни легче, ни проще — ни Агнешке, — он вздохнул, — ни мне, ни Наташе. Наташа, она ведь птица — ей летать, а тут никто вроде и не виноват, и все кувырком...

Фразы длиннее я от него не слышал никогда.

Из-за дюн движется к нам тонкая фигурка с копной летящих черных волос. Так легко, будто ее несет ветер.

Недаром говорят: помянешь дьявола, и вот он, тут, как тут.

Наташа

Фамилия Дюваль досталась ей в наследство от мужа, как и дом, прилепившийся к скалам и сросшийся с ними настолько, что кажется просто еще одним утесом, таким же серым, как ее глаза и слегка замшелым от прильнувшего к стенам плюща. Сам Дюваль, вернее, его портрет, висит теперь в гостиной напротив окна во всю стену, и глядит на океан круглые сутки, — ни штор, ни занавесей, ни жалюзи в доме нет. Наташа их просто не признает — даже в спальне.

— Мы с океаном давние любовники, — усмехается она в ответ на недоуменные вопросы. — Нам ли стесняться друг друга?

Ветер треплет ее волосы всегда, даже, когда его нет, хотя таких дней в наших краях наперечет. Ей сорок вот уже лет восемь, по крайней мере, насколько я помню, но время от времени я ловлю себя на мысли, что они с Зайцем ровесники. В ней польская кровь, и заносчива она бывает, как настоящая полька. В таких случаях я делаю серьезное лицо и обращаюсь к ней: «вельможная пани». И она смеется.

Любовников у нее не было никогда. И Дюк тоже вовсе не любовник — он любовь, любовь всей ее жизни, пусть даже вы думаете, пусть вы абсолютно точно знаете, что так не бывает, но с этим уже давно смирились все — и покойный муж, и окружающие, и даже сам Дюк. Я, честно говоря, думал, что и Агнешка тоже...

Ветер в нашу сторону, и Дюк узнает ее сразу — по звуку шагов ли, по запаху — не знаю, и еще до того, как она появляется у него из-за спины, каменеет лицом, но не оборачивается. Глаза у него делаются, как у больной собаки.

Не вынимая рук из карманов, она встает на цыпочки, на долю секунды прижимается щекой к моей щеке:

— Привет! — и тут же поворачивается к Дюку.

— Как ты? — ее рука ложится ему на грудь.

— Как ты? — она поправляет ему шарф. — По-прежнему ничего?

Он качает головой и все-таки поднимает на нее глаза.

И хотя оба не произносят ни слова, я слышу:

— Прости, ты же знаешь, я ничего не могу с этим поделаться.

— Да. Если кто-то и виноват, то я.

— Никто не виноват, милый. Никто и ты тоже.

— Так не бывает, так не может быть... я не знаю.

— Бывает все, это просто жизнь, а она такая, какая есть.

— Значит, мы никогда не будем вместе, она все равно окажется сильнее.

— Мы уже вместе. Просто ты никак не можешь с этим смириться. Все еще не можешь.

— Может быть... А может, не хочу. Хотя, какая разница?

— Нет, я знаю. Я знаю про нас все, даже то, что еще не наступило.

— Тогда расскажи, помоги мне.

— Не сейчас, еще рано.

— Почему?

— Будущая боль заслонит нынешнюю, а так не может быть. Так просто не должно быть, понимаешь?

Сколько раз эти слова так и не были сказаны? Или были? И если да, то, может, они не только про Дюка с Наташей или даже совсем-совсем не про них?

Неужели я все это выдумал?

— Ну, ладно, — и, чуть помолчав, Наташа обращается ко мне: — На Новый год обязательно приходите вместе с Майей, Питер. В этот раз моя очередь, ты ведь не забыл? Так давно я ее не видела, соскучилась.

— Я тоже. Только нет ее, улетела. Вернется уже после праздников.

— Да? Ну тогда тем более приходи, чего тебе одному дома? Одному одиноко, особенно в праздник. Вот и наговоритесь друг с другом, наконец, ты и Дюк. Ну, или намолчитесь. Вы же у меня первые молчуны на острове. А я уж рядом с вами себе место найду. Сольвейг я тебе, конечно, не заменю, но и скучать не дам. Договорились?

Она машет рукой и мне, и Дюку сразу и уходит, не оглядываясь и унося с собой ветер, который послушно забирается к ней в капюшон просто потому, что это вошло у него в привычку. Мы с Дюком смотрим ей вслед и расходимся тоже. Они остаются вдвоем — океан и небо — они все видят и все знают. Вот пусть и расскажут — хотя бы друг другу...

Сольвейг — так Майю назвал Дюк как раз в прошлый Новый год. Она хозяйничала: раскладывала приборы, расставляла закуски, рассаживала гостей. Дюк наклонился ко мне и ткнул локтем:

— Ишь, как расцвела она у тебя. Красавица. Сольвейг. Гляди, уведут.

— Знаю, что уведут. Но так ведь и должно быть, — я словно слышу себя со стороны, и голос мой бесстрастен. — А почему Сольвейг?

— Говорю же: красавица. К тому же Сольвейг по-древненорвежски еще и хозяйка, — он подмигнул, или мне показалось, — а она ведь у тебя не просто хозяйка, верно?

Уже давно, и я довольно точно помню, когда, я понял, что правда и ложь, это всего лишь изнанка друг друга, впрочем, как и все в жизни. Именно поэтому так легко лгать — даже себе. А уж кому-то еще...

И я пожимаю плечами.

— Главное, — говорю я, — чтобы она была хозяйкой самой себе, а я уж... — и ловлю на себе Наташин взгляд с другой стороны стола. И даже догадываюсь, о чем он. Может быть, даже знаю. Лгать на самом деле легко, но лишь до тех пор, пока вдруг не заметишь, что это уже и не ложь вовсе, а значит и выбора — нет...

После исчезновения Агнешки Наташа стала попадаться мне на глаза в баре. Не слишком часто — два-три раза в месяц. Иногда мы болтали, впрочем, не особо откровенничая друг с другом и, возможно, как раз потому, что было, о чем. К тому же польская кровь давала о себе знать, — она умела пить. Но однажды мы с ней все-таки изрядно набрались. Она вошла, увидела меня, под села, и как-то все само собой закрутилось... Каждый из нас думал и пил о своем, мы и не разговаривали почти, пока ее не развезло. И не понесло.

— Хлопчик, ну ты-то меня должен понять! Кто же еще? Ты, конечно, молчун, но думаешь, я не вижу? — она прищурилась и вздернула подбородок, — Думаешь, я пью? Вовсе нет. Я просто хочу забыть. Только не то забыть, что было, а то, чего так и не было, понимаешь? Не случилось...

— Наташа, тебе больше не стоит... честное слово... пойдём, я тебя отведу домой и сам тоже... мне пора... завтра она приезжает. Ну, идем же...

— Она? А, ну да, Сольвейг... Кто же еще... Ты только молчи, слышишь? Молчи! Пусть они все говорят, а ты — молчи. И не верь. Врут. Про любовь что ни слово — ложь. Потому что про нее вслух нельзя, — взгляд ее становится вдруг совершенно трезвым и чуть насмешливым, — уж ты-то знаешь, — она заплакала.

— Знаю, конечно, знаю. Ну, идем.

— Она вернется, не может не вернуться. И тогда, наконец, все закончится, по-другому просто не может быть.

— Это никому не дано знать. Пока что пусть она просто вернется и все, а дальше будь, что будет.

— Будь, что будет? Да если бы я только захотела...

— Не надо об этом, Наташа. Я этого не слышал.

— Ты хороший, Питер, только это не поможет, — она шмыгнула носом, — ни мне ни тебе. Тебе тоже, слышишь? А говорить об этом и в самом деле ни к чему. А тогда о чем же? Больше-то все равно ничего нет.

Назавтра она попросила прощения.

— Расклеилась я вчера, прости. В самом деле ни к чему это все, просто иногда ужасно хочется быть слабой. Спасибо, что не бросил, Питер, и вообще... Ну, ты сам знаешь. Я у тебя в долгу, а долги я возвращаю. Всегда.

Феличе

Феличе небрит с итальянской тщательностью, кроме того, я всегда засматриваюсь на его руки. Они, как у любого хорошего бармена, постоянно в движении, но Феличе не просто хороший бармен, он бармен от бога, и его руки танцуют — то джайв, то пасодобль, то бог его знает, что — в зависимости от напитка и его неумемного темперамента.

Он видит меня и улыбается.

— Chao, amico!

— Привет, Феличе!

Феличе означает счастье.

На острове два официальных языка — английский и французский, но чаще всего мы говорим на невообразимой смеси обоих, а Феличе к тому же постоянно вставляет родные итальянские словечки, так что выходит нечто совершенно непередаваемое.

Вместо обычной он ставит передо мной изящную коньячную рюмку с золотым ободком и наливает туда «Meukow» почти до краев. Я удивленно поднимаю на него глаза.

— Это мой самый дорогой коньяк, Питер. Для особых случаев. Выпей, я угощаю.

— А по какому поводу? Не припоминаю, чтобы ты когда-нибудь вот так, за здорово живешь...

— Это только для друзей — ты ведь не просто посетитель. Выпей за здоровье маленького Гвидо, Питер! За здоровье моего сына!

— А разве... Ведь у вас с Кончитой нет детей. И, насколько я знаю...

— Знаем только мы трое: я, Лука и Густав, а теперь еще и ты — что Кончита беременна. У меня будет сын, и я назову его Гвидо, так же, как звали моего деда. Поздравь меня, ну!

— Поздравляю, amico! — я хлопаю его по плечу. — Это в самом деле замечательная новость. За здоровье маленького Гвидо и за вас

с Кончитой! — я поднимаю рюмку и опрокидываю в себя содержимое. — Отличный коньяк, Феличе! А где Кончита? Надо ведь поздравить и ее тоже.

— Вон она, — он указывает в окно. — Вон она, моя Кончита.

Я оглядываюсь. Снаружи, неподалеку, там, где ветер лижет розовеющий снег, Кончита кормит чаек.

Кончита, закат и чайки...

— Это нам бог помог, — Феличе следит за ней влюбленными глазами и, кажется, вот-вот заплачет. — Мы так долго пытались. Скажи, ведь правда она похожа на мадонну?

Я согласно киваю. Ну вот, скоро и он станет отцом не своего ребенка. Бог, разумеется, помог бы, если бы не этот плотный крепыш с курчавыми волосами и совершенно человеческим именем Лука. Он, конечно, младший брат Феличе и все такое, но когда он берет Кончиту выше локтя за обнаженную руку и та поднимает на него глаза... Это видят все, кроме самого Феличе, хотя — кто знает...

И при чем здесь любовь?

Есть весна, есть боль, есть разлука, но никто и никогда не сможет соединить несоединимое: запад и восток, солнце и луну, отца и дочь. Разлучить — да. А вот соединить...

О любви вслух действительно нельзя, потому что я и сам не понимаю — кто же я моей дочери на самом деле. Да и солнечные затмения тоже иногда случаются, ну и что? От пустой надежды только хуже — и рад бы забыть, да не можешь. И какая разница, когда я понял это в первый раз?

Иногда по вечерам она подходит и усаживается ко мне на колени — просто так. Обнимает за шею. Последнее время это происходит нечасто и только, если она сама, — я стараюсь избегать этого, как могу. Потому что теперь от нее пахнет морем, и не замечать это с каждым днем все труднее...

Я отворачиваюсь от Кончиты и уходящего солнца. Моя рюмка уже полна снова, а Феличе говорит:

— Конечно, Питер, еще слишком рано, я знаю, но я просто уверен, что будет мальчик, я чувствую и все тут.

— Само собой, но, поверь мне, и девочка, это тоже замечательно. И в следующий раз, кто знает, быть может, у тебя будет еще одна маленькая Кончита, еще одна маленькая красавица. Твоя и только твоя. Разве это не прекрасно? — я делаю крохотный глоток.

Феличе провожает взглядом мою руку, смотрит в окно, и его глаза темнеют. Помолчав, он произносит:

— Моя и только моя, да, ты прав. И вообще, семья, это главное. Дети, братья и сестры — одна кровь. Нет ничего важнее этого, ведь правда? Вот хотя бы мы с Лукой, он на целых двенадцать лет млад-

ше, а мы с ним с самого детства не разлей вода. Потому что — кровь. Вообще-то, пора уже и ему остепениться, только где сейчас найдешь хорошую итальянскую девушку, скажи?

— Обязательно итальянскую?

— Почему же, можно сделать исключение — и одно я знаю точно. Как там, кстати, твоя дочка, Питер? У нее с этим... Сержем все на самом деле серьезно?

Я едва не роняю рюмку — как?

— Откуда тебе это известно? Про Майю и... про этого парня?

Он улыбается — одними губами.

— Это остров, Питер, а он всегда все про всех знает, ничего не скроешь, как ни старайся. Вот так, amico!

Близнецы

Я выхожу на улицу и пока, стоя у дверей, раздумываю идти ли домой прямо сейчас или дождаться, когда Кончита закончит, наконец, кормить чаек, из-за угла появляется Густав — высокий, сутулый, немного нескладный. Я до сих пор не понимаю, почему он называет меня Кнабе — единственным немецким словом, которое я когда-либо от него слышал, потому что немецкого он не знает. Собственно говоря, он называет так всех лиц мужского пола, к которым испытывает симпатию. Кроме того, Густав, как и всякий доктор, обожает порассуждать о смысле жизни, добре и зле, а также сортах виски — в этом он и правда кое-что понимает. Каждый раз, когда я вижу его — на пороге ли своего дома или в любом другом месте, — он произносит одну и ту же фразу: «Привет, Кнабе! Ну, как там моя крестница?» Именно так он называет Майю с тех пор, как однажды спас ее от перитонита, и по-моему, таких крестников у него каждый четвертый или даже каждый третий в округе. У него есть сестра-близнец, похожая на постаревшую Офелию — не только прозрачностью кожи и голубыми жилками на худых запястьях, но и именем Амалия — по крайней мере, так мне кажется. С кем бы и о чем бы не говорила, она размахивает руками, как крыльями, словно вот-вот взлетит. На самом деле лететь ей некуда, она живет, прилепившись к Густаву, как мох к стволу дерева — не отодрать. Да и поздно уже, обоим ведь за шестьдесят...

Феличе прав, остров и в самом деле все про всех знает — непонятно, каким образом, но это так. Я благодарен ему в том числе и за это. Чужие истории бродят тут, как тени — у каждого своя. Вот и у них, Густава и Амалии, тоже — их и только их. Именно они, эти истории, отвлекают меня от моих собственных теней и моего собственного счастья. Вернее — от невозможности его.

— Привет, Кнабе! Ну, как там моя крестница?

Я жму протянутую руку.

— У нее зимние каникулы. Она...

- В Париже, я знаю. И еще кое-что знаю.
- Видишь ли... В общем, меня это уже не удивляет.
- И правильно. Ты не беспокойся за нее, все будет хорошо и даже еще лучше.
- Это как?
- Увидишь, все сам увидишь. Ты сейчас домой?
- А куда же? Только вот дождусь Кончиту...
- Так ведь это может быть долго, очень долго. Ты же знаешь, да?
- Потому и не хочу мешать. Чайки слетаются к ней так, будто она одна из них. Она словно говорит им: «Мы одной крови — вы и я». И они верят.
- Вот-вот. Кончита, она такая... Слушай, Кнабе, можно напроситься к тебе в гости? Здесь шумно, а мне сегодня тишины хочется. Заодно и Амалия проведет вечер в одиночестве, это бывает полезно.

... Как только мы усаживаемся у камина, ветер, наконец, успокаивается. Снежные хлопья сплошной белой стеной, лишь время от времени какая-нибудь особо любопытная снежинка прилипает на секунду к стеклу, заглядывая в окно, и тут же исчезает. Снега — словно на всю оставшуюся жизнь.

— Как обычно? — я вопросительно смотрю на него, держа в руке бутылку виски. — Или, может...

— Ни в коем случае. В моем возрасте не изменяют самому себе, слишком непредсказуемыми могут оказаться последствия, вернее, как раз предсказуемыми, — он смотрит, как я наливаю виски, тянется к стакану, делает глоток. — Хорошо! За то, что шотландцы придумали скотч, я готов простить им даже то, что они одели мужчин в юбки, — и, пожевав губами, добавляет: — Скажи, Питер, тебя не слишком утомит, если я немного пофилософствую? Наверное, это снегопад на меня так действует. Тебе даже необязательно отвечать, просто слушай и все. Кстати, знаешь, почему ты так быстро стал тут своим? На острове ведь не все приживаются, не всех он принимает, а вот вас — тебя и твою дочь — сразу.

— Ну и почему?

— А вы похожи — остров и ты. Во-первых, потому что ты молчун. Но этим тут многие отличаются, местная, так сказать, особенность. Тот же Дюк, например, приятель твой. А ты... ты слушать умеешь. Слушать и слышать. Таких раз-два и обчелся, да и не только тут, я думаю. Потому-то я сижу и разглагольствую сейчас здесь у тебя, а не где-нибудь еще.

— Допустим. Но Майя ведь совсем другая. Совсем.

— Ну и что? Она же твоя дочь, кровь от крови, плоть от плоти, — он делает еще глоток и поднимает на меня глаза. — Ничего удивительного. Хотя, конечно, все бывает. Вернее — чего только не бывает... Ты, кстати, не забудь задумать желание на Новый год, тебе ведь есть, о чем просить, правда? Чего желать?

— Как и каждому из нас, Густав.

— Вот я и говорю — не забудь. Желания, бывает, и сбываются, Кнабе. До такой степени, что я про себя называю остров — ты никогда не догадаешься — Стеной Плача.

Это наша здешняя традиция или привычка — не знаю. Каждый раз в новогоднюю ночь мы вкладываем в пустую бутылку из-под шампанского записки с нашими тайными желаниями, запечатываем ее и бросаем в океан. И они исполняются, по крайней мере, в это верят все, включая и меня самого. То ли потому, что чудеса случаются на самом деле, то ли потому, что мы слишком хорошо знаем, чего ни в коем случае нельзя желать и о чем нельзя просить. Хотя иной раз ужасно хочется попробовать. Сил нет, как хочется...

Виски в стакане ведет себя, как сонный щенок — переваливается с боку на бок и никак не хочет просыпаться, но даже во сне так и норовит лизнуть тебя прямо в губы...

— Амалия моя что-то хандрит. Похудела. И к Наташе не хочет идти. Не потому, что именно к ней, а... Я и сам не знаю, почему. Конечно, может быть, возраст...

— Еще целых три дня, можно и передумать.

— Посмотрим, — Густав выливает в себя остатки виски, удивленно смотрит на пустой стакан и замолкает.

— Может, чаю? — говорю я, чтобы что-то сказать. — У меня есть очень хороший чай. Хочешь?

— Нет, спасибо. Терпеть не могу эти пакетики.

— Я тоже, поэтому завариваю сам. Так хочешь?

— Все равно нет, — он смотрит на бутылку. — Лучше плесни-ка мне еще, а? Такой скотч грех разбавлять... Спасибо, Кнабе, теперь и разговор легче пойдет. Впрочем, я же сказал, отвечать необязательно, я буду говорить за двоих, — он откинулся в кресле и вытянул ноги к огню. — Так, да... Не знаю, известно ли тебе, что мы с Амалией сироты. Женщина, которая нас родила, шестьдесят два года назад, умерла при родах, и я даже не знаю, кто из нас ее убил. Кто из нас младше на те несколько минут, которые стоили ей жизни. Я никогда не говорил об этом ни с кем и с Амалией тоже, потому что лучше, если она не будет об этом задумываться вообще, — я знаю, что говорю. Так вот, женщина эта, как я полагаю, была созданием легкомысленным и несовершеннолетним, к тому же обойденным жизнью — ни мужа, ни каких-либо родственников у нее, по-видимому, не было. Мы так никогда и не узнали даже ее имени, но поверь, Кнабе, я люблю ее и почитаю ее память, ведь она дала мне жизнь и более того, она дала мне Амалию. Это ведь непросто — расти без родительской любви, а если ты еще и одинок... И все-таки, как ни странно это звучит, нам повезло. Сначала потому, что нас не разлучили — мы росли в одном приюте и поэтому остались братом и сестрой. Когда

нам исполнилось пять лет, нам повезло снова — из приюта нас, сразу обоих, взяли добрые люди, которые, как могли, заменили нам отца и мать, — их звали Грэг и Сьюзен. У них была небольшая пекарня. Кроме нас с Амалией там было еще четверо детей, и ни одного общего, так уж получилось. Вообще-то, это отдельная история. Может, я тебе ее когда-нибудь расскажу, а может, и нет, не знаю. Но верно одно — в их семье, в нашей семье, царила настоящая любовь. Я уже долго живу на свете, Кпабе, но больше такого не встречал ни разу. Тебе еще не надоели мои излияния, скажи? — Густав снова делает большой глоток, — Выслушивать такие истории удовольствие маленькое, но иногда и они помогают, правда? Я ведь не ошибаюсь?

— Нет, ты не ошибаешься, — отвечаю я. И потому, что именно такого ответа он ждет, и потому, что так оно, черт возьми, и есть. — Продолжай, Густав, я слушаю.

— Амалия росла резвой и шаловливой девочкой, мне почему-то кажется, в этом она очень походила на нашу мать. Я же, наоборот, был не по годам серьезным и ужасно привязчивым. Иногда я думаю, что мне следовало стать не врачом, а священником, чтобы обратить это качество на служение богу. Но вышло так, как вышло. Впрочем, я не жалею, нет, — он смотрит за окно. — Что-то не припомню я такого снегопада, Питер. Снова будет не проехать. Пока расчистят дороги... Боюсь, в ближайшие дни у меня будет много работы.

— Тебя этим не испугать, это я знаю точно. И какой ты врач, знаю тоже и не я один. Так что, ничего, Густав, перезимуем.

— Перезимуем, да. И не испугать, ты прав. Да и боюсь я уже мало чего, — с возрастом количество возможных потерь все меньше и меньше. Остается лишь опыт, который никому не нужен. Ничего нового, Кпабе, ничего нового. Вот только Амалия, она единственное, что меня беспокоит. Моя единственная женщина, — взгляд его делается отстраненным. — Случись что-то со мной, это будет концом и для нее. Я знаю, что ты подумал, но нет, она никогда не была для меня женщиной в обычном смысле. Никогда. Да и что это такое, в конце концов, — плотская любовь? Разумеется, у меня она была тоже, и немало. Но это было... черт его знает... Как таблетка от головной боли или стаканчик виски, не больше. Ни с одной из этих женщин мне не хотелось просто поговорить, мне было с ними неинтересно, понимаешь? Мне было скучно. И всегда тянуло побыстрее вернуться домой, к Амалии, принять пищу из ее рук, рассказать, как прошел день. И за все время ни одной греховной мысли, веришь?

Я согласно киваю, хотя, скорее всего, он меня сейчас даже не видит.

— Это лишний вопрос, Густав.

— Что же, хорошо, если так. Хотя, повторяю, чего только не бывает, верно?

Я просто пожимаю плечами — а что же еще...

Он наклоняет голову и молчит. Долго, минуты две, не меньше, пока я снова не подливаю ему виски — на этот раз совсем немного.

— Правильно, Кнабе. Ты ведь знаешь, я умею пить. Просто сегодня снегопад, и ты умеешь слушать. То, что я рассказал тебе, я не рассказывал никому и никогда. Но и это не все. Когда-то давно — мы оба были молоды, я только что получил диплом врача и лицензию, — Амалия влюбилась. Она очень сильно влюбилась, — наверное. Впрочем, иначе просто не могло быть, я слишком хорошо ее знаю. И она забеременела. Отец ребенка бросил ее, как только узнал об этом — она оказалась похожа на нашу мать и в этом тоже. Я испугался, я не хотел, чтобы судьба наказала ее еще раз и убедил избавиться от ребенка. Думал, что убедил, пока она не попыталась покончить с собой. Она наглоталась снотворного. Ее спасли потому, что я вовремя вернулся домой. Ее, но не ребенка. И мы с ней остались вдвоем снова, как оказалось — уже навсегда. В конце концов, она оправилась, хотя это было нелегко и долго. Правда, стала молчалива и начала курить, но со мной была ласкова и заботлива, как никогда прежде. Пожалуй, даже слишком. И пусть не сразу, но я понял причину. Не знаю, как и почему это случилось, но она видит во мне свое нерожденное дитя. Я убил его, Кнабе, чтобы занять его место, так выходит. И какая разница, почему я это сделал. Да, я хотел, как лучше — без грязи, без страданий, без боли... Ну и что? Ну и что?

Мы молчим. Мы молчим очень долго. Я не могу его утешить, может быть, только понять, но ведь и это не поможет. Ничто не поможет. И все-таки я обязан что-то сказать — хотя бы.

— Густав, — говорю я, — такова наша человеческая природа: мы уверены, что лучше наших любимых знаем, что для них хорошо, что плохо. Гораздо лучше, чем они сами. И делаем, как считаем нужным. Мы их охраняем — от холода и ветра, от несправедливости мира и даже от самих себя. Но есть то, что называют судьбой. У нее всегда два лица: черное и разноцветное — то, что мы привыкли называть счастьем. Эта самая судьба — очень своевольная дама, она любит тех, кто не боится. Она любит смелых. И только им — иногда — открывает свое счастливое лицо. Но ведь все это тебе давно известно, правда?

Он смотрит на меня совершенно трезвыми неподвижными глазами и вдруг усмехается.

— Знаешь, Кнабе, тебе надо бы написать книгу. Ведь вы, русские, все писатели. Все, как один. А мне пора домой, Амалия уже заждалась. Снега, конечно, навалило, ну да ничего, не впервой...

Новый год

Тридцать первого, после обеда позвонила Майя. У них в это время было уже без пяти полночь, и, судя по шуму, вечеринка была хоть куда. Я ее едва слышал.

— Папа, папочка, ты здесь? Ты меня слышишь?

— Конечно, слышу. Хотя у вас там шумно, празднество в самом разгаре, да?

— Да. Место просто шикарное, прямо на крыше, и весь город, как на ладони. Папочка, я тебя поздравляю! Я желаю тебе много-много счастья! С Новым годом!

— Спасибо, моя хорошая. И тебя с Новым годом! Мое счастье — это ты. А елка у вас там есть?

— Еще какая — выше неба! — смеется она в ответ. — Я хочу тебя попросить. Я подумала... Пожалуйста, напиши записку с желанием одну на двоих, и за себя и за меня вместе. Пусть ее бросят в океан именно так. Ладно?

— Но как же... Ведь кроме тебя никто не должен...

— Тебе можно. А еще лучше, если ты просто напишешь свое и все. Одно-единственное.

— И что?

— Ничего. Оно просто окажется и моим тоже.

— Ну, если ты так хочешь... Хорошо, обещаю.

— И чудесно! Спасибо! Барашки в восторге, передают тебе привет.

— Спасибо, милая, им от меня тоже. Они очень славные ребята.

— Обязательно. Целую тебя. С Новым годом!

На воротах Наташиного дома развешаны гирлянды — будто ветер запутался в звездах. Почти одиннадцать, наверное, уже все в сборе. Внутри негромкий гомон голосов и запахи еды. Столы с закусками и напитками еще почти нетронуты — все только-только начинается.

Ко мне подходит Наташа — легкое, вежливое объятие, такая же улыбка.

— Привет, Питер! Рада тебя видеть.

— Я тоже. Чудесно выглядишь.

— Спасибо. Оказывается ты способен делать комплименты. Почему я не знала этого раньше?

— Все когда-нибудь случается впервые. И это не комплимент вовсе, ты сегодня на самом деле...

— Что?

— В общем, я слегка завидую Дюку.

— Лет двадцать тому назад я, скорее всего, поверила бы, но все равно приятно. К тому же сегодня у тебя будет гораздо более благодарный объект для приложения своих способностей. И не делай удивленное лицо, я знаю, что Сольвейг все еще в Париже.

— При чем тут она? И почему ты все время называешь ее Сольвейг?

— Потому что красиво и ей идет. Разве я неправа?

— В любом случае я не буду с тобой спорить. Так про какой объект ты говорила? И где ты прячешь Дюка? Сегодня нам точно никто не помешает, я даже на всякий случай оставил дома телефон, чтобы не вызвали на службу, если что.

— И правильно. Ты всех увидишь, Питер. И Дюка и остальных. Идем, надо проводить старый год, выпить за него на по-со-шок. Так, кажется, да? У вас, у русских?

Я оглядываю стол с напитками, прикидывая, к чему меня больше тянет. Вообще-то, тянет поскорее присоединиться к Дюку, уединившемуся в самом дальнем углу. Издалека вид у него довольно мрачный. Внезапно я слышу из-за спины: — Как поживаешь, милый? — и обернувшись, вижу копну рыжих волос, белую, очень нежную кожу, и по-прежнему озорные глаза. Вот только чуть добавилось морщин — Мария Магдалина бальзаковского возраста, а на самом деле Аня, вернее, Анюта, причем, на местный лад, с ударением на последнем слоге.

— Ты? Откуда?

— Ты же сам всегда говорил, что мой излюбленный способ — взять и свалиться на голову. Значит, с неба, откуда же еще? Прилетела еще днем. Ты рад?

— Разумеется. Разумеется, я рад тебя видеть, — я, не скрывая, оглядываю ее всю. — Если замужество красит женщину, значит это счастливое замужество. Ты по-прежнему чертовски хороша.

— Ну, слава богу, а то я уже хотела обидеться. «Разумеется, рад тебя видеть...» Ледяной душ, да и только. Я и так знаю, что ты это умеешь. Ты хоть изредка меня вспоминал, скажи? Или совсем нет?

— Ну, почему же? Только ведь это ничего не меняет. Ты замужем, а я...

— Милый мой, я очень хорошо помню: «мой колодец пуст и жарок, и ни одна птица не залетает в него». Еще когда я услышала это в первый раз, то поняла, что на самом деле ты поэт и, значит, безнадёжен. Может быть, поэтому все вышло именно так.

— Ты всегда любила преувеличивать. Это всего лишь фраза, не больше.

— Но и не меньше. Неужели так до сих пор и не залетает?

Я пожимаю плечами и улыбаюсь.

— Ну уж, если даже у тебя не получилось...

— Потому что в твоём колодце, Питер, уже живет птица. И она не залетела туда, она там родилась. Не пора ли ей его покинуть?

Анюта глядит на меня молча, не мигая и не отводя взгляд — как кошка. Потом, видимо, что-то про себя решив, произносит совсем тихо:

— Я почти готова попытаться еще раз. Знаешь, я ведь до сих пор не могу забыть твой запах. Ты пахнешь...

— Чем же?

— Океаном. Ты пахнешь океаном, милый. Именно этот запах, — твой запах — всегда сводил меня с ума.

— Анята...

— И еще... Ты уже бог знает сколько времени разговариваешь с абсолютно свободной женщиной, да-да, свободной, и до сих пор не предложил ей выпить. Это, между прочим, праздник, и у меня уже совершенно пересохло в горле.

В этот момент раздается хлопок — Густав открыл шампанское.

Я машу ему.

— Привет! Ты один?

— Нет. Амалия там, — он показывает куда-то в сторону. — Вышла проветриться. Сейчас вернется.

Я беру два исходящих пеной бокала, один отдаю Аняте. Справа от нас, у торца стола, Дюк и Наташа. Он мрачный, большой и чуть неуклюжий, она затаянута в серое платье, тонка и беззащитна. И смотрит на него, как на ребенка, по-матерински. Анята берет меня под руку.

— Не думай о них, Питер, они сами, им никто не нужен, и ты тоже. Я всего полдня здесь, а уже все знаю, — остров ведь не терпит тайн, — она поднимает лицо, и почти касается им моего. — И про твою дочь я знаю тоже, не только, где она, но и с кем. Все один к одному, Питер, все неслучайно. Давай выпьем за это, а? За то, что еще, может быть, не поздно. Не поздно... — она поднимает бокал. — Ну, давай же!

— Не могу. Очень жаль, но нет.

— Но почему?

— Пить стоит лишь за то, за что имеет смысл пить. Иначе — зачем? Прости, Анята.

Она замирает на секунду, глядя на меня, делает глоток, еще один, и уже повернувшись, чтобы уйти, говорит:

— Я ошиблась, Питер. Ты пахнешь не океаном, ты пахнешь — одиночеством...

Кончита, сидя в кресле, поглаживает свой, пока еще совершенно обычный, живот и тихо улыбается в себя, — словно рассказывает кому-то о своем счастье. Кому-то, кого здесь нет. Гостиная полна людей, но пространство вокруг нее заполнено пустотой. Лишь Феличе, пошептавшись с Густавом, подходит к ней с бокалом шампанского — если немного, то можно, даже полезно. Ведь когда она выпьет, то делается такой ласковой и такой его, какой никогда и не была. Хоть на вечер, хоть на час, хоть на минуту, что из того? Пусть. Все равно никто не знает ее, как он. У него своя Кончита: ни громкого слова, ни смеха, даже улыбается она редко, но как она улыбается! Он плачет каждый раз, когда видит эту улыбку. Плачет и молится всем богам на свете. А главное — она родит ему сына, подарит ему вечность, разве можно желать большего?

Она берет бокал, медленно подносит к губам, пробует золотистую жидкость, делает глоток, другой. Морщится.

— Больше не хочу. Устала, — она произносит это почти шепотом, но он слышит. — Я просто посижу. Просто так.

Наконец, я подхожу к Дюку. Он смотрит в окно, в котором кроме наших лиц не видно ничего.

— Старый год уходит, — он говорит так тихо, что я едва слышу. — Как там она?

Я не удивляюсь, хотя эти же слова одновременно с ним я произношу про себя.

— Где — там?

— Там, — он кивает в окно. — Она вернется, Питер. Не знаю, скоро ли, но вернется. Так и будет.

Пока я раздумываю, что ему ответить, рядом с нами распахивается дверь на террасу, входит Амалия, а вместе с ней врывается холодный воздух и чуть-чуть метели — снежинки сверкают и переливаются в свете люстры, опускаются на лица, на волосы, на плечи. А она... На ней лиловое платье с широкой юбкой и белые кружевные перчатки по локоть — наряд, который она надевает на все праздники, ни в чем другом я не видел ее ни разу. Вместо сумочки аккуратный холщовый мешочек, в котором она держит сигареты, ключи и помаду. Курит Амалия немного и очень быстро — две-три затяжки и сигарета летит в снег. Она, конечно, старомодна и чудаковата, но не более, чем эта метель и хоровод снежинок, и музыка, и облачка пара от дыхания танцующих.

Густав с Анютой кружатся в вальсе, Феличе — хоть он совсем не умеет танцевать — виртуозно ведет Наташу в медленном фокстроте, Кончита — эта маленькая, чужая и совершенно неземная женщина — покоряется рукам Луки в латино и шепот ее заглушает музыку: — Что же ты делаешь... что же ты делаешь со мной, мальчик... Агнешка и Дюк почти не двигаются, она прижалась к нему — не оторвешь.

Где же Зая? Я ведь обещал. Я должен...

... пижамка с барашками уже давно тебе мала а гостиная превратилась в огромную снежинку и легла короной прямо на твою стриженую детскую головку.

... Анюта, болтая ногами, сидит на облаке, смеется и кричит оттуда одно и то же: — Она все равно улетит, Питер! Все равно улетит!

... Густав в килте и гольфах с кистями, вертясь перед зеркалом, задумчиво изрекает: — А вроде ничего... Амалии должно понравиться, как ты считаешь?

... Дюк улыбается и хлопает меня по плечу: — Я же говорил, что она вернется. Она просто не могла дозвониться.

... я тянусь, я хочу дотронуться до этих слов, до этой фразы, но она вдруг падает и разбивается на слова-осколки: это тебя — это тебя — это тебя...

— Это тебя, — одной рукой Дюк трясет меня за плечо, в другой у него телефон. — Майя. Она не могла до тебя дозвониться, поэтому позвонила мне, на мой, слышишь? Догадалась. Да возьми же трубку, наконец!

Я выхватываю у него телефон и почти кричу:

— Зая, это я, я! Говори! Говори же, ну! Что?

Почему мне кажется, что случилось что-то непоправимое?

Зая

Лет до пяти она очень часто болела. Бывало, выздоровеет, только в садик пойдет и тут же снова. Тогда нам с Мариной приходилось работать в разные смены — я брал себе ночные дежурства, чтобы днем мы с нашей малышкой могли «поболеть вместе» — так это у нас называлось. Я доверху наполнял термос свежезаваренным чаем, мы запасались малиновым вареньем, и забирались на наш старый и продавленный, до последней вмятины знакомый диван. Я укутывал ее в одеяло, брал на колени и в самом прямом смысле начинал ею дышать.

— Дыши на меня, зайчонок, дыши, выдыхай свою болезнь, я беру ее себе.

— Но ведь тогда ты заболеешь, — шептала она простуженным голосом, и я чувствовал ее горячее дыхание на своей шее..

— Я никогда не болею, разве ты не знаешь? Ну, скажи, ты помнишь, чтобы я болел — хоть раз? Помнишь?

Она смотрит на меня и качает головой.

— Вот видишь, мне нельзя болеть. Совсем.

— Почему?

— Потому что у меня есть ты, мой Майчонок-зайчонок, моя дочка, а значит я должен о тебе заботиться, защищать, лечить, — как сейчас. Ведь так?

И она устраивалась поудобней, утыкалась мне в шею и засыпала. Я сидел, почти не шевелясь, иногда дремал вместе с ней, а когда она просыпалась, поил чаем с малиной и рассказывал подряд все сказки, которые умудрялся вспомнить или тут же на ходу сочинить. Однажды она никак не могла уснуть, и я придумал позвать на помощь барашков.

Поначалу она удивилась:

— Каких барашков?

— А разве я не рассказывал? Есть такие барашки, очень добрые и ласковые, они приходят и помогают детям уснуть.

— А откуда они знают, что я не сплю? Они что, волшебные?

— Еще какие — самые волшебные барашки на свете. Ты только представь, как они пасутся и щиплют траву, у них кудрявая шерстка и очень симпатичные мордашки. Они подходят по одному и тычутся ими прямо в твою ладошку. Представила?

— Ага...

— Ну вот, а теперь закрой глаза и попробуй их сосчитать, каждого, кто подойдет.

— Но их же много, а я умею только до десяти.

— Не страшно. Ты, как дойдешь до десяти, каждый раз начинай сначала, вот и все.

Она зажмуривается и губы ее начинают шевелиться. Она считает про себя, вдруг открывает глаза и говорит:

— Папочка, у меня не выходит. Они разбегаются, им скучно считаться просто так.

— Тогда... Тогда, давай, придумаем про них сказку. Такую, чтобы они заслушались. Тогда они не разбегутся, и ты сможешь их сосчитать.

— Давай. Только я не смогу сразу и придумывать и считать, придется тебе, ладно?

— Ладно, но ты лежи тихо с закрытыми глазками, и как только они соберутся вместе, сразу начинай считать.

— Договорились, — она закрывает глаза. — Начинай.

— Давным-давно, когда ты была совсем маленькая, а может, еще раньше, жили-были на свете волшебные барашки. Это были очень хорошие и добрые барашки, но вот беда, они все время разбегались в разные стороны. Поэтому, когда наступал Новый год, и надо было собираться дома за праздничным столом, обязательно кого-нибудь не хватало.

— А дома, это где?

— Там, где они жили. Совсем недалеко.

— В соседнем доме?

— Гораздо ближе, — и я кладу руку на ее головку. — Вот здесь.

— Здесь даже один барашек не поместится.

— Поместится. Это же не обычные барашки, а волшебные, совсем крохотные. И потом, понимаешь, какое дело, они, если что, должны быть всегда под рукой.

— У кого?

— У тебя, конечно. Это же твои барашки.

— А как это — если что?

— Это... ну, как — если вдруг.

Она морщит лобик.

— А у тебя такие барашки тоже есть?

— Мне они ни к чему, потому что у меня есть ты. Ну, а если что... если вдруг, ты же ведь поделишься со мной, правда?

Ее голос становится тише, речь все медленнее.

— Поделюсь... Расскажи, какие они...

— Они все в кудряшках и ужасно умные. Это главное.

— А что они... умеют делать?

— Выполнять разные желания. Все, что задумаешь.

Она уже спит, но все-таки успевает задать еще один последний вопрос:

— А что задумаешь... ты?

— Я уже задумал.

— Что?..

Она — спит.

Но я все-таки произношу одно-единственное короткое слово: — Тебя.

Уже давно я произношу его и много других слов только про себя. Потому что есть часть жизни, над которой мы не властны. Потому что это моя Зая, моя единственная дочь.

И будь я проклят, если знаю, что с этим делать. Что делать с этой нежностью — до комка в горле, до судорог на кончиках пальцев.

Вдруг остро захотелось, чтобы все было, как раньше — елка до потолка, запах хвои, Зайка и ее любимая пижама с барашками. Чтобы, так и не дождавшись двенадцати, засыпала у меня на коленях. Вот я несу ее, укладываю, снимаю с ног башмачки, укрываю одеялом. Усаживаю рядом с кроваткой пушистого белого зайца — чтобы обрадовалась, когда проснется, и чтобы можно было сказать ей наутро: — Ну вот, теперь у каждого из нас есть по зайцу, правда, здорово?

И она забирается ко мне подмышку, прижимается всеми своими барашками, и мы просто валяемся и рассказываем друг другу новогодние сказки и все подряд.

И снег за окном, и жизнь еще никогда не кончится.

И я всего-навсего отец.

— Папочка, у меня все в порядке, не кричи так. Все хорошо. Я просто хотела поздравить тебя еще раз, по вашему времени. И, пожалуйста, не забудь сделать то, что ты обещал. Я про записку, помнишь?

— Конечно. Обязательно. Этот твой звонок... Я почему-то решил — что-то случилось, — я делаю Дюку знак, и он мгновенно исчезает, мы остаемся с ней один на один. По крайней мере, меня никто не слышит.

— У тебя в самом деле все хорошо? Вот все-все, а? У Сереги, у Сержа твоего тоже?

— У него тоже. Наверное...

— Почему наверное? Что-то ты... Давай-ка, рассказывай, в чем дело? Поссорились, что ли?

— Да нет, папа, не поссорились, не в этом дело. Просто... мы уже не вместе. Мы расстались.

— Но ведь всего несколько часов назад, когда ты звонила в первый раз, все было в порядке? Или ты не хотела говорить? Послушай, Майя, мне приходится тянуть из тебя каждое слово. Пожалуйста, расскажи мне, что произошло? Если вы не вместе, значит, ты сейчас там одна, так? Или?..

— Одна без всяких или, не сомневайся. Я просто поменяла отель и билет тоже. Завтра я, наконец, буду дома. Ближе к вечеру. Ты же

рад, правда? Я ужасно соскучилась. Вообще, хочу домой, к тебе. К тебе, к тебе... Париж прекрасен, но у нас есть свой — у тебя и у меня. Вот и все. А Сережа... Ну, это было, как... у тебя с Анютой, понимаешь? Мне показалось, я думала, что можно и так тоже. А здесь я увидела столько счастливых лиц, счастливых по-настоящему, без «и так тоже». Сказала ему об этом и ушла. Я знаю, я поняла, чего я хочу на самом деле. Вернее, кого. Давно, может быть, слишком давно, в этом все дело.

— Ты говоришь загадками, мне трудно понять...

— А мне очень трудно говорить об этом. С тобой. Но нам все равно придется. Я хочу, чтобы ты знал: мама оставила письмо, ну... перед смертью. Тете Жене. Там все про нас с тобой, кто мы друг другу на самом деле, то есть кем мы на самом деле никогда и не были, хотя... Я совсем запуталась, прости. В общем, там все написано... Мама хотела, чтобы, когда мне исполнится восемнадцать, я узнала. И я узнала, — тетя Женя переслала мне фотокопию по электронной почте. Всего одна страница, я покажу тебе. Я долго пыталась... убежать сама от себя. Пока не случился Париж. Ну вот, теперь ты знаешь, ты понял. Об остальном завтра, хорошо?

— Зая, я... скажи мне только одно, она... мама... написала — кто?

— Для нас с тобой это совершенно неважно. Его никогда не будет в моей жизни, а значит, и в твоей тоже. К тому же его нет на самом деле. Уже давно. Зато есть я и ты. Только я и ты. А маме я благодарна, потому что каждый имеет право знать. И что больше не надо притворяться — тоже. А мы притворялись — и ты и я. А теперь... Пусть я не твоя дочь, но все равно твоя и только твоя. До завтра... папа.

Нет, мне не стало легче, если вы так думаете. Потому что, скорее всего, не стало меня. От того ли, что я перестал быть собой, от того ли, что только сейчас, в эту самую секунду...

— Питер!

Наташа, конечно, это она, кто же еще? А я-то думал...

— Питер, слышишь? Что с тобой? Что случилось? — она берет в руки мое лицо. — Что-то случилось? Отвечай!

Но я не могу. Не могу и все. Потому что думаю о другом.

Только я и ты, — и больше не надо притворяться.

Не надо притворяться.

Не надо...

— Наташа, моя дочь сказала сейчас удивительную вещь. Она сказала: «Только ты и я. И больше не надо притворяться», понимаешь?

Наташа убирает руки и выдыхает:

— Уф-ф-ф... Слава богу, я уж подумала, что-то случилось, а всего-то навсего девочка выросла. Теперь я спокойна, Питер. Спокойна за вас обоих.

— Знаешь что, Наташа, — я смотрю на часы. — Знаешь, что... До Нового года всего-ничего, три минуты, а мы так ничего и не успели, ни задумать желание, ни даже выпить.

— Мне показалось, что это самое желание ты только что произнес вслух. В любом случае разбираться с этим тебе и никому больше. А выпить еще не поздно, я принесу шампанское и позову Дюка. Подожди, мы сейчас.

Она уходит, а я отворачиваюсь к окну и утыкаюсь лбом в ледяное стекло. За ним — океан. Я не вижу его, но знаю, что так оно и есть.

И три бесконечных минуты, чтобы не попросить о том, чего хочешь больше всего на свете.

То, чего желать ни в коем случае нельзя и не пожелать невозможно.

Всего три минуты...

Только ты и я.

И больше не надо притворяться.

ЧАСТЬ II ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ

Рождение

В начале июня Кончита родила мальчика.

Выписали ее и малыша в четверг утром, и жара в этот день стояла такая, что плавилось все, даже птицы на проводах, а океан укрылся маревом до самого горизонта. А уже в субботу друзья, соседи, да и просто все, кто хотел, пришли поздравить родителей и увидеть долгожданного наследника. Шума в доме у Феличе было не меньше, чем в баре. Впрочем, бар на пару дней был закрыт, вернее, просто переехал на это время в этот самый дом.

Кончита восседает в кресле, как на возвышении, хотя никакого возвышения нет и в помине. Рядом с ней люлька с безмятежно спящим Гвидо — ему не мешает даже эта нескончаемая, шумная череда гостей. Зато Феличе все время в движении, иначе он просто не может. Он снует между гостями, подводит вновь пришедших к жене и ребенку и бесконечно улыбается — он счастлив, счастлив на самом деле. И с этим уже ничего не поделаешь...

Голос Густава от самых дверей:

— Показывай свое чадо, Кнабе и свою мадонну!

Едва Феличе подводит его к Кончите и малышу, тот просыпается и заходится плачем. Мать берет его на руки, а Густав наклоняется и слегка дует ему на макушку. Когда ребенок затихает, он улыбается.

— Ну вот. Это родничок. На него надо подуть, это щекотно. Детям это нравится.

Шесть лет назад он так же дул на Майю. На ее макушку.

... Ее детский врач принял гнойный аппендицит за приближение месячных. К ночи, когда поднялась температура и стало совсем плохо, я позвонил Густаву, и уже через четверть часа он был у Майкиной постели. Положил руку на ее горячий, как ночной снег живот и произнес только два слова:

— Скорую. Быстро!

И пока не приехала скорая, держал ее голову на коленях и точно так же дул на макушку. Опоздай мы тогда хоть чуть-чуть... А может, и в самом деле — родничок.

— Ну что же, начало положено, но ведь это только начало, не так ли? — Густав смотрит по очереди на обоих. — Теперь вам обязательно нужна девочка. Пока, конечно, рано, но и затягивать не стоит.

Шум вокруг не утихает, но тогда откуда эта внезапная тишина, такая плотная и звонкая, что кроме нее ничего и не слышно. Кончита распускает шнуровку, обнажает левую грудь, подносит к ней малыша. Ее предплечье украшает синяк, еще один угадывается на левом плече, у основания шеи. Феличе глядит на них, и глаза его наполняются слезами. Но и от радости ведь плачут тоже.

— Конечно, Густав, мы знаем. Надеюсь, бог не оставит нас и на этот раз, а мы уж постараемся. Дочка нам очень нужна, очень. Вот и с Питером мы об этом говорили. Еще зимой. Помнишь, amico?

— А как же? — я стараюсь улыбаться как можно убедительней, — Хотя ты и так невероятно богат, ведь ты обладаешь мадонной, но две мадонны всегда лучше, чем одна, правда? Особенно, если они твои и только твои — большая и маленькая.

Феличе радостно кивает, он не слышит окончания фразы, и в этом нет ничего странного — оно у меня внутри:

— Но ведь маленькая вырастет и тоже станет большой. И тогда — что со всем этим делать?

Лето на острове, это прежде всего краски. Все, даже мы сами, кажется пастельным, или положенным на холст — словно в зале импрессионистов Русского музея, или любого другого. Может, именно поэтому ни музея, ни галереи здесь нет — зачем? Вот пятно незабудок у дороги, — будто само небо, развеселившись, плеснуло кобальтом прямо на землю. Океан, снисходительно-лениво поглядывает на все это разноцветье, он-то точно знает: лето будет недолгим, скоро, со всем скоро осень, и вот тогда...

Мая теперь приезжает гораздо чаще, на все выходные а иногда даже посреди недели. За эти полгода у нее изрядно отросли волосы, а больше в нашей жизни не изменилось ничего, сколько бы не тарачились галки, заглядывая с веток в наши окна.

За обедом она рассказывает мне, как прошла неделя и все-все-все, а ближе к вечеру, уже в сумерках, мы выходим на берег и идем вдоль кромки до самых скал, и все это время говорим, говорим, гово-

рим, — чаще всего молча, — о том, о чем говорить нельзя. Правда, сегодня она рассеяней и молчаливей, чем всегда, зато я рассказываю ей про Кончиту с младенцем и ее синяки.

— Давай присядем, — говорит Майя и тянет меня за собой. — вон тот камень, видишь?

Большой плоский валун у самой воды, она кладет голову мне на плечо долго молчит и вдруг задает странный вопрос:

— А ты мог бы меня... ударить?

Я поворачиваю голову и утыкаюсь лицом в запах ее волос.

— То есть, как? Зачем?

— Ну, вообще... Если бы мы жили вместе?

— А разве мы не вместе? Заяц, я не понимаю.

— Я хочу сказать, жили бы, как муж и жена?

— Какая разница — во-первых? Мы с тобой не муж и жена — вторых.

Майя встает, делает несколько шагов в сторону, поднимает и бросает в воду камешек, еще один. Я не слышу всплесков, зато слышу ее голос.

— Ты так и не ответил.

— Не просто мог бы, а с большим удовольствием. Хорошая взбучка тебе точно не повредит.

Она опускается передо мной на колени — прямо на песок, на камни и, глядя на меня снизу вверх, произносит:

— Чего же ты ждешь?

Полгода назад, мы так и не произнесли слова «любовь» — по крайней мере в том самом смысле. Майя просто вошла, бросила на пол дорожную сумку и кинулась мне на шею:

— Папочка! Я так соскучилась!

С тех пор она продолжает называть меня по-прежнему — папа. Все это время и несмотря ни на что. Тогда мы проговорили всю ночь, я прочел, наконец, то Маринино письмо. Мы говорили обо всем, только о любви — нет. В какой-то момент она подошла, обняла меня за шею, ее губы были уже совсем рядом, и я уже почти отвернулся, но тут она сказала:

— Ты знаешь, это вовсе не так легко, — и спрятала лицо у меня на груди. Все, что мне оставалось, это прижать ее еще сильнее, гладить непривычно короткие, мальчишечьи вихры и повторять:

— Все будет хорошо, Зайка, обещаю. Откуда тебе было знать, что не притворяться это и есть самое трудное.

Она замотала головой.

— Дело не в этом. Нам нужно время, и тебе и мне. Мы стали друзьями, но еще не привыкли к самим себе и друг к другу. Я знаю, что это случится, но не знаю, когда. И ужасно жаль времени.

Под утро, когда желать друг другу спокойной ночи было уже поздно, мы все-таки разошлись по своим комнатам.

Агнешка

Я очень хорошо помню, как исчезла Агнешка.

Всего за четверть часа до конца моего дежурства девятьсот одиннадцать сообщила о пропаже женщины, и это был адрес Дюка. Конечно же, я поехал. И потому что остров, это семья, а он ее неотъемлемая часть, и потому что именно они с Агнешкой поддержали нас первое, самое нелегкое время, и просто потому, что это Дюк. Ну и люди не должны пропадать просто так, не должны и все. Иначе для чего нужна муниципальная полиция?

Дюк встретил нас на улице около дома. Вид у него был усталый, покрасневшие, воспаленные глаза, но выражение лица даже спокойнее, чем обычно, хотя и обычно он тоже не слишком проявляет свои эмоции.

— Привет, ребята. Такое дело... Агнешка пропала. Еще вчера. Искал ее всю ночь и утром тоже, и вдоль берега, и в дюнах. Потом позвонил в девятьсот одиннадцать.

— Когда ты видел ее в последний раз?

— Вчера утром. Потом ушел на маяк, а оттуда к тебе, Питер. Но перед этим я ей звонил — предупредить, что буду у тебя. Часа в четыре.

— Родственники, подруги?

— Сестра у нее есть двоюродная, но далеко, на материке. Они и по телефону-то редко, не чаще раза в месяц говорят. Она ничего не знает. А подруги... Все мы здесь друзья и подруги, — народу-то... Пспрашивал так, навскидку, — никто ничего...

— Записку, может быть, оставила, что-нибудь еще?

Дюк качает головой: — Нет. Не видел. Ничего.

— Из дома что-нибудь пропало? Ценные вещи, украшения, ее одежда, белье, косметика? Проверял? Ее сотовый?

— Да какие у нас ценные вещи, Питер? Откуда? Уж ты-то знаешь. Телефон ее здесь, на кровати нашел, а одежда, белье? Вроде на месте, я честно говоря, не очень...

— Ладно, Дюк. Мы сейчас все осмотрим и составим протокол. Ну и, — я смотрю прямо ему в глаза, — поговорим с Наташей. Кстати, когда ты ее видел последний раз?

Нет, взгляда он не отвел, вздыхает и тихо отвечает:

— Ну да, понятно. Работа у вас такая, чего уж там. Наташа вчера ко мне приходила на маяк. В полдень.

— Когда ушла?

— Часа в два. Она поесть принесла, мы с ней обедали...

Берег мы обыскали самым тщательным образом. Вообще, проверили все, что возможно, и что в таких случаях проверять полагается, вплоть до ее телефонных звонков. Агнешка словно в воду канула. Впрочем, может, так оно и было на самом деле. Но признаков

похищения, смерти, а тем более насильственной смерти обнаружено не было, и когда все процедуры были завершены, дело отправили в архив.

Пропал человек, — бывает и так.

Они прожили вместе почти двадцать лет. Детей не было, и Дюк никогда этой темы не касался, а я, разумеется, тоже вопросов не задавал. Агнешка не работала, смотрела за домом, за садом, вела хозяйство. У них была корова, которую Майя прозвала Незабудкой, и имя это прижилось, хотя, чтобы научиться правильно его произносить, Агнешке понадобился целый месяц. Зато сама Незабудка стала откликаться на него почти сразу, — мычать, поворачивать голову и косить влажным глазом. Мы снимали у них небольшую пристройку целых полгода, — в самом начале, когда я, наконец, получил место в полиции, уже можно было брать в банке ссуду, и мы подыскивали свой собственный дом. Тот самый дом навсегда.

Трудно сказать были ли они счастливы чуть больше, или чуть меньше других, но то, что главным членом их семьи было молчанье, — я знаю наверняка. Оно усаживалось между ними перед включенным телевизором, или за обеденным столом, и не заметить его было невозможно. О чем молчал Дюк, я могу себе представить, а вот Агнешка... Я думаю, их было две: одна до, вторая после появления Наташи. Хотя — кто знает. И можно, конечно, предполагать, рассуждать, догадываться, — ну и что?

Я помню, как она встречала его на пороге, как он сбрасывал ей на руки одежду и шел мыться, как выходил после душа к уже накрытому столу. Может быть, ей просто хватало того, что это ее дом и ее муж, что ему тепло и уютно, что день катится к закату, и скоро, совсем скоро она будет лежать рядом с ним, слушать океан и его сонное дыханье. Наверное, она была ему хорошей женой — ну и что?

Всего лишь еще одна семья. Любовь? Кто сможет объяснить, что это такое — даже после стольких лет вместе. Почему она ушла и почему она ушла — так? Может, надеялась, что он хотя бы по ней заплачет?

Невеселые мысли

— Чего же ты ждешь, — повторяет она. — Ударь, ну. Может быть, тогда, наконец, ты поймешь.

— А ну-ка, вставай, песок влажный и уже почти ночь. Здесь тебе не итальянская Ривьера, простынешь, — я поднимаюсь сам и поднимаю ее. — Что я, по-твоему, должен понять?

— Что я твоя.

— Я и так знаю — моя. Для этого совсем необязательно вставать на колени, а тем более...

— Нет, что я твоя женщина. Все это время ты по привычке уговаривал себя и щадил меня, — я ведь сказала, что не знаю, когда. Сколько бы это не продолжалось, ты никогда не сделаешь первый шаг — именно поэтому. Ну вот, его сделала я. Я хочу не только знать, что я твоя женщина, а быть ею. Ударь меня, и я поцелую твою руку. Я хочу этого, папа, я готова, — она в самом деле берет мою руку, подносит к губам и целует — раз и еще раз, и еще. И я не то, чтобы позволяю, но кто бы мог подумать, что у моего Зайца такие губы...

... словно со стороны, я слышу свой собственный голос:

— Зая, что случилось? Расскажи мне, это ведь не случайно, да? Именно сейчас? Я же вижу...

Она еще крепче сжимает мою руку и изо всех сил мотает головой:

— Нет, нет, нет! — и вдруг плачет, — Папочка, это было так страшно. И так... быстро. Вдруг — черный-черный дым, и уже ничего не осталось.

Тут у меня включается голова, и я начинаю сопоставлять события, факты и время. Во-первых, служебный мейл, во-вторых, утренние новости по радио, в-третьих, случайно услышанный разговор, в-четвертых, ее слова...

— Ты увидела, как он упал, да? Ах ты... — я обнимаю ее за плечи. — Как ты там оказалась, детка? Зачем?

— Случайно. Мы просто сидели в кафе, оно совсем рядом. Мы там почти каждый день завтракаем. Вот и сегодня тоже, — она хлюпает носом. — Он был такой... живой... улыбался нам, помахал даже. А потом...

— А потом? Расскажи, и тебе станет легче. На самом деле.

— Потом он сел в самолет, самолет взлетел и начал кувыркаться в воздухе прямо над аэродромом, почти над нами. Падал и опять взлетал, каждый раз над самой землей. И вдруг почему-то не успел... или не смог... и сразу из-за деревьев черный дым и...

— Я понимаю... Ничего не поделаешь. Теперь ты знаешь, что смерть бывает и такой.

Она качает головой:

— Нет, не то. Жизнь и смерть, та грань, которая между ними, она такая... Как будто ее и нет вовсе. И выходит, что наша жизнь или не имеет никакой ценности вообще, если ее так легко разрушить, или, наоборот, именно поэтому бесконечно дорога.

— Так и есть. Сегодня ты это поняла.

— Я поняла, что каждая секунда может быть последней. Раньше я об этом знала тоже, но как-то... абстрактно, и вдруг увидела, — как это бывает на самом деле. Как это может быть со мной, с тобой, с каждым. А мы продолжаем жить так, словно времени нет вообще. Оно проходит — мимо, мимо, мимо, — и мы даже не пытаемся его остановить.

— Ты уже совсем взрослая, Зая. И рассуждаешь...

— Я не рассуждаю, — в том-то и дело. Рассуждаешь ты. Все расставляешь по местам, всему даешь название и ужасно боишься совершить ошибку. Так боишься, что...

— Вот-вот, я и говорю: совсем взрослая. И ты права, — я на самом деле боюсь и не ужасно, а еще больше, — ты даже представить не можешь, — как я боюсь тебя потерять. Потому что знаю, что это очень даже может случиться, если...

Мы возвращаемся домой, держась за руки. Как дети, как влюбленные, — как кто?

Я привычно думаю о том, что, хотим мы или нет, времени остается все меньше и меньше. Ничто не может продолжаться вечно, и то, что между нами, неизбежно закончится тоже. Вот только как? И что потом? Почему в жизни так много вопросов, на которые нет ответа?

В эти далеко невеселые мысли неожиданно вторгается Майкин голос, — совершенно обычный, как ни в чем ни бывало:

— Как ты думаешь, Агнешка вернется?

Я делаю паузу, просто чтобы переключиться. Пожимаю плечами.

— Может быть. Скорее всего да, — если жива.

— Почему ты так думаешь?

— У нее нет ни другого дома, ни другого мужа, ни другой жизни. Какое-то время без этого можно прожить, но недолго. Долго или совсем, — это значит все забыть, начать жизнь заново.

— Ну и что? Думаешь, она не сможет?

— Не думаю, — знаю. Сердце ее здесь, и это Дюк, а без сердца долго не проживешь. Все ее здесь, — вся жизнь.

— Тогда почему она ушла?

— Потому что жизнь, это и боль тоже, и иногда она становится нестерпимой. Другой причины я не вижу.

— Что же делать?

— Есть вопросы, на которые нет ответа. Во всяком случае, у меня. И с этим тоже ничего не поделаешь.

Теперь замолкает она, только ее пальцы еще крепче, еще плотнее обхватывают мои, и, может быть, поэтому я знаю, о чем она спросит сейчас. И она спрашивает:

— А Наташа? Что с ней? Ведь у них с Дюком...

— У них с Дюком то, что у них с Дюком. Знать об этом не дано никому и понять тоже.

— А я-то думала, любовь...

— Как бы ты это ни назвала, им от этого не легче, — ни ей, ни ему.

— Почему? Мне казалось, они счастливы, когда вместе.

— Они не просто счастливы, они счастливы безумно, а это уже не просто любовь, или совсем не любовь.

— А что же?

— У нас сегодня игра в вопросы и ответы? Не знаю, что. Может быть, рок.

— Это судьба, что ли?

— Нет, скорее зависимость, замкнутость друг на друга. Лабиринт, из которого выхода нет.

— Значит, ни один из них не сможет уйти хотя бы, как Агнешка, да?

Мне остается только удивиться:

— Вон ты как... Пожалуй. Мне это просто не приходило в голову. А что значит — хотя бы?

— Хотя бы — это не совсем. Уйти, чтобы вернуться.

— Ты только что задавала вопросы, а теперь словно сама знаешь ответы.

Даже в темноте я вижу, как мой Заяц улыбается.

— Мне барашки нашептали, а они все знают. Вот только их попржнему трудно собрать, так и норвят разбежаться. Но иногда все-таки получается.

— А что еще они тебе нашептали? — усмехаюсь я. — Видишь, как здорово, что мы их когда-то придумали.

Она на ходу прижимается щекой к моему плечу:

— Это ты их придумал. И многое другое тоже. Почти все, даже меня. Придумал, оживил, а теперь боишься дотронуться. Думаешь, я не вижу? Ну, что ты молчишь? Ты почти все время молчишь, тебе от этого легче?

Я качаю головой:

— Нет, мне спокойнее. И прежде всего за тебя. Когда у тебя будут дети...

Майя останавливается и закрывает мне рот ладонью.

— Не смей так говорить, слышишь? Иначе я... Мне ничего не стоит тебя соблазнить, я могу это сделать прямо сейчас. Я же сказала тебе, что готова. Я жду не себя, а тебя. Эта умная голова должна, наконец, перестать сопротивляться сердцу. Оно-то давно знает, что выбора нет, потому что все твое — вот здесь, — и она кладет мою руку себе на грудь. — Я женщина, папочка, и никто лучше меня самой не может знать, от кого у меня будут дети, от кого я их захочу. Даже ты.

Ее пальцы на моих губах неуловимо подрагивают, я чувствую их тепло и ток крови и вдруг делаю едва заметное движение губами навстречу. И она... она не убирает руку.

... Я открываю глаза и вижу ее — огромные, темные — совсем близко. Она гладит меня по щеке и говорит:

— Папа. Папа Питер... Питер... Знаешь, сколько мы так уже стоим? У нас ведь есть дом, тот самый, который ты мне когда-то обещал, — помнишь? И совсем недалеко от берега, и мы уже совсем рядом. Идем. Я так люблю в него возвращаться, а когда вместе с тобой...

Она ведет меня, как маленького, и мне ужасно хочется слушать-

ся — ее рук, ее слов, запаха ее кожи. И себя, наконец. Себя больше всего. Неужели это в самом деле моя дочь, мое собственное чудо в пижамке с барашками? Или все же, все же, все же...

У нашей калитки одинокая темная фигура, и я узнаю Наташу.

— Зачем она здесь? Зачем? — бормочет Майя. — Господи...

Наташа смотрит на нас.

— Прости, Сольвейг, — она обращается почему-то именно к ней, к Майе. — И ты прости, Питер. Я не могла... Ты должен узнать... Дело в том, что она вернулась. Агнешка — вернулась...

Никогда прежде я не замечал, что у нас скрипит калитка. Как же сильно она скрипит, черт возьми. Просто рвет душу, выворачивает наизнанку, никуда от него не деться, от этого чудовищного скрипа.

Что же делать?

Ведьмы тоже люди

— Рассказывай же. Когда она вернулась, откуда, каким образом? Дюк знает?

Она сидит в кресле, закинув ногу на ногу, и я ловлю себя на шальной и абсолютно не к месту мысли, что оно, кресло, может, и видало лучшие времена, а таких ног точно нет.

— Ну, а кто бы еще мне рассказал? Разве что ты, больше никому. Откуда? — она пожимает плечами. — Да какая, в конце концов, разница. Просто вернулась и все, будто и не уходила. Заявилась утром, да еще открыла дверь своим ключом. Как ни в чем ни бывало — в этот дом, к этому мужчине, на этот остров. Дюк пытался задавать ей вопросы, а она словно с неба свалилась, вместо ответов стала его успокаивать.

— Успокаивать?

— Ну, да. Как будто он умом тронулся. Будто он все знал с самого начала, и даже сам предложил ей поехать, наконец, развеяться, попутешествовать. Более того, сам же отвез ее в аэропорт. Какие-то полгода, подумашь, — ерунда.

— Мы проверили все рейсы. Она никуда не улетала, у нее даже не было загранпаспорта.

— Видимо ей это все равно. Завтра она придумает, что побывала на луне.

— Погоди, Наташа, погоди. Дюк сообщил в полицию, что она вернулась?

— Не знаю я, Питер. Я теперь уже вообще ничего не знаю, кроме одного — я ее боюсь. Она какая-то круглая и... неумолимая, неотвратимая даже, а может, и то и другое сразу. Принялась наводить в доме порядок и сводить Дюка с ума. И все это в порядке вещей, и ни у кого не должно быть никаких вопросов. Никаких, Питер! Она вернулась и все тут! К себе домой! Я ведь не шучу, я

в самом деле ее боюсь. Ненавижу и боюсь, что теперь она отнимет у меня его по-настоящему. Он не сможет сопротивляться ей... такой.

У нее абсолютно сухие глаза, зато нездоровый румянец на щеках и, напротив, совершенно белые губы.

— Когда он успел тебе все это рассказать? Вы виделись? — спрашиваю я.

— Да. Он позвонил, попросил, чтобы я пришла к нему на маяк. Срочно. И я пришла.

— И правильно сделала. Будущее никому из нас неизвестно, а позвонил он тебе первой и единственной. Даже мне нет.

— Только этим и остается утешаться. Но боюсь, что и это ненадолго. Она его сломает, превратит в песок, я чувствую, Питер. Я чувствую ее страшную силу. Я... — тут ее губы скривились и все-таки полились слезы, — как же без этого? Я подхожу к двери, распаиваю ее и зову:

— Майя, принеси, пожалуйста, воды. Наташу тут жажда просто замучила.

Через минуту появляется мой Заяц — непроницаемое лицо, глаза в пол. Значит, слышала. Может быть, не все, но слышала, это точно. Она протягивает Наташе стакан с водой и на секунду поднимает на нее глаза. Не понимаю, как такое может быть, но выражение ее глаз за это время успевает измениться трижды: сначала любопытство, затем недоумение, и, наконец, боль. Потом она просто наклоняется к Наташе и обнимает ее. И я ловлю себя на мысли, что до сих пор так ни черта и не понял в женщинах. А уж в любящих женщинах...

Через четверть часа все немного успокаивается. Майя в кухне занимается чаем и накрывает на стол, я уже успел позвонить на службу и убедиться, что начальство в курсе, а Наташа перебралась из кресла к окну и глядит на меня оттуда своими колдовскими глазами. Они у нее глубокого серого цвета и вдобавок совершенно прозрачны. Прозрачны настолько, что кажется, будто смотрит она не на тебя, а сквозь. И все время тянет обернуться: что же там такое?

Наконец, она произносит удивительную фразу:

— Питер, милый, скажи, до каких пор? Сколько еще? И как ты все это выдерживаешь, — не представляю.

— Ты о чем?

— О том, что у тебя за спиной, вот о чем. И все о том же самом.

За спиной у меня письменный стол и на нем две фотографии. На одной Марина за целых два года до смерти: солнце, ласковые глаза и жизнь еще бесконечна, на другой пятилетняя Майя: синее платьице с жирафом на кармане, неровно подстриженная челка, крохотный, нежный рот и огромные, абсолютно недетские глаза. Нет, не так... Глаза, которые видят все. Не просто больше, чем когда-либо суждено увидеть тебе, а — все...

— Полгода назад я решила, что вам все-таки удалось найти путь друг к другу. Я даже помню эту фразу — слово в слово: «Только ты и я. И больше не надо притворяться». Я не смогла бы сказать лучше, да и никто не смог бы, Питер. Твоя дочь, — она вздохнула и покачала головой, — твоя Сольвейг понимает гораздо больше нашего. Вот, как на этой фотографии. Не случайно Дюк назвал ее именно так, они ведь похожи, оба видят то, чего не видит больше никто. Только Дюк беззащитней, — он мужчина. А ты ведь любишь ее на самом деле, иначе не смог бы так долго... Но тебе ее не видать так же, как мне Дюка. Мы с тобой не друзья по несчастью и даже не родственники, у нас с тобой одно несчастье на двоих. По крайней мере, — она криво улыбается, — каждый из нас попал в неплохую компанию. Хоть в этом нам повезло.

— Наташа, ты ведь не ждешь, что я начну гладить тебя по головке и успокаивать, правда? — говорю я. — Потому что все всегда проходит, — это банально именно потому, что верно. И ты это знаешь. Все так или иначе разрешится, поверь.

— Я и верю, иначе что бы я тут делала? И ждала битый час у калитки? Сольвейг посмотрела на меня так... А только ты ошибаешься, Питер, — и слова ее падают и заходятся плачем, как маленькие дети. — Ничто не проходит. Ничто, кроме нас самих. Мы и есть единственное слабое звено.

Помолчав, она добавляет: — Я не попрошу виски, как Густав, но, может, бутылка красного у тебя найдется? Не уверена, что это поможет, но как же зверски хочется пить.

Через пару часов Наташа спала, свернувшись как-то по-особенному в кресле, укрытая пледом по самые плечи. Мне было жаль ее будить — пусть. Не то, чтобы я помог ей пить, но и мешать не стал тоже — зачем? К тому же уже настало воскресенье, торопиться некуда, мне-то уж точно. Из кухни тихо-тихо появляется Заяц, смотрит на спящую Наташу, берет меня за руку и уводит на улицу. Мы усаживаемся прямо на ступеньки, и она снова кладет голову мне на плечо, и оказывается, я уже давно этого жду.

— Я на нее сегодня ужасно разозлилась, когда увидела. Сказать, почему?

Я улыбаюсь.

— Не надо. Она, между прочим, заметила.

— Я знаю. Сейчас мне ее жалко, а ведь совсем недавно я тебя к ней ревновала.

— А что, были основания? — я улыбаюсь еще шире — почти смеюсь.

— А разве они нужны? — она смеется в ответ. — Хотя, есть между вами что-то... странная какая-то близость. Я ее чувствую, вот только словами трудно. Может быть, как у брата с сестрой, не знаю. Кровь — единственное, что приходит в голову.

— И давно приходит?

— Наверное, после Парижа. Именно тогда я поняла, что она не опасна. Что она хочет нас вместе.

— А присутствие Дюка в ее жизни, — этого ты не замечала? И того, что мы с ним друзья?

— Не знаю. Я думала, что у них, как было у вас с Анютой, не больше.

— Да? И как же по-твоему, было у нас с Анютой?

— А ты не рассердишься? — она прыскает мне в плечо. — Вы были, как две букашки, или две божьих коровки. По крайней мере, мне так казалось. Это было иногда больно, а иногда смешно и никогда не страшно.

— Ты, конечно, не по годам умная и ужасно хитрая, но кое-чего еще не знаешь.

— Чего, например? — она трется о меня носом и мне вдруг до смерти хочется запустить пальцы в ее еще не отросшие волосы, заглянуть в ее запрокинутое лицо и...

— Говори же, ну?

— Хотя бы, что божьи коровки — они тоже люди.

Майя вздыхает.

— Ты прав. И вообще, ты мудрый, как змей и даже не просто мудрый, а наоборот.

— Это как? Ты что это имеешь в виду?

— Я серьезно. Я очень-очень серьезно, не смейся. Ты единственный из всех, кого я знаю, умеешь не принимать решений. Если надо, ты способен ждать бесконечно. И в этом твоя мудрость. Видишь, я знаю тебя наизусть.

— Моя мудрость в том, чтобы оберегать тебя. И совершенно неважно, каким способом.

Она молчит долго — минуту, две. Потом говорит:

— Как ты думаешь, может быть, все-таки разбудить Наташу? В кресле на самом деле неудобно спать.

Я качаю головой.

— Ничего. Сейчас для нее это не главное. Да и диван рядом, переляжет сама, если что.

— Ну хорошо, — вздыхает она. — Пусть. Тогда спокойной ночи?

— Спокойной ночи, дитя мое.

Она касается губами моей щеки и уходит быстро и тихо. Слишком быстро и слишком тихо.

Горизонт за дюнами уже слегка розовеет. Новый день наступает, потому что он наступает всегда. Как это нестерпимо больно: носить в груди надежду.

Или об этом уже было?

Диагноз

Еще не открыв глаза, я понял, что идет дождь. Даже не из-за стука капель по крыше, а по рассеянному в воздухе привкусу свеже-

сти. Наташино кресло было пусто, сложенный плед брошен на подлокотник. Ни записки, ничего. Словно и не было ни ее самой, ни слез, ни вчерашнего вечера вообще.

Мы с Зайцем все-таки отправились на берег.

Под навесом прибрежного кафе время течет иначе. Можно сидеть, без конца пить кофе, думать о чем угодно и смотреть на океан, покрытый рябью дождевых капель, — оказывается, и его тоже временами мучает жажда. Майя улеглась в шезлонг с книгой и стаканом фруктового сока, покусывает торчащую в нем соломинку и тоже молчит.

Я приканчиваю уже третью чашку, каждый раз заново удивляюсь тому, какие они крохотные, как вдруг она поднимает руку, указывая куда-то в сторону:

— Смотри, вон Густав. Если я ему помашу, он нас заметит, — давай, а?

Я пожимаю плечами. В последнее время это выходит непроизвольно и гораздо чаще, чем раньше. Почему? Пока я препарирую эту мысль, Майя поднимает руку и кричит:

— Густав, мы здесь!

— Хочешь его видеть? — спрашиваю я. — Соскучилась?

— Не в этом дело. Ну вот, он идет к нам. Я просто, — продолжает она, — никогда не забуду, как он держал на коленях мою голову и дул, дул, дул мне вот сюда, — ее палец упирается в тот самый родничок на макушке. — Мне кажется, он в последнее время хуже выглядит. Может, потому, что вижу его от случая к случаю, это как-то заметнее. Прямо бросается в глаза.

Через минуту у меня за спиной раздается:

— Привет, Кнабе! Ну, как поживает моя крестница?

Я пожимаю протянутую руку, а Майя, ни слова не говоря, встает и целует его в обе щеки. По-моему, он растроган.

— Какая же ты стала красавица. И совсем-совсем взрослая. А ведь Дюк угадал, — и впрямь Сольвейг.

Майя улыбается, а я говорю:

— Присаживайся, Густав. Кофе?

— Не беспокойся, мои вкусы тут известны. Знают, в какое время дня какие напитки я предпочитаю. Сейчас сам увидишь, принесут как раз то, что надо.

Спустя минуту перед ним появляется двойная порция черного кофе и запотевший стакан с водой.

— Ну вот, все верно, — он делает глоток воды и смотрит вокруг. — В таких местах, как наше, у врача есть масса привилегий, но только у хорошего врача, Кнабе. А я, смею думать, все же не самый плохой доктор на свете. Вот и поцелуй твоей дочери достался мне именно поэтому, не так ли? — он осторожно пробует дымящийся кофе и облегченно вздыхает.

— Даже не верится: утро, океан, общество прелестной молодой женщины и умный собеседник, да к тому же еще ароматный кофе. Этого более, чем достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым.

— Пожалуй, — говорю я. — А кроме того, сегодня воскресенье.

— Ты прав. Вот видишь, две головы лучше, чем одна, особенно, если одна из них твоя, Кнабе. Сейчас мне нужна именно она.

— Она к твоим услугам, Густав.

— Тогда рассказывай и по возможности подробно. Ты ведь уже понял, о чем, да?

— Я тоже поняла, — вставляет Майя. — Речь про Агнешку, верно?

— Верно, моя красавица, хотя я предпочел бы вести такие разговоры без тебя, но ты и в самом деле уже взрослая.

Заяц фыркает.

— А почему ты решил, что мне что-то известно кроме того факта, что она вернулась? — спрашиваю я.

— Мой котелок тоже пока еще варит. Дюк, если и стал бы кому-то рассказывать, то только тебе. А если этого не сделал он, то уж Наташа точно. Что она в курсе, я не сомневаюсь. К тому же ты полицейский. Всего лишь логика, Кнабе, не более того.

— В логике тебе не откажешь. Так что ты хочешь знать? Ее считали пропавшей, а она вернулась. И слава богу. Что еще? Насколько мне известно, жива-здорова.

— Ты говоришь с врачом, не забывай. Они все трое мои пациенты, — и Агнешка и Дюк, и Наташа, — а раз так, я обязан знать о них как можно больше, потому что это может пригодиться, пусть даже неизвестно, когда. Это вовсе не праздное любопытство, Кнабе, в каждой профессии свои секреты. Я же сказал, что у врача есть привилегии и они касаются не только напитков.

— Допустим. Но почему бы тебе не спросить у них самих?

— Так ведь из Дюка каждое слово надо тянуть клещами, и половину все равно не вытянешь. Наташа станет размахивать руками, жаловаться и рассказывать про свои страхи, а в конце концов, обязательно расплачется. Про Агнешку я вообще молчу. Она сейчас, как черный ящик — неизвестно, что внутри. Куда мне к ней со своими расспросами? Остаешься только ты, Кнабе. Итак?

Конечно, я рассказал ему не все. Не потому, что хотел что-то скрыть, да и что тут скрывать, а потому что эмоции в таких случаях вредны, а Наташа, хоть и в самом деле чуть-чуть ведьма, но все-таки женщина и очень впечатлительная, — он, Густав, не так уж неправ.

Когда я закончил, он поднял руку, и перед ним появилась еще одна точно такая же чашка кофе. Он сделал глоток, отчего-то поморщился и произнес:

— Ну что же, Кнабе, спасибо. Теперь мне будет, над чем поразмыслить. Нас тут немного, и не только потому, что этот клочок суши мал сам по себе. Это обязывает.

— Перед тобой кофе, Густав, а не твой любимый напиток. Не рано для таких разговоров?

Майя прыскает и встает, заслоня собой солнце.

— Дождь кончился. Пожалуй, пойду поплаваю.

— Только далеко не заплывай! Осторожно, слышишь! — почти кричу я ей в спину.

Густав вместе со мной провожает ее взглядом.

— Ты счастливчик, Кнабе. Есть в ней нечто такое, чего я не могу понять. Все равно, что Кончита с ее чайками. Объяснение может быть одно: потому что так. То есть, — объяснения нет.

— А может, и правильно, что нет?

— Не знаю... Твоя дочь порой напоминает мне наш остров: прожив тут хоть немного, без него уже не сможешь. Не нужна тебе ни Большая земля, ни весь остальной мир, да и ты им не нужен тоже. Не каждого он принимает, но никого не отпускает. Вот и она также — не отпустит. Зачем я тебе-то все это рассказываю, а?

— Однажды ты сказал, что я умею слушать.

— Неужели? А что я еще говорил, помнишь?

Я слежу за Майей, за движениями ее рук в воде и скорее всего поэтому отвечаю не сразу:

— Наверняка помню только одно: посидели мы тогда хорошо, славно посидели.

— Я ценю в людях деликатность, Кнабе, но и у нее должны быть пределы. В противном случае она легко превращается в свою противоположность, — он побарабанил пальцами по столу. — А плывет она в самом деле красиво. В том-то и дело: все, что она делает, она делает красиво, словно по-другому просто не умеет. Глаз не отвести. Сам-то ты это видишь?

— Она моя дочь, Густав.

— Именно. Вблизи иногда трудно бывает разглядеть, а вы с ней близки, и не просто, как родитель и его дитя, — гораздо ближе. Не надо так на меня смотреть, и не надо искать в моих словах то, чего в них нет. Хотя... Просто отпусти ее, Кнабе. Пока не поздно.

Я смотрю на него и молчу. Затем произношу одно-единственное слово:

— Продолжай.

— Я врач, я знаю, о чем говорю. Тебе известно, что такое плацента или детское место?

— Разумеется. Но при чем тут это?

— Плацента дает плоду жизнь, но она же может и убить, преградив ему путь наружу, помешав ему родиться. Placenta Previa — так это называется. Пусть невольно, но именно так я поступил с Амалией, помешав ей родить ребенка, и вот что из этого вышло. Я бы не хотел, Кнабе, чтобы нечто подобное случилось с вами — с тобой и твоей дочерью. Не забывай, она моя крестница, у меня есть право сказать тебе это. Ты и сам не простишь себе, если...

— Но я не держу ее, Густав. Ты о чем?

— Ты не держишь ее, ты ждешь. Но это не может продолжаться вечно, пора выбирать, Кнабе, если не хочешь сломать ей жизнь. Или отпусти ее или...

— Или что?

— Или иди до конца.

— Тогда договори до конца, чтобы я понял. Пока что ты говоришь загадками. Повторяю: ты о чем?

Он одним глотком допивает кофе, достает бумажник, кладет на стол мелкую купюру.

— Знаешь, мне давно не дает покоя одна мысль. Она может показаться чудовищной, но за все эти годы я привык к ней настолько, что могу думать об этом спокойно, Кроме того, бывает, что буквы складываются в слова совершенно неправильным образом, а получается как раз то, что надо. Самое то. В любом случае это уже прошлое. Мы с Амалией все жизнь вдвоем. Она единственная была для меня тепло, уют, свет. Все другие проходили стороной. Всегда. И я думаю, я спрашиваю себя, — а что, если бы мы с ней... Ты понимаешь. И вслед за этой мыслью, дыша ей в затылок, тут же приходит другая. Она ужасно проста и нелепа, Кнабе. Проста и нелепа: почему бы и нет?

Он встает и, не прощаясь, делает несколько шагов к выходу, но вдруг оборачивается и говорит:

— Насчет Агнешки: ты ведь так и не понял, почему она вернулась, правда? — он пытается улыбнуться, но у него не получается, не выходит, тогда он просто подмигивает и добавляет:

— Placenta Previa. Самый распространенный диагноз в наших краях. Можно сказать, единственный. Увидимся, Кнабе!

Совсем-совсем рядом

... высокая трава и много-много неба. Оно не только над головой, но и вокруг. Марина кладет мою руку на свой выпирающий живот и подносит палец к губам:

— Т-с-с-с...

Я замираю, и вот оно: сначала совсем слабо, потом сильнее, что-то округлое прижимается изнутри к моей ладони, толкается, шевелится, словно спешит познакомиться с ней уже сейчас.

— Это она, — шепчет Марина, тихо-тихо, будто боясь спугнуть. — Чувствуешь? Она совсем-совсем рядом.

Наше первое прикосновение друг к другу.

Луг и небо обнимают нас и качают, как на качелях.

— Ты не слушаешь, ты спишь! — голос у Майи недовольный и даже слегка обиженный. Я как раз подошла к своему любимому месту, это нечестно. Неужели тебе неинтересно? Ну что ты молчишь?

— Я не молчу, а продолжаю слушать.

— Это надо было делать раньше, когда я читала.

— И раньше и сейчас. Я слушаю твой голос, он, как музыка. Остальное неважно.

— Да? — она улыбается и морщит нос. — Ты хитрый. Но все равно, я же читала про нас. Про нас с тобой.

— Нас с тобой написать невозможно, такой книги нет на свете. Ее просто не может быть.

— Может. Вот она, я держу ее в руках. Хочешь убедиться?

— Ну, раз ты так уверена, почему бы нет? Давай.

— Сейчас. Всего несколько фраз, и ты поймешь, — она листает страницы. — Вот, например: «Я могу молчать рядом с ним часами. И чувствовать себя на двадцать лет старше. А ведь все совсем наоборот — старше почти на тридцать — как раз он. И ему уже сорок шесть. И он почти мой отец». Ну как?

— Дальше.

— Пожалуйста: «С влечением можно бороться. Как бороться с нежностью, которой — задохнуться?»

— Дальше.

«И каждый час, как день, каждый день, как год я живу — невозможностью любви». Захлопнув лежащую на коленях книгу, она поднимает на меня глаза.

— Разве это не про нас с тобой?

— Откуда это?

Она собирается ответить, но я перебиваю:

— Нет, погоди, об этом можно потом. А сейчас...

«Посмотри на нее, разве она не твоя дочь? И разве это что-то меняет? Единственное, что важно, — те самые слова. Мы хотим этого оба. Так почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет...»

Я встаю. Подхожу и склоняюсь к ее уже запрокинутому лицу. Смотрю в ее уже почти закрытые глаза, и мне становится до белой боли ясно, что она была, есть и будет той, которая плоть от плоти моей. Той, которая совсем-совсем рядом. Иначе откуда эта невидимая цепь, эта неутолимая жажда?

Я беру в ладони ее лицо, и когда ее губы раскрываются навстречу, все-таки успеваю сказать:

— Учти, я старый, ревнивый и ужасно нудный. Кроме того, — я твой отец.

— Почему бы нет? — шепчет она в ответ. — Почему бы нет...



Сергей ПОПОВ

/ Москва /

* * *

На раннезимнее стекло
метелью лист прибит.
Его вело и волокло
так, что в глазах рябит.

Но безнадежный взгляд в окно
им утолен до дна —
в прожилках смерти как в кино
сквозная жизнь видна.

Напоминанием о ней
весь этот крупный план
пустых трудов и хмурых дней
с ночами пополам.

Невозмутимый глаз извне
следит, как бьётся тьма
в настольноламповом огне
сходящего с ума.

Зрачок экрана строг и льдист,
и высверками льда
разукрупняет писчий лист
и застит без следа.

* * *

Падает, как по команде «пли»,
липкая тень в золотой пыли.

Вышею мерой напрасной тьме —
солнечный ветер в больном уме.

Перистой кровью сквозного дня
полнится времени западня.

И в исполнение приведён,
замысел воспламеняет явь —
робко бликует подножный дёрн,
по небу блики уходят вплавь.

И окончательной немоте
солнце показывает язык.
Те — под землёй, в поднебесье — те:
каждый по-своему жить привык.

Если свинец и бодал под дых,
вышли слова материть года.
«Вольно» разносится в молодых
утренних сумерках навсегда.

* * *

Созвездие Весы.
Ночная брешь в рассудке.
Квартира на часы.
А можно — и на сутки.

Всё можно. И нельзя
от ночи отстраниться.
Безумная стезя.
Банальная страница.

Там чёрным наверху
в прогалах звёздной пыли —
строка теснит строку —
о том, как жили-были.

А после не срослось,
и время раздвоилось —
на циферблате врозь
забвеньё и немилость.

Минуты до зари.
И годы без зазренья.
И вечные внутри
минувшего коренья.

Все листья и цветы,
темны и невесомы,
с бессонной высоты
взирают на промзоны.

На дальние дымы,
на мятые постели,
на каверзы зимы,
растравы и потери.

Порывистая речь,
отрывистая память
не в силах уберечь
и даже позабавить.

И если на весах
вся жизнь и приступ дрожи,
гадать о новостях
к утру себе дороже.

И времени в обрез,
а мы в гостях как дома.
И сердце чует вес
бессмертья молодого.

* * *

Веник-ходок сухопар от пара —
прутья — потёками вкривь и вкось.
Необходимость давно отпала
петь про мороз и земную ось.

Листья слетают на стенку печки —
там на камнях, где жар хренов,
пляшут весёлые человечки —
Вицин, Никулин и Моргунов.

Чахлым огнём расцветают блики.
Квасят в предбаннике мужики.
Знать, лёд и пламень равновелики,
если витийствовать не с руки.

Крупные цыпки куриной кожи.
Красные пятна пропарки вдрызг.
Не угощаться — себе дороже.
Но не идёт, где бардак и визг.

Пышут раскрытые настезь поры
дурью и радостью той поры.
Старые кадры, легки и споры,
перелетают в тартарары.

В тёмную клеть на манер барака,
где раскадровкой хрипатых ню —
преображается самобранка
в бранное крошево на корню.

* * *

По этой жизни вовсе не сова,
мешаешь явь и сон осоловело,
игроу в бесполезные слова
грудную клеть пронизывая слева.

Жить жаворонком легче и светлей —
не тормозить и сроду не чиниться,
дневной душеспасительный елей
плеская по глазницам очевидца.

Но игроку не видеть, а назвать
сполна даны ночные карты в руки.
И что ему и рюмка, и кровать,
и прочие нехитрые науки?

Кто сочинён кормиться темнойой,
тому смешны обманки световые —
ходил не к этой, нравился не той —
видать, со смертью сладится впервые.

Зияют интервалы между строк,
где выигрыш глядит из ниоткуда —
всё впереди, всему свой смертный срок,
бессрочное несбыточное чудо.

* * *

На больную голову не надейся —
лишь глаза прикроешь — и тут как тут —
призрак гэдэровского индейца,
что приметлив и безразмерно крут.

Кровь его из кадра не может вытечь —
отдыхает кольт и косит стрела —
и в облом стервятникам Гойко Митич,
и вся прерия для него мала.

Загляни в салун — и случится ветер —
рухнет стойка, виски собьёт прицел...
Ясноглаз и гибельно беззаветен,
он в любой разборке пребудет цел.

Томагавк тоскует по вражьи скальпам,
в оперенье пламя войны ревет...
Племена уходят с домашним скарбом,
времена итожатся в свой черёд.

Где она, лукавая трубка мира,
панибратства вдумчивая игра?
Как отряды конных несутся мимо
эпизоды каверзного вчера.

В беготне за призрачную удачей
налетают заново эти дни
под знакомый сызмальства клич апачей
и негодование живой родни.

Бледнолицей своры шальные пули
норовят настичь сквозь беду и смрад...
Но прицелы сбиты, стрелки в загуле
и обозы насмерть уже горят.

Я. УДИН (Яшá МАНДЖИАН)

/ Саратов /



ПРЕЕМНИК

затравки

У этой поляны...

В центре села стоит массивная каменная церковь. Стоит на зеленой поляне меж тремя исполинскими чинарами. У подножия церкви, в густой прохладной тени, пасутся овцы с ягнятами, кротко щиплют травку. Рядом с поляной, вдоль тыльной стены церкви, лениво, как бы нехотя течет речка, посреди речки громоздятся огромные камни, на одном из камней, на плоском мшистом валуне, замер мальчишка с кувалдой в руках — рыбу ловит. Он ловит рыбу по-своему: поплевав в ладоши, вскидывает кувалду над головой и что есть силы бухает о валун, потом, вытянув шею, зорко высматривает, где всплывет вверх белым брюхом оглушенная рыба. Окрест поляны, на почтительном, однако, отдалении от церкви, стоят дома. Усадьбы. Если же запрокинуть голову, то высоко над поляной, над церковью, над тремя чинарами, высоко над этим божьим миром можно увидеть величаво парящего орла.

Чудный летний день — тишина и покой разлиты кругом. А в ближайшем подворье, под открытым небом, на самом припеке, сидит дряхлый старик с выцветшими, водянистыми глазами на изможденном желтом лице, сидит давно и молча, не шевелясь. Возле него — врытый в землю стол, на столе — графин красного вина сорта шавлав, ломоть хлеба, ноздреватый кусок овечьего сыра, хлипкий пучок зелени, нетронутые, прикрыты легким полотенцем. Чуть поодаль, под верандой двухэтажного дома, затаилась рыжая кошка и, задрав хищную головку, плотоядно облизываясь розовым язычком, смотрит на ласточкино гнездо, чуя вековечным своим инстинктом, что едва оперившиеся птенцы, бывает, выпрыгивают из гнезда, желая стать на пока еще слабые, неумелые крылья — и беспомощным комочком шмякаются оземь.

И, слов нет, совершенно ясно, что у этой поляны, у этих чинар, у этого старика, погруженного в свою последнюю тягучую думу, у этой кошки, жаждающей горячей крови, у этих окрестностей, должен быть свой певец, летописец, и он есть, без сомнения, но он вдали от этих мест, что называется, за тридевять земель, как в сказке, и он по сто раз на дню и по тыщу раз за ночь, считай, умирает, изнывая от тоски, от любви и нежности к этой поляне, к этим могучим чинарам, к этой плотной тени и сочной травке, к этим шершавым камням древней церкви, к мальчишке, заинтересованно замершему с кувалдой над головой.

И там, где теперь он живет, совсем другая кошка с ломтиком хлеба в зубах ходит по длинному коридору конторы и тоскливо мяукает, разыскивая своих котят, которые странным образом в одночасье куда-то подевались, исчезли, и вот она мечется от двери к двери, скребется коготками, ей открывают впуская, но вскоре с истошным криком просится обратно, горемычная, с запавшими боками, с мокрыми, истекающими глазами, все мается в поисках детенышей, кочуя из кабинета в кабинет, в одном из которых сидят двое, мужчина и женщина, с самого утра сидят друг против друга и, по всей видимости, еще ни слова не проронили. У них не очень внятные, надо сказать, отношения, на посторонний взгляд чистые вроде, не запятнанные пока чем-то явным, однако неясные, как туманцем, не утрачивающие любопытства, что раздражает многих. Женщина весьма красивая, полнотелая, рослая, стройная в своей полноте, всегда изысканно и со вкусом одетая, и сама знает, конечно, что хорошенькой женщине на службе сходит многое, появившись утром на работе, обычно без дела, празднично сидит перед своим тихим увлечением и молчит часами. Он тоже молчит. Они молчат, но между ними, несомненно, что-то происходит, что-то живое, трепетное, сладостно волнующее обоих и в то же время, может статься, пугающее темное, вероломное, способное омрачить будущее, исковеркать судьбы, поскольку как она, так и он давно обременены семьями, детьми, чередой прожитых в привычных хлопотах лет: обоим изрядно за тридцать.

Букетик влажных ландышей

Встречались около двух лет, считай, жили вместе, как муж и жена. Закончив учебу, уехала к себе и еще целый год ждала тебя, зазывая к себе и надеясь, наверное, что, может, если и не приедешь, то хоть ее отзовешь обратно. Но ты молчал, слегка увлеченный другой женщиной, и она вышла замуж. После приехала за какими-то документами, чуть похудевшая, совсем чужая. Уже беременная. Ты хорошо встретил ее, легко и весело, не считая, что малость нервничал, отчего и подтрунивал чуток, безобидно потешался над ее замужеством. Потом проводил с вокзала с хрустким букетиком влажных ландышей, с грустным троекратным поцелуем и парой дорогих, все еще дорогих ее слезинок.

Испугался от стыда

Сельский дурачок. Лет сорока. Всегда добродушен. Некрасив, безобразно носат, губы мокрые. Никогда не имел женщин. Уже лет десять ходит с обручальным колечком в кармане. Случается, спрашивают его:

— Когда женишься-то? На свадьбе погуляем.

— Скоро, — расплывается в слюнявой улыбке. — Скоро женюсь. Вот купил что надо.

И достает из кармана колечко, держит двумя пальцами — всем показывает — безмерно счастливый.

Как-то сельские шутники повезли его в город. С женщиной знакомить. Заранее сговорились с какой-то блудницей, затолкали его в квартиру, откуда он через минуту вылетел со страшным криком-воплем.

— Ты чего испугался? — спрашивают шутники. — Чего орал-то так, а?

— Ты что-о! — пораженно возражает он. — Ты что-о? Знаешь, что она хотела сделать со мной?

— Что же? Что она хотела?..

— Как зашел, кинулась штаны с меня стаскивать. Ты что-о, я испугался от стыда.

К художникам попеть

В мастерских художников. Двое художников пели под гитару. Не помню ни слов песен, ни мелодии, только впечатление: как славно, как дивно поют!..

Долго сидели, выпивали, закусывали, смотрели картины, вполголоса переговаривались, а они — пели!..

Потом к ним, к художникам, пришли еще двое: вовсе не художники, не писатели, не артисты, не музыканты, а... бизнесмены, солидные, важные, из крупной какой-то фирмы, с дорогой водкой, с закусками, оказалось, тоже любят попеть, чуток выпьют — и поют: один чистым глубоким басом, второй — легким медовым тенором.

И так — каждую субботу. Изумительно: двое преуспевающих людей по выходным срываются к художникам попеть...

Старик

В отечественную войну он был командиром взвода в партизанском отряде. И, спустя полста лет, в 1992 году, умирая, поименно перечислил весь свой взвод — и скончался.

А с норовом был старик. Говорят, он как-то гулял по своему саду и увидел на верхушке грушевого дерева соседского паренька. Не останавливаясь и даже не поднимая головы, приказал:

— Ну-ка, мигом слазь и догони меня, влеплю пощечину, а то мне некогда ждать тебя, по делу иду!

И тот, говорят, совсем взрослый парень, покорно слез и догнал старика. И схлопотал звонкую оплеуху. Еще и выругал, говорят, старик его:

— Что ж ты такой жалкий, поганец? — сказал. — Разве с такой хлипкой душой лезут в чужой сад?

Когда-то стариков было трое. Часто сидели за одним столиком в чайхане. Все очень старые, они были разные, конечно, но одно в них было общее: старческая успокоенность и вытекающая отсюда чистота и опрятность как обличий, так и помыслов — и это в их годы было куда важнее, чем индивидуальные особенности каждого.

Я восхищался ими.

Солнце шепчется с тенью

В смутной, зыбкой дали брезжит летний день. На деревьях медленно наливаются, созревают плоды, кругом поют птицы, толкуются насекомые, изредка легкая зыбь пробегает по зеленым ветвям, все в движенье, струится, трепещет, солнце вкрадчиво шепчется с тенью. За оградой тягуче скрипит арба. Лениво плетутся, отмахиваясь хвостами, буйволы, пережевывая жвачку, тянут ярмо могучими тертыми шеями. Железные ободки колес, свинцово лоснясь, блестят на солнце. Чуть дальше — храм. Окна узки и высоки — не для того, чтобы любопытные заглядывали внутрь, и не для того, чтобы из храма выглядывали наружу. Там происходит нечто таинственное. Детей туда не пускают — нельзя — в школе засмеют.

Из моей жизни картина — а мнится седой древностью.

Мельник

Мельница, не ветряная, не водяная, обычная мельница с дизельным движком, шумная, грохочущая на все село, с высокой крышей и без потолка, с грубыми, из-под топора, голыми матицами, белыми от мучной пыли, впрочем, как все и вся под этой крышей, кроме тучных голубей и вездесущих воробьев, облепивших матицы. По верхним углам висят в палец толщиной паутины, мохнатые, тяжелые, мерно раскачиваются. Отчаянно гудит круг жерновов, вращается, руша, перемалывая зерно, и сеется, беспрестанно сеется по желобку мука, мягкая, нежная, почти что горячая духмяная мука, которую сыпаю в мешок зеркально отполированным ковшом. Тут же мельник, тщедушный человечек, сутулый, медлительный, с вечной сопелькой под носом, не поймешь, старый иль молодой, такой весь белый, словно нарочно вываляя в муке.

Но вот пшеница моя, наконец, вся смолота, а мельник ни в какую не дает мне взвалить мешок с мукой на спину.

— Нельзя с этих-то лет под таким мешком жилы рвать, — говорит он бранчливо. — Беги домой, милок, беги себе належке. А муку твою я пришлю с кем-нибудь...

Преемник

Из далекого прошлого всплывает картина. Под высоким навесом два верстака: большой и маленький, верстак деда, верстак внука.

— Вж-жик, вж-жик, вж-жик... — поет рубанок деда, высекая кудрявую золотистую стружку.

— Фшик, фшик, фшик... — дишканит рубанок внука, вхолостую скользя по доске.

У деда за ухом карандаш, у внука карандаш не держится.

— Что, слаб ухом-то? — лукаво замечает дед. — А ты привяжи чем-нибудь.

— Гы! — показывает розовые десны мальчишка. — Гы-гы!..

— А ты забудь про карандаш-то, — серьезнее советует дед. — Забудь про него, о работе думай — и он будет держаться.

Мальчишка замирает, вникая в суть дедовых слов. Рядом с навесом молодая женщина, сидя на табуретке, кормит грудью ребенка:

— Ешь же, ешь. Ну чего тебе, чего?.. Ох, окаянный, укусил-то как!..

Чуть дальше, под развесистой яблоней, курлыкают индюшки. Теплынь разливается кругом. Пахнет спелым белым наливом.

Скоро им приносят чай под навес. Они садятся с разных сторон маленького верстака. Дед и внук располагаются друг против друга. Неспешно пьют чай. Дед курит. Кошка, черная, но три ножки в белых чулочках, и кончик хвоста белый, и одно ухо, кошка резвится на сухом кудрявом ворохе — шуршит стружками. Дед пьет чай очень горячий и совсем без сахара.

— Что ты никогда сахар не берешь? — спрашивает внук. — Экономить?

— Не привык, — просто отвечает дед, пыхнув густым клубком дыма. — Отродясь без сахара обходился. Да и не было его.

— Как не было? — удивляется внук. — Ни вот нисколечко?

— Ну, — кивает дед. — Тогда много чего не было. А соль и керосин на верблюдах привозили.

О верблюдах мальчишка слышит впервые.

— А как это? Как? — загорается он. — Расскажи, а?..

— Ну, известно как: среди бела дня ездил по селу на верблюдах и кричали: «Ай дуз-нефт алан, ай дуз-нефт алан!..»

— А много верблюдов было?

— Кто ж их считал. Пять, шесть — целый караван. Отец мой всегда брал меня к каравану. Сам-то слепой был, без меня ни шагу, бывало, не ступит. А так детей к верблюдам не подпускали.

— А отчего он, отец твой, ослеп? — допытывается внук. — Или слепым родился?

— Нет, что ты, родился он зрячим. Охотником был первейшим, зверя ли, птицу единым выстрелом клал. А глаза на войне вытекли, на первой мировой. Но, несмотря на это, женился на девушке, которую с детства в семье сношенькой звали, на нареченной то есть. И если жену он и помнил, какая она была, то детей своих никогда не видел. Бывало, погладит меня по головке — а я в ту пору совсем мальцом был, вот навроде тебя, поерошит мои вихры и говорит: волосы, как у меня, мягкие, а лицом похож ли — Бог тебя разберет.

Внук силится и не может представить деда мальчишкой. Старик тем временем продолжает:

— Вот был у нас осел, кто-то ему уши отчекрыжил...

— Кому? Ослику?

— Ослу, ослу, — говорит дед. — Плохих людей и тогда хватало. Кто-то со зла отхватил уши бедняге, и с обрезанными ушами, изуверченный, он прожил еще восемнадцать лет. Все в округе знали его и жалели, и проклинали того изверга, что искалечил Божью тварь. Потом, помнится, осла пристрелили, старый он стал, немощный, избитался весь, и вот порешили, чтобы не мучился...

Глаза мальчишки блестят — жаль ослика. Он переживает, слушая, впитывая каждое слово, и еще не сознает, конечно, что память деда исподволь становится его памятью...

Первый снег

Ты сидел за столом, не отвлекаясь, увлеченно колдовал над фразой, желая нащупать свою манеру, подстегнуть ритм и устремиться к смутной, призрачной цели, к той черте, где звучащий в тебе голос, то замирая, утишаясь до шепота, то взмывая, уплотняясь, пока еще водил твоей рукой, должен, исчерпав, избыв себя, оборваться, и, случайно подняв глаза от бумаги и взглянув на часы, ахнул про себя: сколько времени пронеслось, прошелестело сквозь пальцы и тебе так и не удалось ухватиться за хвостик накануне угасшей интонации. Ты ненадолго замер, как бы застигнутый врасплох, потом, уже остывая, отходя, махнул рукой, оделся и вышел на улицу.

А там — снег! Первый в этом году. Обильный. Кругом бело. Пушисто. Снуют радостные люди. Всем встречным улыбаются. Дети играют в снежки, барахтаются, повизгивая от удовольствия и пыхая веселыми клубками пара. Всем хорошо, всем так здорово, точно все долго ждали от жизни что-то дивное и, наконец, дождались — и ликуют, беснуются от счастья. И на этом фоне — из какого-то двора малая кучка людей тихо выносит гроб. У покойника лицо синее, почти фиолетовое...

Персик с румяным бочком

Как-то всей семьей собирали орехи. На соседнем участке орехового сада другая семья также собирала орехи. Там девочка в красном платьице, вся ухоженная и красивая, с черными, как спелая ежевика, глазами. Иногда она украдкой взглядывает в мою сторону. Изредка я украдкой взглядываю на нее. К девочке я ни за что не подошел бы близко — наблюдал за ней только издали. Ясное дело — девочка мне нравится. Но еще больше мне нравится ее мать. От нее всегда пахнет духами, волосы у нее густые и черные, а глаза — голубые: такое редкое сочетание. А на отца даже взглянуть страшно — так он хорош: неизменно чисто выбритый, одет тоже чисто и аккуратно, по-городскому, да и работал он не в селе, каждое утро его куда-то увозила легковая машина, а вечером привозила обратно. Чудно, но вряд ли я тогда знал, кто больше мне нравится: дочь, мать или отец. Все трое были желанны и милы. Необычная для тех лет удинская семья: молодой муж, молодая жена, здоровые и состоятельные люди — и всего один ребенок: эта девочка. Невидаль, да и только.

Мать девочки подзывает меня к себе, но я делаю вид, что не слышу ее. Она зовет еще и еще. Зовет голосом — как теперь понимаю — счастливой в замужестве женщины, но меня что-то не устраивает в ее тоне, я понарошку мурлычу какую-то мелодию и, не поднимая головы, собираю орехи. Она все кличет меня, и подходит вплотную к межевой канавке, и мне ничего не остается, как перестать мурлыкать и как бы нехотя, с явной ленцой идти к ней. Она угощает меня персиком — одаривает таким большим и пушистым, как желтый цыпленок, персиком с румяным бочком.

— У моих сирот, — с грустью говорит моя мать, — даже персики мелкие растут. Были такие же крупные, что и у вас, но как Бог за что-то прогневался на нас, все мелкие пошли, все мелкие...

Я смотрю женщине в лицо, в ее добрые голубые глаза, которые с таким игривым прищуром, что дух захватывает, и мне хочется сказать ей что-то очень приятное, но не могу — так все напряжено во мне. Я молчу себе в своей трепетной зажатости, и женщина, поддевчачьи пожав плечами, с улыбкой касается ладошкой моей щеки и поворачивается, уходит к своим, и так уходит, такой походкой, что я гляжу ей вслед, замерев в непонятной растерянности.

— Не смотри на них так, милый, не смотри! — вдруг кричит моя мать громко и с веселым задором. — Все равно они дочь за тебя не выдадут! Мы им не ровня. Не смотри!..

Не зная, куда деться от смущения, быстренько нагибаюсь: одной рукой спешно собираю орехи, а другой так крепко сжимаю персик, что на мое запястье прохладной стружкой брызжет сок.

По отношению к этой семье у меня тайна. Бывало, в сумерки, в тот час, когда начинают сновать летучие мыши, я забирался на каш-

тановое дерево, устраивался тишком на толстой ветке и наблюдал за тем, как они втроем садились за стол на веранде и, мирно беседуя, ужинали. Потом долго молча сумерничали. Отец усаживался на перила веранды, в его пальцах дымила папироса. А мать с дочерью оставались за столом и смотрели на отца. Все трое легко и непринужденно молчали — и от картины этой на меня веяло какой-то дивной отрадой. Я завидовал, наверное, ладной семейной жизни и мог часами любоваться чужим счастьем.

Тосты

Гия грузин. Стоим с ним у музыкального прилавка — диски выбираем. Решили взять «Лебединое озеро» и Ойстраха концерт для скрипки с оркестром Чайковского же. Рядом пара. Он и она.

— Ой, мы тоже берем «Лебединое...» — говорит она. — И Ойстраха. — И вкрадчивым шепотом обращается ко мне: — Скажите, а это хорошие вещи?

— Да, — говорю, — неплохие.

— Правда? — допытывается она дальше. — Не шумные?

— Нет, не очень.

— Знаете, мы для грудного ребенка берем, — солидно уточняет он. — Чтоб, значит, спал под классику. Или, скажем, рос под классику.

Я понимающе киваю. Гия интересуется: о чем это они? Я объясняю. И спрашиваю его:

— А ты что слушал в младенчестве?

— Я? — улыбается он. — Тосты слушал. Тосты. Что еще может слушать ребенок в простой грузинской семье?

Такая чуткая тишина

Как хорошо, когда ранней весной сладко пахнет прелью от лежалой прошлогодней листвы, и страшно озабоченные птицы летают с прутиками в клювах — ладят гнезда. Еще несколько дней, и деревья взорвутся новой жизнью. А кизил уже вовсю цветет — кизилевое деревце вспыхнуло ярким желтым пламенем.

Еще лучше, когда со временем огромный тополь так обрастает пухом, что не видать листвы, и при малейшем дуновении облетает беззвучным роем. А неподалеку, в густой зеленой чащобе, возле кротко бормочущего родничка, на высоте вытянутой руки — гнездо горлицы: решеточка из тонких сухих прутиков — и два хрупких белых яичка прямо на голых прутиках. А кругом такая тишина. Такая чуткая тишина.

Крестьянка

... это, знаешь, дочка, то место, где человек родился и вырос. Это твоя земля, это твои близкие, живые и мертвые, это твое про-

шлое, настоящее и будущее. Вот ты, хоть и здесь родилась, в городе, но у тебя есть малая родина, дочка, там родился твой отец, твой дед, прадед, все твои предки. Да, у тебя есть родной уголок земли, земли щедрой и доброй, и мне всегда хотелось, чтобы ты полюбила свою землю, чтобы она для тебя так же была дорога, незаменима, как и для меня. Твой дядя, а мой брат, построил себе огромный светлый дом, построил с надеждой, что и мы каждое лето будем приезжать в гости, но ты еще ни разу не была в том доме. Так сложились обстоятельства. Но ты помни, ты знай, это все равно твой родной, кровный, родовой дом, потому что ты там зачата. И я верю, я убежден, что когда-нибудь жизнь изменится к лучшему, и все мы туда поедем...

Так или примерно так ты рассуждал, сидя напротив ребенка, когда раздался звонок в дверь и... вот перед тобой твоя старая мать сидит, брат твой молодой, но весь седой, его жена и дети, сестра твоя с мужем и детьми, жена твоя суетится рядом, предупредительная, за всеми ухаживает, угощает, дочь твоя сидит понурая и как бы немножко виноватая — в чем ее-то вина? — и ты среди своих и чувствуешь, как за окном кухни течет ночная жизнь большого города, шумят еще машины, гремят на стыках трамваи, запоздалый пешеход торопится домой, к семье, в уют и тепло, а у твоих родных, считай, нет уже ни дома, ни родины, вообще ничего нет и не будет, наверное, все они, что называется, сломя головы, бежали от межэтнических напастей, бежали безо всего, с пустыми руками, подхватив детей и кое-какую одежду для них, только мать твоя, закоренелая крестьянка, не зная еще, в городе или в деревне обоснуются, не зная даже, выберутся ли из села, не прикончат ли их, захватила с собой мешочек с семенами, теперь сидит и по-старушечьи неспешно перебирает кулечки: цветочные в одну кучку, огородные — в другую. Что и говорить, жалкая картина, жестокая, абсурдная, и, сраженный небывалым горем, вдруг ты увидел этот законный мир огромным и холодным, враждебным, и тебе стало страшно, страшно за крохотную свою дочь, за всех своих, за весь этот ершистый и зябкий мир.

Слезы

Дядя В. привез из армии патефон. Говорил, что патефоном его наградили за поимку иностранного шпиона. Да и понятно: он служил в начале пятидесятых — а тогда вся страна кишела шпионами: лови сколь хочешь и кто хочет. Одного и мой дядя словил — и его наградили. Иначе и не могло быть. Без смеха, в детские мои годы я искренне верил дяде.

Дядя В. был сталинистом, то есть Сталина любил и уважал больше Ленина. Судил он о вождях, конечно, по кинофильмам. К примеру, о Ленине он говорил так:

— Неумный человек твой Ленин.

— Почему?

— Что значит — почему? Разве сам не видишь? Он же в беготне все время. Все бегаёт и говорит. Говорит и бегаёт. Прямо ни минуты покоя не знает. Когда же он думает?..

Я глуповато и малость снисходительно улыбался. Я не соглашался с ним, но и не возражал особо.

— Сталин твой так уж хорош...

— Хе! Сталин... прежде чем слово сказать, семь раз отмерит. Сравнил тоже. Сталин — это Сталин, милок, пора тебе это знать, в школу как-никак ходишь.

Дядя В. захворал смертельным недугом и слег. Мой брат с женой пришли навестить его. Он лежал в постели и по всему — отходил уже, страшно худой, голос слабый, слабый, хрип один, а не голос. Этим своим голосом он велел брату взлезть на дерево, нарвать еще незрелой, зеленой, кислой алычи. Конечно, брат без слов исполнил его желание. Потом дядя попросил:

— Растолките алычу вместе с чесноком, посолите.

Все сделали, как он хотел. Поднесли миску к его кровати.

— Теперь ешьте при мне, — сказал он. — А я посмотрю.

Они стали молча есть это изысканное лакомство. А он смотрел, и из его глаз сочились скупые струйки слез. Брат мой говорит, что то были слезы радости. Говорит, он видел, как губы его шевелились в бессильной, невнятной улыбке.

В ту же ночь дядя тихо скончался.

Дядя В. был крестьянином. Колхозным бригадиром. Полуграмотным мужиком. А вот любил костюмы классического покроя. Раз в пять-шесть лет выкраивал денежки — ездил в город: выбирал себе костюм.

А куда в селе его носить-то?

Круглый год в стеганке и кирзовых сапогах. Только по большим праздникам и надевал костюм. Однако, когда он умер, в шкафу целых пять пар почти новеньких костюмов висели.

Пишу эти слова, и почему-то на глазах слезы стоят — и не поймешь, какие они, эти слезы, радостные или грустные.

Мученик

Ему далеко за восемьдесят. Но стариком не назовешь. Еще бодр. Крепок. Речист. Много знает, помнит. Всю жизнь книжки почитывал. Газетки. И без оглядки рубил правду-матку о чем угодно и где угодно. И дважды пострадал, как сам говорит, за свои взгляды: отсидел два срока. Легендарная, в общем-то, получается личность. Но что странно: сельчане не любили его. Помню: образованные лю-

ди, учителя, агрономы, брезгливо морщились, когда речь заходила о нем, а которые у власти находились — те вовсе кипели ненавистью. Что — впрочем — понятно. Правда, простой люд, крестьяне — напротив, т.е. не то что бы любили или там уважали, нет, просто изредка, бывало, нахваливали, дивясь его смелости, бойкости, даже, может, кто и жалел, считая его страдальцем. Кстати, и бабы не любили его. И это загадочно. Я долго не мог понять, в чем тут дело, поскольку все, что знал о нем, знал понаслышке, никогда не видел его вблизи, не общался. С детьми его — да, с ними учился в школе. А с ним не сталкивался, слишком велика разница в возрасте. Даже голоса его не слышал. И такой — на расстоянии — он казался мне героем. Борцом. Мучеником. Но совсем недавно выпал случай: ночь напролет я сидел и слушал его. Он рассказывал о своей жизни, о своих мытарствах, о своей негибамости. Я не перебивал, к тому времени я как следует научился слушать людей. Он говорил, говорил, говорил. За всю ночь ни о чем не спросил. Только говорил. И я убедился: не могли любить его сельчане. Не могли. Потому что в нем самом — ни тени от любви или жалости. Ни к чему и ни к кому. Не было даже любопытства. Интересса. Сплошное отрицание. Страстное, злобное отрицание все и вся. Отрицание и любование самим собой. Своей персоной. И все — больше ничего не обнаружил я в этом человеке. Так и хочется сказать — страшном человеке. Перед встречей, зная, что он не воевал, я хотел выяснить, уточнить: отчего он, значит, не был на фронте. Но не смог. Не захотел. Желание исчезло.

Хрупкое беззвучье зимнего утра

Помню из детства, как бабушка рассказывает о дедушке, погибшем на фронте задолго до моего рождения, и странная, явно никогда не виденная мною картина оживает пред моими детскими глазами. Я слышу тягучий скрип арбы, запряженной парой охристых волов, как бы вживе вижу деда, молодого, полного сил мужика, сидящего, свесив ноги, на передке арбы. Дед малость оторопело оглядывается по сторонам, смотрит на тяжко груженные снегом оrehовые кусты, на отдельные разломанные ветки и сокрушенно качает головой. Накануне шел большой снег, валил густо и непривычно долго для наших мест, а ночью вдарил такой мороз, что с резким сухим звуком трескались деревья и, кажется, замерзли все дрозды и теперь, наутро, частыми черными комочками лежали на ослепительно белой глади. У барсучьего оврага дед остановил волов, соскочил в глубокий и хрусткий снег, неспешно скрутил сигарку и, шагнув к краю оврага, приподнял шапку и поприветствовал мастеров, те, здоровенные бородастые молокане, не прерывая работы, весело закивали, пыхая густыми клубами пара. Они огромной продольной пилой — один сверху на козлах, другой внизу — распиливали каштановое бревно на половицы. Размеренно и мощно водили пилой вниз и

вверх, пила вязко и зычно визжала, брызгая на снежную бель ярко-рыжие опилки. Дед долго стоял недвижно и озабоченно курил, наконец, думая о затеянной им постройке нового дома. Скоро и пильщики один за другим, оскальзываясь, цепляясь за ветки лещины, выбрались из оврага, поздоровались с дедом за руку и деловито закурили. Трое крупных, крепких мужиков замерли среди сверкающих чистых снегов, с жадностью и как-то прощально вслушивались в хрупкое беззвучье зимнего утра, точно предчувствовали, что не далее как через полгода разразится страшнейшая во всей истории человечества война — и все трое бесследно сгинут в самом ее начале.

Рубка дров

Мой брат школьный учитель, и понятно, что живет бедно, скудно, и чтобы как-то поправить свои дела подрядился по вечерам рубить дрова для шашлычной на окраине города. Он рассказывает, что однажды, когда он как обычно рубил дрова, двое мужчин, крупных, породных, хорошо одетых, сидели за столом неподалеку, ели шашлык и выпивали. Они долго наблюдали за тем, как он орудует топором, наблюдали, наблюдали, и вдруг один из них встал.

— Дружище, где ты научился так ловко топором махать? — спросил он, подойдя ближе. — Я и не видел никогда, чтоб так красиво дрова рубили. Кино какое-то, ей богу. Загляденье.

— Да в селе я жил до сорока лет, — ответил брат. — В глухом кавказском селе — как не научиться

Но мужчина все никак не мог успокоиться. Пригласил брата за стол, и они продолжили беседу.

Кукиш

Он невзрачен, мал, прямо метр с кепкой, правда, всегда одетый во все модное, заграничное, кепку не носит. За короткий срок он сколотил огромное состояние и живет вызывающе броско, напоказ, откровенно презируя тех, кто живет скромнее. И сын его единственный в пятнадцать лет безоглядно самонадеян, нагл. Может запросто в шумной сутолоке школьного коридора подойти к однокласснице и грубо облапать ее, расцеловать, а то и больно укусить воспаленно вспухшую, созревающую девичью грудь. Может ржавым гвоздем нацарапать непристойность на дверце автомобиля нелюбимого учителя, соседа ли ни в чем не повинного — всякого, кто не приглянется. И все ему легко сходит, чадолюбивый отец мало того, что не одергивает зарвавшегося отпрыска, но и всячески оправдывает, кичливо швыряется деньгами, возмещая ущерб пострадавшим, затыкая им рты, чем еще пуще распаляет стервеца на очередные пакости.

Что и говорить, по-скотски сытое, хамское семейство, и смешно и грустно вспоминать, что начинал он, коротышка злополучный, с

того, что прислуживал сельским богачам, ходил с ними в баню и тер им спины, копал их огороды, собирал урожай в садах, сено косил, дрова рубил, да всего и не перечислишь, тогда еще весьма покладистый, тихий, робкий даже, он делал все, что ни прикажут власть имущие, ничего не чурался, шел на любые унижения, прикидывался сиротой, овечкой, и помнил, знал, ради чего старается, знал и ждал, когда придет его время, ждал долго и дождался, наконец...

Тут ты резко обрываешь фразу, оторопело вспомнив, что твоего персонажа, точнее, прототипа твоего персонажа, второй год как нет в живых, он помер, после обеда лег отдохнуть, и скончался от инфаркта, а ты так легковесно ведешь повествование в настоящем времени, ах ты боже мой, как же ты оплошал, как мог такое запомнить!..

Что ж, нет человека, чуть погода, рассуждаешь ты досуже, стало быть, нет и проблем, но одну подробность, что мгновенно вспыхивает в твоём сознании, одну единственную деталь ты не можешь оставить без внимания, ты легко выхватываешь ее из размеренно скорбного переполоха похорон и она как бы добивает, дорисовывает твоего коротышку: когда стали, значит, как и положено, обмывать покойника, обнаружилось, что три пальца его правой руки застыли, заоченели в известной комбинации, да так убедительно, так крепко, так навсегда, навечно, что, сколь ни старались, ни пыхтели, ни ловчили близкие, так и не удалось разжать их.

Блажь

Стоял погожий осенний денек, сотканный из тишины и тонюсенькой паутины. Алош умывался на чужой веранде. Наладил бабахливший телевизор и теперь, после работы, мыл руки. Рядом с ним, держа в руках чистое полотенце, топталась хозяйка дома.

— Спасибо тебе, Алош, что уважил,— говорила она.— Больше месяца без телевизора сидели, а ты за полчаса вернул нам радость. Спасибо, милый, дай Бог тебе долгих лет жизни.

— Дело пустяковое,— ответил Алош, скромно улыбаясь, и принял из рук женщины полотенце.— Телевизор или магнитофон — мелочь для меня. Бывает посложнее техника.

— Я и говорю,— продолжала женщина,— раз-раз, и все готово! И как ты во всем разбираешься, ты ведь по телефонам инженер?..

— С малых лет занимаюсь — как не разбираться,— сказал он просто.— Ну, мне пора. До свидания.

— То есть как? Кто же тебя так отпустит? — засуетилась женщина.— Сейчас стол накрою, пообедаешь, выпьешь.

— Да нет, спасибо,— возразил Алош, спускаясь по лестнице.— Я сыт, недавно поел.

Но женщина как-то неловко себя чувствовала.

— Это нехорошо, Алош, милый,— мягко выговаривала она, ступая следом.— Поработал и уходишь, ничего не отдавая. А я специально готовила... Ну постой же, постой. Хоть плату за работу возьми. Постой, куда же ты?..

— Ну что вы, ничего не нужно. Я денег не беру, — отмахнулся Алош и, стукнув калиткой, зашагал прочь.

— Ва-ай! — оставшись одна, вслух удивилась женщина.— Да он и правда малахольный — не зря, оказывается, люди говорят. Чудно, за свой труд денег не берет. Блажь-то какая.

Она ненадолго замерла посреди двора, словно бы пытаясь постичь нечто диковинное. Алош же тем временем неспешно шел домой. Чуть приметная улыбка играла на его светлом лице. Он всегда уходил от клиентов, отказавшись от вознаграждения и с хорошим настроением. Никакая это не блажь, конечно, а давняя, почти из детских лет вынесенная привычка. Еще школьником он начал колдовать с паяльником в руках, а позже, уже в студенческие годы, прослыл настоящим мастером и, приезжая в родное село на каникулы, был нарасхват. И старался он из одного азарта, из любви и интереса к технике, да и не знал он в ту пору, не догадывался даже, что свое увлечение, почти ребячью свою страсть, все равно что забаву, можно превратить в источник дохода.

Одинокая мушмула

Снег шел всю ночь. Шел неслышно и густо, и к утру выпал в таком непривычном обилии, таким нетронутым, чистейшим слоем лежал, что дух захватывало. Наскоро позавтракав, вы, дети, шумливая гурьбой взорвав настоящую за ночь тишь, высыпаете во двор в снежки поиграть, снеговика слепить, просто порезвиться... потом, помнится, всласть наигравшись, набарахтавшись в мягко похрустывающем, легко сминающемся девственном покрове, раскрасневшиеся от счастливой усталости, мокрые, расхристанные, забегаете в уют и тепло родного дома, где весело потрескивает печка, забегаете и останавливаетесь в мгновенной оторопи: матери дома нет, а на столе, покрытом белой скатертью, прямо посередке, на белой же тарелочке, красуется крупный, коричневый в светлую крапинку плод мушмулы, отдающий изнутри темью спелой мякоти, неизвестно как оказавшийся на семейном столе. Стало быть, стоите вы тесной кучкой, загнанно дышите и каждый из вас, наверное, готов ринуться, схватить этот удивительный плод, что чуть больше грецкого ореха, схватить и съесть, но вы стоите в неловком оцепененье, никто не решается шагнуть вперед, потому что мушмула одна и ее не разделить даже на две дольки, мал и хрупок он, плод этот желанный, рухнет от малейшего прикосновения, только один кто-нибудь может взять его и отправить в рот, а вас, к сожалению, к счастью ли, четверо, и что делать, как поступить, не знаете, и так в тяжком на-

пряжении проходит минута, и все вы, видимо, всяк про себя смирившись, разбредаетесь по дому. А одинокая мушмула навечно останется островком чистоты и чуткости в твоей с годами изрядно захлавленной памяти.

Всё приезжают...

Говорят, он был хорошим парнем. Говорят, он был даже лучше своих сыновей. Говорят, ты же сам видишь, разве от плохого парня могли вырасти такие ребята?..

Я не знаю, не могу знать, каким он был на самом деле. Он скончался задолго до моего рождения. Но история, оставшаяся после него, но жизнь, заложенная им, все еще продолжается.

О его детстве и юности мало что мне известно. Скорее всего, он ничем особым не отличался от своих сверстников. Так же ходил в школу, так же шалил, как и вся сельская пацанва, лазал по деревьям, разорял птичьи гнезда. Потом, окончив школу, года на три отбыл из села — выучился в городе на зубного врача и приехал обратно. И все, пожалуй. Из той поры уцелела лишь одна его фраза. Сельчане вспоминают, будто, собираясь удалить большой зуб, обычно он то ли в шутку, то ли всерьез говорил пациентам:

— Только не кричи, милый, прошу тебя, не кричи, пожалуйста, а то у меня сердце слабое.

Такой-то человек, когда грянула война, вместе с пятьюстами сельчанами ушел на фронт. Многих, конечно, побил на той бойне, многие полегли, а иные пропали без вести, но он, провоевав все четыре года, остался жив. Израненный, заметно покалеченный, он вернулся домой победителем. Да к тому же с молодой женой. С русской. Родом из далекого сибирского городка. Опять же не очень ясно, какая она была обликом или норовом. В селе сплошь утверждают: хорошая была, куда лучше многих сельчанок. Говорят, он ее на руках носил, а она его с ложки кормила.

Но так счастливо они прожили недолго. Успели народить двоих детей, и у него дали о себе знать фронтовые раны: слег в больницу, месяца три помучался и скончался. Жена погоревала, погоревала с год, взяла детей и уехала в свой сибирский городок. Сельчане думали — все, больше не свидятся. Но нет, она не порвала с родней покойного мужа. Слала письма, открытки. Лет пять спустя и сама с детьми объявилась. В гости.

На другое лето снова приехала. И на третье. И так из года в год. Кто знает, как они там жили в своем сибирском городке, как сводили концы с концами и откладывали средства на дорогу, но каждое лето приезжали, одолев тысячи километров. Скоро дети выучили язык, стали совсем своими. А когда поступили в институты, бывало, и без матери, одни приезжали. Ни одного года не пропуска-

ли. Теперь давно обзавелись семьями, и мать умерла, и у самих уже взрослые дети — а все приезжают на родину отца. Все приезжают. Приезжают...

Стоял себе на углу

Стоял себе на углу — ждал ребенка из школы. Двое молодых ребят-кавказцев подошли к сапожной будке, видимо, желая ботинки почистить, но заглянули внутрь и чего-то заробели. Стали меж собой переговариваться, и по куцым репликам я понял: чистильщик стар, и они не могут позволить себе развалиться, бесстыже выставив ноги, чтобы старик, согнувшись, чистил им, молодым, обувь.

— Дед, щетка-крем давай сюда, — говорят они с акцентом. — Сами почистим. Не бойся, деньги заплатим.

А чистильщик — колюче-щетиновые белые усы — бодренько так:

— Бросьте вы, ребятаки. Моя это работа — я сам и сделаю: нечего тут выдумывать.

Между ними завязывается спор, они оживленно, страстно жестикулируя, пререкаются, и, наконец, находят устраивающий обе стороны выход: парни по одному ботинку снимают с ноги, подают чистильщику — тот чистит, добродушно приговаривая:

— Во дадут, чертяки, а, во дадут!..

Армянофилка

Хотя давно я с нею знаком, учились когда-то вместе, на одном факультете, в одной даже группе, но я не знал ее толком, не знал, что она носила в себе все эти годы, о чем мечтала и как вообще жила. То ли такая скрытная, с загадкой, то ли так себе, пустышка недалекая, но с претензией, не поймешь, всегда держалась сухо и неподступно. Да и виделся я с ней после университета редко, от случая к случаю. Известно только, что в студенческие годы увлекалась армянами. Учила армянский язык. Крупица за крупичей выписывала из книг, учебников сведения об армянах. Даже диплом защитила по армянской истории. На летние каникулы ездила в излюбленную страну в гости. Вернувшись оттуда, так и сыпала армянской речью, так и сыпала, невзирая на то, понимаешь ты ее или нет. Когда ее знакомили с кем-то из кавказцев, тотчас спрашивала, не армянин ли тот, если оказывалось, что нет, до неприличия откровенно теряла интерес. Такая странная женщина. Такая армянофилка, кстати, весьма красивая и элегантная, до тридцати пяти лет не устроила свою личную жизнь — не вышла замуж. Жила одиноко и замкнуто, никого к себе не подпускала. А в тридцать шесть взяла и неожиданно для многих родила. Тут-то и всплывает старая как мир история: выясняется, что столь ревностное увлечение всем армянским началось с ее девичьей любви к армянину. С любви первой и неразделенной, горестной, ибо парень не

мог, не имел права жениться не на армянке. Отвергнутая, она не пала духом, напротив, заваливала своего избранника письмами, ежегодно наезжала в гости и звала его к себе. Так шли годы. Шла жизнь. Он давно женился, имел детей и любил свою семью, ничего ей не обещал, всячески избегая интимных отношений. По всему, он был холодным и очень правильным человеком. Но она вела себя напористо, впрочем, с годами на многое и не рассчитывала — всего лишь хотела родить от него, что ей и удалось, наконец, спустя почти два десятилетия после первой встречи с возлюбленным...

Так стыдно стало

Стояли с мамой перед автовокзалом. Ждали рейсовый автобус. Молодая красивая женщина обратилась ко мне с пустячным вопросом. Я ответил, она поблагодарила, и так, слово за слово, завязалась беседа. Оказалось, она чеченка. Удрала от тягот войны, до институтской подружки добирается.

— У нее пережду этот кошмар. Может, удастся и на работу устроиться.

Она оставляла очень хорошее впечатление. Была спокойна, улыбочива и интеллигентна. Но вот она попросила приглядеть за ее чемоданом.

— Пойду водички куплю на дорогу, — объяснила. — И кое-что из еды.

И растворилась в людской толчее. Стоим с мамой, ждем, время идет, а ее все нет и нет. Я забеспокоился: может, она вовсе не вернется, мол, может, в чемодане у нее взрывчатка?.. И всякие такие мысли о женщинах-террористках. Глянул маме в лицо — вижу: ей тоже не по себе. Она ведь от телевизора не отходит — наслышана о чеченском коварстве и неслыханной жестокости.

— Мам, возьми сумку, — говорю, — зайдём за угол вокзала.

Без лишних слов мама поняла меня. Зашли с ней за угол и оттуда выглядываем. Возле чемодана чеченки толкуются люди. Множество людей. Что — если сейчас рванет?..

— Беги найди милиционера и все объясни, — говорит мама. — Вишь, сучья дочь, чего надумала. Беги, пока не стряслась беда.

Я только тронулся с места — как чеченка мне навстречу. В руках двухлитровая бутылка с оранжевым напитком и целлофановый пакетик с едой. Я здорово растерялся, видимо, потому что она посмотрела мне в лицо и говорит так уныло и усмешливо:

— Ничего, ничего, мы привыкли. Не смущайтесь.

И пошла себе к чемодану. И мне так стыдно стало, так стыдно...

Будничный день

Помню, когда забрали ребенка, дочь мою, из роддома, как много людей собралось в нашей квартире: моя мать, теща, тесть, моя

сестра, ее взрослая дочь и, кажется, еще кто-то, не считая меня и жены, как все радовались и поздравляли друг друга с новорожденной... и как в тот же день случился шумный скандал. Тесть мой взялся стирать пеленки, мать моя увидела, как он, засучив рукава, принялся за дело, громко возмущилась:

— Это что за позор такой — полный дом женщин: мужчина пеленки стирает!

— Не беспокойтесь, сваха, он и за своими детьми стирал, — стала успокаивать моя теща. — У него это лучше всех получается.

Моя мать молча зашла в ванную и попыталась отнять у тестя постирушку. Но тот наотрез отказался уступить свое место. А теща моя все настаивала: не беспокойтесь да не беспокойтесь. Но моя мать — как истинная южанка — была категорична: либо сейчас же избавьте мужика от бесстыдства — либо ноги моей больше не будет в этом доме. И пошло-поехало, все зашумели, заговорили разом, закрывшись на кухне, чтобы не разбудить спящего младенца.

Я держался в стороне, ни во что не вмешивался. Когда страсти на кухне совсем накалились, я незаметно покинул квартиру. Вышел во двор без определенной цели и увидел, что пока мы колготились в тесной кухоньке, отшумел веселый весенний дождь. Еще капало с деревьев, с карниза дома. Пред соседним подъездом, на скамье под топодем, сидела соседка-старуха, всегда неряшливая и дурно пахнущая. Она жила одна с тремя собаками и девятью кошками. Две ее дочери своими семьями проживали в нашем же доме, но не общались с матерью из-за ее сумасшедшей привязанности к кошкам и собакам. Я издали кивком головы поздоровался со старухой.

— Моего Джульбарса не видали? — спросила она.

— Нет, не видел, — ответил я и закурил, наблюдая за четой жирных городских голубей, которые, степенно обходя лужи, шествовали по каким-то своим интересам. Громко хлопнула дверь дальнего подъезда — и оттуда с шумом выскочили парень с девушкой и, взявшись за руки, веселые, молодые, счастливые, устремились прочь. У девушки была русая коса, и она достигала аж щиколоток. Никогда раньше такой длинной косы не встречал.

— Джульбарс пропал, — сказала старуха как бы самой себе. — С утра убежал куда-то и все не возвращается.

Был обычный будничным день. Я стоял посреди двора. Моей дочери было всего пять дней от роду. Моя родня спорила — кому стирать пеленки: женщине или мужчине. А впереди была еще долгая жизнь...

Мрак

Двухлетняя девочка открывает случайно подвернувшуюся книгу на форзаце и, ткнув пухлым пальчиком в чистый лист бумаги, говорит:

— Ночь. — Чуть помолчав, уверенно и четко повторяет. — Это ночь.

— Почему ночь? — возражаешь ты. — Это же белый лист бумаги.

— Ночь! — упрямится она, капризно выпятив губки. — Это ночь.

И, старательно перевернув страницу и водя пальчиком по крупному шрифту титульного листа:

— Бук-ки.

Еще перелистывает, видит портрет автора:

— Дядя.

Потом, перелистывая дальше, над каждой страницей произносит:

— Бук-ки... Бук-ки... Бук-ки...

Так, перебрав довольно много, натывается:

— Кайтинка.

Наконец, захлопнув книгу, снова отворачивает обложку, вернувшись к форзацу:

— Это ночь.

И долго, пытливо смотрит тебе в глаза, и ты с удивлением начинаешь понимать, что чистый лист бумаги, не заселенный ни буквами, ни картинками, она попросту считает лишенной всяческой жизни, ночью, мраком, невзирая на очевидную белизну листа.

Тихая, теплая осень

Тихая, теплая осень. По небу плывут белые легкие облака. Хочется подолгу смотреть вверх. Женщина хлопочет под навесом летней кухни. Кокает яички о край сковородки — яичницу на свинном сале варганит. Так ловко и изящно она это делает, что невольно засматриваешься. Неподалеку копошатся куры с молодецким петухом во главе. На соседней улице снова поднимается шум и гам. Пашка Колотовкин, вернувшийся с чеченской войны, опять вдрызг напился и с утра гоняется за кем-то по деревне. Участковый милиционер без дела торчит возле магазина. Он все слышит и знает, что происходит, но не вмешивается. Может быть, стыдится, что Пашка воевал, а он в это время, молодой и сильный, за танцами в клубе приглядывал. Кто его знает. Младший сын женщины тоже служит в армии. Уже второй год пошел. Сын часто слал письма. Но вот две недели как писем нет — и она всерьез обеспокоена: как бы ребенка не отправили на войну. Тем временем петух бочком-бочком подкрадывается к столу под навесом и орет во всю мочь. Вздрогнув, женщина говорит:

— Если ты к добру, то еще кричи, а ежели нет, то в казанке твое место. Ну!..

И петух, как бы испугавшись угрозы, спешно еще раз орет и, хлопнув крыльями, несется прочь. А на соседней улице все еще шумят, наверное, никак не могут угомонить разгулявшегося вояку.

Такая жизнь

У них родился больной ребенок, увечный и физически, и умственно: что-то ненормально было с нервной системой. Ходили, конечно, по врачам. Ходили долго, упорно, но ребенок оказался неизлечимым, о чем врачи однозначно сказали им, и намекнули, что, если они не против, если решатся, могут устроить ребенка в приют. Понятно, не сразу они согласились, они переживали, колебались, на что-то надеясь. Но вмешались родители жены, и вскоре сдали ребенка. Само собой, были всякие сопутствующие разговоры, споры, слезы, но понемногу все утряслось. Спустя время, когда у молодых родился еще один ребенок, уже нормальный, здоровый, все у них вроде пошло на лад. Ребенок рос, супруги радовались, лишь изредка с тихой грустью вспоминая о своем неудачном первенце. Шла жизнь, шла в будничных хлопотах и заботах. Но однажды они узнали, что родители мужа, сердобольные старики, на выходные забирают их первенца домой. Они удивились и испугались, не зная, как к этому относиться. Они занервничали. Они утратили интерес ко всему, даже друг к другу, и подолгу не разговаривали меж собой, а по выходным — вовсе сутками молчали. И боялись пойти и посмотреть на своего первенца. Правда, он, муж, разок сходил, но от жены скрыл. Она же не могла набраться смелости, она страдала, истязая себя сомнениями, и старела ото дня в день...

Счастье

Моя десятилетняя дочь очень любит деревенскую жизнь.

— Пап, ты знаешь, — говорит серьезно, — когда вырасту, я хотела бы жить в деревне в собственном доме возле леса. Иметь корову, телушку и афганскую овчарку. И ружье — чтобы дичь стрелять в лесу.

Милая, точь-в-точь повторяешь мою несбывшуюся мечту.

— Пап, а пап, — как-то сказала моя дочь, — мне стыдно признаваться, но я очень рада, что скоро поеду к бабушке в гости.

— А почему — стыдно?

— Ну, как же... уеду, оставив тебя одного.

И я чуть не задохнулся от счастья, и подумал, что да, что только лишь ради этой минуты, во имя этой ее чуткости, стоило жить и мучиться.

Этикет и сущность

Мой застарелый конфликт с родней — это конфликт между кавказским этикетом и русской сущностью. Просто я малость обрусел — и только. Хотя этикета во мне не меньше, чем в остальных из моей

родни, но в то же время сущностного начала очень много. Вся завываю в том, что во мне они видят, хотят видеть такого же, как сами, типичного кавказца. А это ошибка. Хуже, лучше ли — не берусь судить, но я другой. Давно уже другой. Но разве объяснишь кому, как перемешена в тебе твоя удинскость с русскостью, что и сам не разберешь, чего больше в тебе, твоего исконно южного, кавказского или русского, как две реки, слившись, тянут одним руслом, так и ты идешь по этой жизни, вбирая впечатления от двух национальных стихий.

Бог

Детство мое прошло вроде в безбожные в нашей стране времена. Но в моем родном селе в застольях любой тост все как один принимали с Божьим словом: «Аминь». Впрочем, на нашем наречии говорили: «Аммен». Женщины ложились спать с именем Иисуса Христа. Пекли хлеб, обязательно нанося на середку каждой раскатанной лепешки крестик. Хлеб преломляли тоже непременно с именем Господа и многое, очень многое свершали с именем Спасителя. Когда большевики отменили религию и закрыли храмы (кстати, в нашем селе не снесли ни одной церкви, просто на входные двери навесили увесистые амбарные замки), мои соплеменники удины все равно не отвернулись от Бога, они просто вернулись к языческим своим верованиям, с тем же именем Иисуса Христа и с пучком тонких восковых свечек шли к древним молельным камням, святым деревьям и родникам. Выходит, никаким указом или запретом из народа не вытравишь Бога.

Помню также из детства, как бабушка исполосовала мою спину ореховым прутом, когда я из любопытства убил из рогатки ласточку. При этом никто из взрослых не заступился за меня, и мне было до слез обидно, что из-за какой-то ничтожной пташки так сурово наказан и ни одна живая душа в нашем большом доме даже не пожалела меня. Ведь из той же рогатки я ежедневно сшибал воробьев, дроздов, и никто мне ни слова упрека не высказывал. Более того, как-то метким выстрелом в глаз насмерть уложил молодецкого бабушкиного петуха, оставив два десятка несушек без хозяина, но тоже отделался незначительной трепкой. А тут пустячная ласточка — и такая нешуточная расправа. Это было странно и непонятно. Только спустя многие и многие годы в какой-то книге я вычитал: «...ласточки — божьи птицы: их Христос благословил за то, что они у римлян украли гвозди».

Этот дуб вековой

Жарким летним днем вы с мамой собирали колоски в недавно сжатом поле, когда неожиданно налетел влажный, резко пахнущий пылью ветер. Минуту позже небо затянулось тьмою, тяжелые, на-

брякшие синевой тучи нависли над головой. Стало душно, совсем нечем дышать. Зарокотал гром, раскатываясь дробно и зловеще, лохмы туч разорвало молнией, и вы заспешили, спасаясь от неминуемого ливня, к одинокому дубу посреди огромного поля. Босыми ногами бежали по жутко колкой стерне, и по темени уже шлепали частые холодные капли, бежали и бежали, как вдруг откуда-то сбоку, появившись с края поля, какой-то человек начал что-то кричать, размахивая руками, сперва было слышно сплошное: о-о-о — э-э-э!.. потом все яснее, внятно: стой-ой-те-е!.. стой-ой-те-э!.. — и вы остановились, и в этот миг так страшно загрохотало, и такой высверк молнии ослепил вас, что от ужаса вы пригнулись к земле, и громадный дуб шагах в пятидесяти от того места, где вы замерли, мгновенно загорелся, задымил...

А после, много позже, ты впервые в жизни поцеловал девушку, хоронясь в глубоком, объемистом, просторном дупле искореженного молнией дерева. И теперь это дерево, этот дуб вековой, считай, навечно остался на одном из недоступных лоскутков безжалостно разодранной, так легко сгнувшейся, призрачной, как детский сон, страны, некогда бывшей во всех своих безмерных пределах кровным отечеством.

Майя ШВАРЦМАН

/ Гент, Бельгия /



ПРОГУЛКА ПО КРУГУ

За виртуозами былого —
красот, длиннот, словесной вязи —
крадись, в надежде вызнать слово,
по проходным дворам фантазий.
Нырять в проулки-анаконды,
как в сумрак текстов зоркий цензор,
броди и вчитывайся в Лондон —
том Диккенса с закладкой Темзы.

Шагая шрифтами брусчатки,
дивись роскошеством изданий,
лови грешки и опечатки
на лицах жителей и зданий.
Беги темнот, где только мнится
подтекст, чей смысл, как люк, задраен,
листай внимательно страницы
потёртых по углам окраин.

В их складках перхоть героина,
разводы нефти, крови — чем не
сюжет для новых домби с сыном,
живущих в золотом сеченье?
Там в Опере гремит «Набукко»,
там сливки взбитые бомонда:
когда в заглавье влез хоть буквой,
уже тебя читает Лондон.

Дойди до пристани, где яхты
стоят собраньем сочинений.
Следят дневальные на вахте
за курсом доллара к иене.

Пусть цены звонкие и сами
названья яхт полны созвучий,
они развернуты носами
к фарватеру на всякий случай.

Но не к воде ведут, а в Сити
успеха водяные знаки —
тропой невидимых событий,
зигзагами ходов двояких,
где целый мир стоит на страже
величья цифры, а не слова.
Туда и путь держи — опять же
за виртуозами былого.

ГАСТРОЛИ В СКАНДИНАВИИ

Вид сверху бесхитростен и старосветск:
там дремлют коровы, там бухта подковой
согнулась на счастье. Всяк в Швеции швец,
а также игрец на дуде тростниковой:
заштопает сети, протяжный свисток
подаст и отчалит рыбачить у дамбы, —
и тотчас же флейты вздохнёт голосок
завистливым эхом: и нам бы, и нам бы...

Закрякает селезнем сизый гобой,
в ответ рефлекторно икнёт селезёнка.
Не держит ни стройность шеренги, ни строй
уставшая стая, а йод и зелёнка
для ранок и ссадин темнеют внизу
разводами пятен, землёй и кустами, —
когда ещё сядем... Пророча грозу,
рокочут литавры: устали, устали.

В потрёпанных нотах трещат корешки
при взмахах страниц на крутых разворотах.
Натружены крылья, но так далеки
ещё луговины, и путь не короток.
Добраться бы к ночи сквозь облачный чад,
устроить привал — хоть в Карлстаде, лежащем
на речке Кларэльвен (кларнеты, молчать),
спуститься к осенним коралловым чащам.

Но рано снижаться. Летишь и летишь,
забыв от усталости даже чирикать.

То смотришь, как такты расставил камыш
в приземистых зарослях нотной черники,
то просто на ход пузыряей подо льдом,
на скованность стылой земли под арестом
зимы, и вздыхаешь — бог знает о чём,
кочуя, как Нильс, с перелётным оркестром.

* * *

Мы думали, Стикс широкий, всё возит Харон и возит,
античные зенки пяля,
медля, волыня.
Всё склонны преувеличить: вот так же в библейской прозе
про сорок лет загибали
в дикой пустыне.

А Стикс оказался мелким, да что там: черта простая.
Со мною шагало двое
рядом, я — между.
Один перешёл протоку, но крепко, не выпуская,
как будто зовя с собою,
за руку держит.

Другая со мной на этом стоит берегу и тоже
вцепилась, не уступая,
зверски, ногтями.
Держу их обоих — разных, и так на меня похожих,
терзаюсь и рвусь. Не знаю,
кто перетянет.

* * *

Оружейной палатой
в темноте возвышается лес.
Каждый куст соглядатай.
Незаметно сжимает обрез.

Пресмыкается стланик
в раболепье немого слуги.
Для того он и нанят:
заглушить поскорее шаги,

звук упавшего тела.
Чтоб его дотащить до реки,
наготове омела
держит крепких верёвок мотки.

Паутины мишени.
Мокрой ивы блестящий кожух.
В тростниках длинношеих
больше спряталось мушек, чем мух.

Звук затылок царапнет:
со спины забирают в кольцо.
Обернешься внезапно —
лес к тебе неизменно лицом,

словно ночь, необъятен.
Всё плотнее деревьев конвой.
Вдруг командует дятел
барабанною дробью отбой.

Пролетает погудка,
разряжая владения мглы.
Отпустило как будто.
И туман зачехляет стволы.

* * *

Усердней всякого стилиста
завивку парку учинив,
закручивает ветер листья
старательно, как ученик.

И жёлтых трубочек пергамент,
как сотни свитков «Берешит»,
лежит повсюду. Под ногами
беретик жёлудя трещит.

Деревьев обнищавших стаи
свершают горестный обряд:
потомство в люди отпускают
и беспризорщину плодят.

Сигают наземь непрестанно,
самонадеянно лихи,
колючий недоросль каштана,
крылатки клёна и ольхи.

Их гонят ветры днём и ночью,
и сколько сгинет их, пропав
в шалманах ям, хлевах обочин,
глухих бомжатниках канав.

Из них один пробьётся к свету
сквозь грязь, и месиво, и стыд;
и отвоюет дюйм планеты,
чтоб корни робкие пустить

и нам шепнуть: в тайге ль, в столице —
всё ляжешь в землю без затей,
и лишь тогда определится
черта оседлости твоей.

ГУВЕРНАНТКИ

Сдачи не надо! — как отрубил термидор,
и разлетелась вдрызг человечья мелочь,
с плахи прилавка брызнула на простор
и покатила кубарем очумело.
Крупные сделки — те для больших чинов,
кто головой платил, кто всего-то крахом.
Медь закатилась в щели чужих полов,
позатерялась по ямам, канавам, шляхам.

Жиденькими сантиметрами растеклись,
в снежном краю в реверансе навек присели,
сжались за штопкой, встали в тени кулис
русских семейств тихие мадмуазели.
В нудных этюдах рукой отбивали такт
(ночью в сенях — отбивались от рук кадетских),
век ожидая прибавки в скупой пятак,
всю свою жизнь впадая в чужое детство.

* * *

Ночной грозой ручная стирка
была затеяна. Тазы
гремели громом. Из штафирки
хлебнув настоящей бузы,

ворочала хмельная прачка
многопудовые котлы,
шаталась по небу враскачку
и добавляла то золы,

то синьки в воду. Занавесок
содравши облачную бязь,
крутила с искрами и треском
материю, раздухарясь.

Потоки пенные с размаху
выплёскивала с высоты,
и на земле в сквозных рубахах
тряслись и ёжились кусты.

К утру, устав от постирушки,
внезапно завернула кран.
На гребнях кровель для просушки
сырой распялила туман.

На острый месяц как на гвоздик
повешен неба был атлас.
С него текло. Мычали звёзды.
Их гнал к рассвету Волопас.

Тамара ВЕТРОВА

/ Париж /



ГОРОД ДВОЙНИКОВ

Мало приятного увидеть темное лицо двойника. Пусть не твое лицо, а физиономию далекого знакомого, которого, может, и в живых уж нет. Притом характерно, что и к слепой случайности это не отнесешь, ведь речь идет не об единичном эпизоде, а о цепочке необъяснимых обстоятельств. И в самом деле, попробуй объясни столкновение с человеком в лохмотьях, босым и дурно пахнущим, сидящим на набережной и пристально глядящим в вечернюю воду — и вот этот тип поворачивает лохматую голову, и ты обнаруживаешь, что это мэр городка, покинутого тобой, по-видимому, навсегда больше года назад...

Может ли мэр переехать в чужую страну и сделаться бомжом? Тем более, как говорится — списанный мэр, проходивший по судебному делу и получивший, пусть и условный, срок, а затем запершийся в четырехкомнатной квартире, так что его и видно не было? Но допустим, эти обстоятельства не убеждают, в конце концов мало ли что. Но то-то и оно, что, помимо мэра, были, если можно так выразиться, и другие соискатели. Итак, считаем: уже перечисленный мэр, за ним — тетка Ираида, склочная родственница из прошлого Кирилла; ее бледное лицо мелькнуло в грязноватом окне электрички и некоторое время желтело, подчеркнутое ядовито-зеленым цветом сдвинутого на лоб берета. Кирилл буквально прилип к стеклу — Ираида, собственной персоной!

После тетки, впрочем, наступило небольшое затишье. Невольно вглядывался Кирилл в лица прохожих, как будто искал знакомых или родственников. Но при этом не хотел и даже слегка побаивался странных и малоприятных встреч. Для чего видеть тех, кто остался за холмом на веки-вечные? да и не скучал он, прямо скажем... Для того ли уезжал, чтобы тосковать? В том-то и дело, что пришельцы из прошлого (Кирилл невольно брал слово «пришельцы» в кавычки) являлись незванными гостями.

Две недели спустя после встречи с теткой Ираидой, закатившей, помнится, на похоронах матери натуральный скандал из-за собрания сочинений Сергеева-Ценского в подарочном переплете, — после этой встречи, по прошествии примерно двух недель, появились, и практически один за другим, еще двое: тренер по плаванию Калашников Игорь Иванович (помер лет тринадцать назад, будучи пьян и вывалившись с собственного балкона); а затем Володя Городец (живет в городке до сих пор), действительно похожий на бомжа, заросший, запущенный, с черными траурными ногтями и злобным лицом. На плечах Городца болтались натуральные лохмотья, но это-то как раз было не удивительно: таким он и был, даром что художник, и даже довольно известный; нелюдим и чудовищный скряга, зимой снега не выпросишь.

Обе встречи, уже не через стекло поезда и не в сумерках, витающих над набережной, а среди бела дня, тяжело подействовали на Кирилла. Игорь Иванович Калашников вынырнул из дверей довольно крупного сетевого магазина и едва не сбил Кирилла с ног. Примечательно, что одет тренер был точно так, как в ту пору, когда четвероклассник Кирилл бегал на тренировки в городской бассейн. Темно-синие с красными полосками спортивные брюки, растянутая на крепком выступающем животе куртка и болтающийся на шее свисток...

Столкнувшись с человеком в спортивном костюме, Кирилл машинально извинился и вдруг увидел, и довольно близко, будто слезой налитый глаз. Игорь Иванович, как говорили, давненько прикладывался к бутылке, так что красноватый глаз был не удивителен...

Разумеется, он не узнал Кирилла. Да и как узнаешь в рыхлом сутулом человеке проворного пацана, хотя и вечно малость испуганного (а Кирилл боялся тренировок, в особенности — прыжков с четырехметровой вышки в ярко-зеленую воду)?

Да, Кирилл остался не узнан, но он-то узнал бывшего тренера! Как, спрашивается, очутился в чужом загородном Городе старый пьяница, спортсмен-неудачник, да вдобавок — ох, как же это Кирилл позабыл? — вдобавок покойник со стажем?! Это не умещалось в голове и тут же словно выстудило все внутренности Кирилла, как будто те покрылись корочкой льда...

Отшатнувшись от старого знакомого, Кирилл передумал идти в магазин и, ссутулившись пуще прежнего, побрел в направлении, противоположном дому.

Город сразу обступил путника и, как это нередко случалось, показался Кириллу гигантской, вращающейся, наподобие карусели, конструкцией. Блеклые сиреневые и желтоватые тона умножали эффект медленного вращения, и в конце концов у Кирилла закружилась голова. Пришлось присесть на скамью под стеклянной

крышей автобусной остановки. Калашникова больше видно не было, да и едва ли можно было предположить, что тот пустится в погоню. Город ему явно не знаком, уныло утешал себя Кирилл. Но это было слабое утешение: ведь, если вдуматься, добрался же каким-то образом бывший тренер до далекой страны. Или это в самом деле эффект, о котором упоминал брат: в незнакомых городах нам нередко мерещатся знакомые лица, однако это обманки, шутки нашего воображения. Калашников, впрочем, был куда как материален. Красная рожа, налитой глаз, вытянутый спортивный костюм... Кирилл не сомневался, что если бы тренер открыл рот, то тут же и гаркнул бы во весь голос:

— Пошевеливайтесь, не спать, не парни, а валенки!

...Встреча с Городцом пришлось на осеннее и довольно раннее утро, холодное и ясное. Кирилл вышел из дома брата, у которого нередко ночевал, задержавшись в Городе (сам он снимал квартирку в крошечном городке с солидным собором на тесной городской площади и несколькими улицами, утопавшими в поблекшей зелени). В то утро Кирилл направлялся к поезду через небольшой парк с гладким, как стекло, прудом; по матовой воде скользили тени облаков. Тут-то и столкнулся с Городцом, который молча поднялся со скамейки и довольно внимательно оглядел его. Наружность художника, описанная выше, ужаснула Кирилла, и он решил «не узнать» старого знакомого. Однако не тут-то было: Володе за какой-то надобностью вздумалось буквально перегородить Кириллу путь. Так и стоял на узкой тропе среди опавших дубовых листьев, огромных, как тарелка...

Вблизи темное лицо художника производило еще более отталкивающее впечатление. Брови поредели и поседели, глаза как бы запали внутрь лица и смотрели недобро, как небольшие зверьки. Отросшие грязноватые волосы лежали на плечах, он был не брит и, возможно, давно не мыт. Вдобавок от одежды отчетливо тянуло сырими тряпками. Но самое страшное ждало впереди: Городец надумал заговорить с Кириллом. Он и рот открыл для этой цели, но тут вышло смешное происшествие: рот нипочем не хотел слушаться, и тонкие губы несколько раз шевельнулись без звука. Неудача странным образом обозлила Городца, и он даже слегка толкнул Кирилла, будто виноватого, в плечо. Однако тут же и повторил попытку. На этот раз художник заговорил, но что это была за речь! Странное курлыканье вперемежку с неизвестными словами срывалось с непослушных, будто омертвевших губ.

— Кры, кырлы, возжаться, вж, взж...

Короче говоря, толку из разговора не вышло. Кирилл, однако, был не на шутку подавлен, как будто он, а не Городец потерпел неудачу в попытке коммуникации.

Кое-как обогнув темную фигуру на тропе, он наконец покинул парк и торопливо направился к вокзалу. Дома все следовало хорошенько обдумать, иначе от странных мыслей лопнет голова. Первое: двойники не игра воображения, не фантомы. От фантомов не несет мокрой тряпкой, они не лезут с разговорами. Но если не видения, то кто? неизученный природный феномен, связанный, быть может, с перемещениями людей по земному пространству? Существует, впрочем, еще вопрос: представляют ли эти фигуры реальную опасность? Кириллу припомнился тяжелый подозрительный взгляд Городца. Какую обиду тот затаил на Кирилла, как намерен действовать? Будучи фотографом-любителем, Кирилл не был лишен некоторой наблюдательности, и вот агрессивное состояние художника не ускользнуло от него. А как смотрела тетка Ираида! будто на смертельного врага.

Покачиваясь вместе с пустым вагоном электрички, Кирилл хмурился и тосковал. За окном пролетал большой красивый город, на светлом бессолнечном небе четко проступили очертания знаменитого собора; затем городской пейзаж сменился деревьями, из-за которых кое-где выглядывали покатые крыши домов, аккуратных и словно составленных из кубиков. Кирилл угрюмо смотрел в пол. Он вдолбил себе в голову, что если поднимет взгляд, тут же наткнется еще на какого-нибудь старого знакомого. А Кирилл нипочем этого не хотел. Он уверил себя еще и в том, что эти встречи небезопасны. Чем они грозят человеку? Так сразу и не скажешь... Это примерно как с радиацией, путанно и с прежней тоской рассуждал пассажир. Невидимая сила облучает тебя смертельными лучами... Но почему, Бога ради, старые знакомые, выпрыгнувшие из его памяти, несут смертельную угрозу? Кирилл и сам чувал, что все страшно запутывается. Со странным чувством представлял он, как эти старые знакомые уселись на какой-то неизвестный корабль (потому что кто пустит таких типов в самолет?), и вот, качаясь на этом корабле, пересекли океан, пока не высадились на южном берегу его новой родины... Черт знает что за чушь эти путешественники! Не беженцы, которых тут хватает... не искатели приключений — вокруг света за восемьдесят дней... Просто неизвестно кто, живые и мертвые, объединенные одной-единственной чертой: все они вышли или выехали из его личного, Кирилла, прошлого, а теперь потихоньку оккупируют красивый Город, наполненный меланхолическими серыми и сиреневыми тонами... Город-карусель, который принял на борт вначале его, а заодно и странные темные фигуры, притаившиеся следом... Надо ли говорить, что Кирилл не слишком удивился, когда с подножки соседнего вагона сошли двое знакомых пассажиров — Вера Крутова из 6 «Б» класса и ее мать, завхоз их школы номер 71, худая, как палка, высокая и печальная женщина. Такой она и была, не поменялась, как, собственно, все

они, люди из прошлой жизни, на которых он теперь все чаще на- талкивался. Не поменялась и Вера, девочка с тонкими серыми ко- сами, болтающимися за спиной, как бельевые веревки. Но эта по- меняться и не могла, потому что умерла в том же 6-м классе, от пневмонии или чего-то в этом роде. Следы этой смерти по сей день сохранились на лице матери: глаза у той были будто обведены яр- кими черными кругами, притом один глаз явно ничего не видел и даже смотрел несколько в сторону.

Вот уж кого Кириллу не хотелось видеть! Что хорошего — лезть на глаза женщине, потерявшей дочку? Да еще теперь, в его нынешнем, более или менее благополучном виде; как ни крути, переехал человек за границу, устроился, а главное — жив! Однако мать и дочка Крутовы довольно спокойно приблизились к Кириллу. Трудно сказать, признали ли его, но девочка, как давеча Городец, шевельнула губами, явно намереваясь задать вопрос. К сожалени- ю, речь не далась ей, и она дернула плечом, как бы отгораживая- сь от Кирилла. А мать просто спросила, где бы им отовариться, поскольку дома шаром покати, даже соль закончилась. Кивком Ки- рилл предложил матери и дочке Крутовым следовать за ним. Те по- слушно зашелестели по асфальту ногами, обутыми в одинаковые и довольно пыльные сапоги. Где их дом, вот что надо узнать, повто- рял сам себе провожатый. Дойду, для отвода глаз, до магазина, а там уж... Что будет «там», Кирилл, конечно, знать не знал. Однако все разрешилось куда проще, чем можно было ожидать. Обе жили по улице Войковича — ровно там, где и прежде. До школы близко, загибая прямые пальцы, перечисляла мать. А Верке еще и в сек- цию через дорогу. Она ведь в волейбольную при ЖЭКе ходит, до- бавила мать гулким голосом, как будто была простужена или гово- рила в пустую трубу.

До вечера Кирилл просидел в своей комнате, почти не ел, ог- раничился растворимым кофе и булочками из высокого бумажного пакета. Не хотелось и думать о том, чтобы покинуть маленькую квартирку. Каким-никаким, она все-таки была убежищем. Дело в том, что в желтоватом свете догорающего осеннего дня Кирилл на- рисовал себе неправдоподобную картину, которая ему самому по- казалась настолько убедительной, насколько древним людям ка- зался вид плоской земли. Бедняга вообразил, что его покинутый родной городок постепенно и довольно стремительно разросся, да так, что едва не впечатался своими слепыми улочками в красивый величественный Город, где Кирилл последнее время жил- поживал... Как же такое могло стрястись? Конечно, строительство в его городке с горем пополам велось — но тут, согласитесь, имело место нечто небывалое! Не строительный бум, а чудовищной силы взрыв, раздувший, подобно гигантскому пузырю, его вросший в землю городок во все стороны, будто сверхновую звезду! Тогда,

между прочим, не приходится удивляться, что жители нет-нет, да и забредут на соседние территории... коль уж их городок расползся, растянулся, расширился, распространился, куда ни глянь... В результате этой аномалии, закрывая глаза, медленно думал Кирилл, до городка стало рукой подать, он тут и там. Не ровен час — переулочек Стрелочников воткнется в Башню, либо нырнет под Арку... И тогда уж сплошным потоком потянутся фигуры из прошлого, его старые знакомые — молчаливые, темные, плотные, как сырая глина, упорные и неповоротливые, слегка подняв от земли бесцветные лица, распространяя глухие шорохи, специфические запахи, это молекулы, путанно и сквозь сон соображал Кирилл. Все состоит из молекул: река, цветущее дерево в парке, кофе в маленьких белых чашках. Как теперь прикажете заказывать этот кофе? Волею-неволей на губах сохранится дополнительный привкус.

...Главное, чтобы пришельцы не причинили вреда. Не то какой-нибудь Городец запросто покалечит... пробьет грудь куском трубы... Да, пробьет грудь, думал в полусне Кирилл, и действительно, чувствовал боль в груди. Хотя, сколько помнил, никакой трубы в руках художника не было. Эта труба была плодом воображения Кирилла.

Владимир КРИВОШЕЕВ

/ Санкт-Петербург /



ОБРЕТЁННОЕ И ЯВЛЕННОЕ

П. Чейгину

* * *

Тугоплавкая осень стирает бельё междометий
Оцинкованной лирикой непреходящего дня,
Ущемлённой губой фаршированных заячьих сплетен,
Узловатой подушкой в простенке напротив меня.

Поостыл листопад на исходе горячего снега.
Ухмыляются сумерки запахом судного дня.
Заповедный пескарёв ковыряется в рыбьих доспехах.
Упоительно тонет в трезвучиях млечная даль.

Будет прелый закат унижаться невежеством водки.
Невезением соли окупится спутанный срок.
Захмурует дистанция суточных коек в серёдке.
Заарканился день мелкотравчатым лассо дорог.

* * *

Угнездившись на пороге
Грубошёрстной кромки льда,
Небо свешивает ноги
И не смотрит никуда.

Плещется ржаное море
Зыбкой памятью ручья.
На фарфоровом катоде
Замыкается семья.

Забубенная свобода
Пропитала воздух хной.
День грядёт или погода
Горло рвёт скупой весной.

Дым чахоточного детства
Или звёзд дневных язык
Обретает птичье сердце
Перед вызовом грозы.

Перед зеркалом морали
Отступлениями вскользь
Треплет вымя, прёт руками
Неизвестность на-авось.

Вопреки точёной букве
Звук безбрежного ручья
Гасит море влажным звуком,
Топчет собственное «я».

* * *

Тень столичного двора
На обугленной монете
Океанского бугра
Покрывает лихолетья.

Охлаждённый жаром крик
Беспричинного успеха
Тычет в корку горьких книг,
Размывает почву смеху.

Испоконной жаждой сна
Огуречного приплода
Гибельное время года
Покрывает пелена
Сиротливой вязки снега.

Заповедную печать
Истового печенег
Обрубают словом тать
И кочует по ошибке
Слова, пущенного вдоль
Моей жизни.

Как улыбка
Раскрывается ладонь.

* * *

Трясёт меня полуденный нахлебник
За шорох шахмат в марлевой струне.
Вполголоса нащёптывает требник
Про жизнь деревьев в угольной стране.

Беспамятство шипучего заката
И моря подвенечная волна
Ломает мозг у фотоаппарата
И наизнанку видится страна.

ПИДЖАК ЧЕЙГИНА

Мне снится Чейгин иногда исподтишка.
Из Греции приехал и приснился.

Он продал раритет и клетчатый пиджак купил
Из-под полы прилипчивого грека.
Неисчерпаемый тот грек стоял и кофе пил как турок —
Без сахара, без задних мыслей пил.
А тут по его греческой земле
Идёт последний ингерманоландский вепс,
Привычно жёлтый и без пиджака.

(Он только что прижизненного Блока
За сотню котрафактных драхм
Какой-то попрошайке уступил
И вот в Эгейском море по колено
По мидиям шагает босиком,
Необязательный как божий одуванчик,
Жуёт свои наскальные стихи,
Прикидывается сакральной жертвой
И драхмами воинственно гремит.)

«Вы что, действительно последний ингерманоландский вепс — поэт?»
«А что, был кто-то первый?!..» — взбеленился Чейгин, остывая.
«Не помню, но пиджак у меня первый и последний
Какого не носил, не носит и не будет ни один поэт,
Хотел бы за него прижизненного Блока,
Но коли вышло так, согласен на сто драхм
И будет «баш на баш», как говорят у вас, у вепсов, вроде...»
Надел пиджак свой Пётр.
Пожали две безжизненные руки
И разошлись по собственным делам,
Претензий к этой жизни не имея.
Вроде всё.

Из цикла
«Список профессий»

ПЧЕЛОВОД

Необходимый с детства пчеловод
Стоит на пасеке привычными ногами
И слушает разноголосый хор
Трудоспособных ангелов,
Несущих
Ему вялотекущий мёд
И сокровенный смысл
Его полезной и немногословной жизни.

Он надевает взрослые очки
На близорукое лицо
Рукой хозяйской,
Очки нигде не жмут и это хорошо —
Теперь он может видеть
На пять диоптрий глубже
Жизнь, как картину Босха, например,
Иеронима, чтоб не ошибиться.

А может пасеку на операционный стол
Воздвигнуть как хирург
И скальпелем копать
В её невзгодах, никому не нужных,
Но безусловно ценных для него

И бессловесные стихи шептать
Послушными с рождения губами
На избранном пчелином диалекте,
Приятно непонятные себе.

Зима 2018

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРИКМАХЕР

Лохматый деревенский парикмахер,
По прозвищу Рабиндранат Тагор,
Рисует на мелованной бумаге
Витиеватый искренний узор...

Он ходит по земле ногами друга
И не тревожит сонную её
Ни лемехом просроченного плуга,
Ни граблей притуплённым остриём.

Он думает сомнительные мысли
Про жизнь в деревне на исходе дня
И, отряхнув глаза от груза жизни,
В глубинах зеркала распознаёт меня.

Он знает — в окружающей деревне
Стригут и бреют сами все себя
И недоходный промысел свой древний
Откладывает, внутренне любя.

Жена, от этой бедственной причины
Сбежала вся, по стерне босиком,
А неопределённые мужчины
Его не привлекают — в горле ком.

В неподалёком городке когда-то
Он волосы к порядку приучал
На головах друзей неаккуратных
И тех, кто деньги разные вручал

И жил неодобрительно богато
В кругу соседних выпученных глаз
С женой, не то чтобы придурковатой,
Но неспособной дать друзьям отказ.

Детей ненужных нет на этом свете,
Как, слава Богу, нет их и на том,
Лишь книги по углам висят как сети,
Владея парикмахерским умом.

В тенётах непролазных философий
Его мозги блуждают до сих пор.
Отсюда — грива, лоб его высокий
И прозвище — Рабиндранат Тагор.

Вместо волос — бумага меловая
Теперь в его мучительных руках
Под тяжестью узоров изнаывает
На свой, вполне бумажный, риск и страх.

Раз в год его единственный поклонник
Лениво купит оптом это всё,
И дома, добровольно, как иконы,
Развешает, собою потрясён.

А парикмахер, снова недовольный
Такой футуристической судьбой,
Ведёт свой образ жизни произвольный
Как в мясокомбинате — на убой.

Август 2015

РЫБАК

Течёт бесплодная река
В меланхолическое лето.
Забор качается слегка
От недостаточного ветра.

Выходит на берег рыбак
Ногами, полными надежды,
И существует кое-как
Большая часть его одежды.

Скрипит под пальцами песок
Сродни паркетной половице,
Желудочный голодный сок
В желудке рыбака сочится.

Он грустно смотрит на свои
Прямые пальцы музыканта,
Которым нынче предстоит
Ловить живую рыбу как-то.

Ведь дома потная жена
Исходит на последних сносях,
И рыба с фосфором нужна
Её костям как папироса,

Которую она в губах
Таскает, как собака мячик,
Покуда здесь её рыбак
Гипотетически рыбачит.

Уже с окрестных деревень
Подтягиваются зеваки —
Работать им в колхозе лень
И не хватает сил для драки.

Они глядят исподтишка
Глазами мудрого народа
На безопасного пока,
Но откровенного урода,

Который не желает жить
По их неторопливой жизни —
Не зря в руках его дрожит
Крючок опасный и капризный...

Вот леска гибкая летит
В сырую воду еле слышно,
И рыбака стереотип
В пейзаже заполняет нишу.

ТАКСИСТ

В такси, расписанном Шагалом,
Таксист, по кличке Зигмунд Фрейд,
Зовёт лирическим оскалом
Помочь купить ему берет.

Он в булочной берёт баранку
Бесплатно, будто бы Джон Лорд,
Простукивая иностранку,
Прописывает ей аборт.

Неторопливо, как художник,
Ведёт свой почерк в полутьме —
И, гения его заложник,
Я только верую в момент.

Мотор, как карликовый пудель,
В карман ложится из руки,
И проносящиеся люди
Ему как женщины близки.

В такси прохладно. Гаснут свечи
На дальнем внутреннем окне...
Там дух стоит ещё аптечный
И опоздало чьё-то «Не-ет!»

Он правит бал рукой эстета,
Другой рукой ведёт такси,
И отпечатки от кастета
Не серебрят его виски.

Описки будущих законов
В его извилинах — давно,
А этот контур его скромный —
Лишь кадр в немом его кино.



Андрей ЗАГДАНСКИЙ

/ Киев /

ЛИЯ

документальная повесть

— Лилёк, — говорил папа.

Ласково. Или устало. Или громко, из другой комнаты:

— Лилёк!

Потом, когда мы с сестрой повзрослели, так стали говорить и мы. Сначала Нина, потом и я. Это было по-детски нежно, но был в этом и какой-то вызов. Не привычное “мама — мамочка — мамуля”, а так вот — Лилёк! — как взрослые и равные. Как папа.

Но это было тогда. Теперь я всегда говорю — Лия.

* * *

Лия — Лиля, Лиличка, Лильца, Лилёк — родилась 28 октября 1919 года в Киеве. В семье Исаака и Марии Рыжиных. Когда Лие было три с половиной года, в апреле 1923, Мария — Маруся — умерла.

Дорогой Хоня,

Получил твое письмо. Мне не лучше, а значительно хуже. Причин для этого много. Не могу примириться с потерей Маруси. Страдаю невыносимо. Что толку в страданиях? Пожить бы еще немного вместе, пока Лиличка не подросла,

пишет Исаак своему младшему брату Ханону,

Ты знаешь, чем дальше, Лиличка не забывает больше, а наоборот тоскует всей своей маленькой душой. Естественная потребность для ребенка иметь мать, которую она могла бы обнять и поцеловать, и получить такие же нежности от матери, растут, увеличиваются с каждым часом.

Ты бы видел, как она разглядывает и ласкает карточку Маруси. Ведь Лиличка хорошо понимала и раньше, и сейчас понимает, что

картинки не говорят, но теперь она искренне огорчена. Почему мама не отвечает? Это высшая пытка.

И еще:

Я всегда испытывал к Лие чувство больше, чем просто любящий отец. Лия идеал моего ребенка. Такого я хотел. Теперь тебе понятно, как велико мое страдание?

В конце шестидесятых или в начале семидесятых Лия попробовала написать воспоминания. Для себя? Для нас с сестрой? Не знаю. Всего было написано четыре маленькие страницы. Первые абзацы написаны небрежно, еще карандашом, словно Лия не особенно верит в серьезность своего замысла:

В 1923–24 годах я жила с папой в Бердичеве. Мне было тогда три-четыре года, но я многое хорошо помню. И вообще стала помнить себя именно в этом городе. До этого мы жили в Киеве и только несколько картин осталось у меня в памяти — наша комната на Прорезной (где я бывала и позже), я сонная и меня раздевает тетя Таня, а потом я с папой в больнице у Впрочем, я хочу писать о другом.

Невозможно не обратить внимание на “в больнице у...” Почему Лия не называет свою маму мамой? Почему пропуск в оригинале? Почему вместо такого очевидного “мама” или имени — “Маруся” — пустота?

Фраза — “впрочем, я хочу писать о другом”— косвенно утверждает нечто прямо противоположное сказанному.

Здесь Лия меняет карандаш на шариковую ручку и пишет несколько общих фраз о мощеных улицах Бердичева и о соборе, где венчался Бальзак. Потом:

Самым большим удовольствием было забраться к папе в постель, помню такая большая со спинками покрытыми краской и посередине какие-то рисунки.

Я играла с папиными пальцами, давала им имена, нянчила их как кукол, навсегда запомнила и полюбила красивые папины руки, которые были так добры ко мне.

Затем опять умолчание:

Помню еще письма, которые я писала той, которой не было с нами. Я возила карандашом, то ровно, то вверх, то вниз, а потом складывала под диван. Письма через день-два исчезали, и я радовалась, что они уже отправлены.

“...той, которой не было с нами”. Спустя сорок с лишним лет после смерти Маруси, Лия просто не может выговорить слово “мама”.

В 1923-м или 1924-м году Исаак знакомится с Вирой — Валерией — Никольской. Вира жила в Киеве, где училась в балетной студии, в Бердичев приезжала навещать родителей, которых из Пскова в Украину занесла гражданская война.

Впервые я ее увидела, когда она пришла к нам домой в белом воздушном платье. Она принесла мне "Крокодила" Корнея Чуковского и тут же читала. Она мне понравилась, наверное потому, что не старалась понравиться.

А как-то раз пришла к нам с кошкой и осталась навсегда.

В 1925 году Исаак и Лия и Вира переедут в Киев, а в 1930 году у Исаака и Виры родится сын Александр, мамин сводный брат Саша.

Я буду писать о маме. О моей дорогой, о нашей родной маме.

"Нашей" подчеркивает кровную связь-соединение с братом, но "нашей родной маме" режет ухо нарочитостью, почти фальшью. Подчеркнуть "родная мама" может, вероятно, лишь тот, кто жил с мачехой или кого воспитывала мачеха. Но сказать о мачехе "наша родная мама" кажется странным выбором слов.

На этом "воспоминания" заканчиваются.

Сегодня, эти две фразы — "той, которой не было с нами" и "наша родная мама" — не дают мне покоя. Сознание девочки, а потом взрослой женщины не могло примириться со смертью Маруси. И имя ее стало непроизносимым словом-призраком, еще и потому, что свою мачеху — вторую жену Исаака Виру — Лия короновала "мамой".

В семейном архиве сохранилась лишь одна фотография Маруси. Очень-очень молодая, черноволосая, кудрявая. Глаза абсолютно Лиины. К сожалению, черты лица разглядеть невозможно — через нос, губы и шею проходит широкая царапина, словно чем-то острым содрана поверхность снимка. И в дополнение — чернильные пятна сверху.

И царапина, и пятно казались мне досадной отметкой времени — возможно, фотографии неудачно склеились глянцевым слоем в семейном альбоме. Годы спустя я понял, что снимок повредило не время, а рука. Маленькая Лия мстила Марусе за абсолютное и непоптимизм для ребенка предательство — смерть.

* * *

Исаак и Вира были парой необычной для Киева тридцатых годов. Он — сын каменщика из Слонима, который посвятил свою жизнь Талмуду, но никак не семье (по словам Исаака). Она — дочь ректора реального училища в Пскове.

Отец Виры, Евлампий Иванович, принял выбор дочери без особенного восторга — “вдовец с ребенком, еврей”; мать, Людмила Ивановна, приняла Исаака и его дочь сразу и безоговорочно.

Не знаю, как приняли второй брак Исаака его родители, не знаю даже были ли они живы в то время. Отец покойной Маруси — Гирш Перлович — приходил к Рыжиным по субботам, дарил Лие деньги и какую-то необычайно вкусную вафлю “микадо”. Он же научил внучку играть в карты — в “66” и в забытую теперь игру “бедзик”. Когда родился младший брат Саша, Герш стал приносить две вафли — Лие и Саше.

Исаак, выпускник коммерческого училища в Варшаве, работал в торговле, вполне успешно — киевский универмаг, Торгсин, центральный банк на Институтской. Интересно, что за всю жизнь я не слышал от Исаака ни слова на идише — хотя он, конечно же, учился в хедере. Вероятно, это был сознательный выбор — выбор другой культуры. Вира воспитывает детей: падчерицу Лию и сына Александра.

По вечерам Рыжины ведут светскую жизнь — принимают друзей, часто ходят в театры. Исаак любил филармонию.

Лиля пишет в дневнике:

Часто собирались — веселые, красивые, молодые. Ставили какие-то спектакли, если я не ошибаюсь “Белый ужин” Ростана. У нас была эта пьеса с маминими замечаниями на полях. Папа настаивал на том, чтобы мама оставила балет.

Моя тетка Оля, дочь двоюродной сестры Исаака Гиты, спустя многие годы вспоминала, какое на нее впечатление произвела Вира в 36-м или 37-м году. По дороге с катка на Софийской площади Вира зашла к ним на Десятинную согреться. Разгоряченная и покрасневшая после мороза она смеялась и пила чай. На ней были облегающие рейтузы и меховая накидка. Оля, которой было тогда шесть или семь лет была потрясена и тем как Вира была одета, и как она держалась.

Лиля всегда говорила, что очень любила свою “маму”, но я думаю, что на самом деле была по-детски влюблена.

Когда мама пришла на выпускной вечер все были поражены ее молодостью и внешностью. Тогда ей было 33 года, стройная, высокая, с хорошей фигурой, серые глаза, скулы скифские, загадочный взгляд...

Сама Вира, кажется, никогда и нигде не работала. Лишь одно время, перед войной, расписывала головные платки. Платки пользовались спросом, Вира была даже членом какой-то артели. Вероятно, артистизм был в генах — младший брат Виры, Жорж Никольский станет в 60-е известным художником анималистом.

И еще Вира любила сумерки. Подолгу сидела в кресле и молчала. Много читала. Любовь к чтению, вкус к хорошим книгам передались к Лие от Виры, и как знать, может быть повлияли и на наши с сестрой жизни.

Отношения двух женщин никогда не были простыми. Однажды, после какой-то бурной ссоры, Лия хлопнула дверью и ушла из дома. В одной рубашке, босая, в темноте бежала с Михайловского переул-ка на Прорезную к тете Риве, Ревекке, сестре Маруси, в поисках утешения и любви. Утешения было достаточно, любви не хватало.

В страшный 32-ой год, когда миллионы умирали от сталинского голода, Исаак уезжает работать на Донбасс, в Горловку. Работает на коксохимическом комбинате. Это дает возможность посылать семье в Киеве консервы — горох с мясом.

Летом Вира с Лией и двухгодовалым Сашей уезжают к Исааку — голод добирается и до Киева и кажется, что там уже не выжить.

В августе Исааку удается получить предложение на работу в Свердловск. Решено оставить голодный Киев и всей семьей перебраться на Урал. Исаак увольняется с химического комбината, куплены билеты на поезд домой — забрать мебель и вещи.

Семейные планы разрушает Лия — теряет сознание. Горячка. Брюшной тиф. Везти больную двенадцатилетнюю девочку в пассажирском вагоне нельзя: в поезд не возьмут, а если возьмут — умрет в дороге.

Вира и Саша вдвоем возвращаются в Киев; Исаак остается с Лией в Горловке и два месяца в одиночку борется за жизнь дочери.

Через несколько недель после начала болезни Лия впервые приходит в сознание. Видит Исаака в нижнем белье. К белью прико-лота английская булавка. Почему-то эта маленькая булавка рассме-шила Лию. Услышав, что дочь смеется Исаак заплакал.

28 октября, на свой день рождения, Лия начнет заново учиться ходить, и только поздней осенью Исаак и Лия вернутся в голодный Киев. О Свердловске Исаак и Вира забудут навсегда.

В школу Лия пошла рядом с домом — в тринадцатую, на Влади-мирской улице, сейчас в этом здании посольство Узбекистана. При-зрак этой удивительной школы преследовал нас с сестрой в домаш-них разговорах всю жизнь. И дело не только в том, что там мама встретила, по ее словам, “зеленоглазого мальчика” — моего отца — единственного в школе, кто переплывал Днепр. В школе учились все самые замечательные люди города Киева, и почти все друзья моих родителей, которых судьба разбросала по всему — хотел написать “миру”, но так тогда не говорили, тогда судьба разбрасывала людей строго в пределах Советского Союза. Из тех, кого я знал и помню — Святослав Иванов, будущий главред киевской “Вечерки” и будущий председатель Госкино Украины, который потом “сгорит” из-за Сергея Параджанова, главный прокурор Хабаровского края Морис Сац, шахматист Айзек Каликов, детский писатель Ефим Чеповетский, мо-сковский адвокат Леон (Ленька) Люненфельд, а также Яшка, Поли-на, Нюра, Ритуня-Туня.

Все знакомые и друзья делились на две категории: те, кто учился в тринадцатой школе, и те, кого несправедливая судьба лишила такой возможности.

До войны центр Киева был очень еврейский. Может быть треть населения города была евреи. После 17-го года, гражданской войны и бесконечных кровавых перипетий из Киева исчезла значительная или даже большая часть старой интеллигенции. Место образованной прослойки советского социума стали занимать евреи. Следующее поколение — их дети — в школе учились, как правило, хорошо или даже блестяще. Остальные тоже старались, как шутил мой гой-папа, который всегда подчеркивал, что в юности был человеком легкомысленным. Или очень легкомысленным.

В восьмом классе во время игры в волейбол мой папа ударом мяча сломал переносицу моей маме. Так, во всяком случае, гласила семейная легенда. Это была судьба.

Тогда, в середине 30-х, все зачитывались Кнутом Гамсуном. Папа, как я догадываюсь теперь, в старших классах “изображал” загадочного Юхана Нагеля из “Мистерий” Гамсуна. Устоять было невозможно.

В 37-м году арестовали дядю Хоню — Ханона Рыжина, младшего брата Исаака. Хоня жил где-то под Киевом. Энкавэдэшники конвоировали его в Нежин. В тюрьме не было мест. Тогда “красивого веселого светлоглазого” дядю Хоню — так всегда говорила о нем Лия — расстреляли на вокзале. Могилы Хони нет.

Каждый раз, когда я проезжал станцию Нежин, по дороге из Москвы в Киев, я думал о своем родственнике, единственной виной которого, вероятно, была переполненная тюрьма в Нежине. Что думала мама, тогда в 37-м году? Что думал Исаак? Не знаю...

Знаю, что Исаак принимал активное участие в судьбе Хониных детей — дочери Лены и маленького сына. Лена стала врачом-онкологом, жила в Луганске и дружила с Лией всю жизнь.

В 39-м, после раздела Польши, Исаак смог впервые за двадцать лет поехать в Слоним, теперь часть Беларуси — навестить сестер — Блюму и Сару и брата Якова и их семьи. Многие годы после этой поездки у нас в семье хранилось красное с синим и желтым узором покрывало — верета, подарок маминых теток из Слонима.

Верета прошла всю эвакуацию с Вирой и Исааком. После смерти Виры в 1960-м году Исаак отдал покрывало Лие. В доме родителей верета прожила несколько десятилетий. Потом уже сильно потрепанная, верета хранилась в доме моей сестры, как память о родственниках, которых никто из нас никогда не видел.

* * *

22 июня 41-го года Лия студентка киевского института пищевой промышленности была на практике в Беслане. Сохранилась Лиина записная книжка. Узкая, элегантная, очень похожая на appointment books, что были так популярны в Нью-Йорке в 90-е годы.

Среди аккуратно записанных имен и телефонов, вдруг запись карандашом:

Я совсем теряю голову. Нас гоняют целый день. Уже скоро неделя. Завтра неделя. Я измучилась до предела. Я волнуюсь. Хочу домой, в институт. Хочу в Киев.

И еще одна запись, на той же странице, ниже.

Женя, Женя, Свет мой, нет сил без тебя. Увижу ли Женю когда-нибудь? Какой смысл жить без него?

В эти дни Евгений Загданский был уже в Киеве — только что перевелся из Саратовского университета в Киевский, на четвертый курс юридического факультета.

Лия и ее ближайшая подруга Нюра — это имя я буду слышать всю жизнь, то с нежностью, то с недоумением — возвращаются из Беслана в Киев в начале июля. На вокзале паника. Немцы уже бомбят город. Впрочем, все считают, что война продлится не долго.

Подруги щеголяют кавказским загаром. Не сомневаюсь, что на них засматриваются мужчины. Обсуждают с друзьями, что делать, если немцы придут в Киев. Лучшая идея — уйти в плавни Днепра.

Исаак понимает — насколько это было возможно летом 41-го — с чем предстоит иметь дело ему и его семье и решает срочно отправить Виру, Лию и маленького Сашу в безопасность эвакуации.

Евгений приходит в военкомат в первые дни войны. Тогда же в военкомат приходят и оба сына тети Ривы, двоюродные братья Лии — Абрам и Михаил. И Юзек, муж их сестры Любы. Всех троих почти мгновенно, без подготовки, направляют на фронт.

Евгения призовут только 9 июля 1941 года. Зачислят на курсы военно-юридической академии РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) и отправят в Москву. Три курса юридического факультета, которые отец успел закончить перед началом войны, означали шанс на жизнь.

Вира, Лия и Саша едут в Москву — там, в Москве, живут родители Виры. Исаак остаётся в Киеве. Пока в Киеве.

Но прежде, чем поезд с Вирой, Лией и Сашей уйдет с Киевского вокзала, и прежде, чем Евгений будет призван в армию и отправлен на курсы РККА, Лия Рыжина и Евгений Загданский встретятся еще один раз.

По нашим с сестрой подсчетам это первые числа июля. Место встречи Лия помнила и однажды показала Нине, когда они проезжали мимо на 8-м трамвае. Тогда "восьмой" шел с Соломенки по улице Моисея Урицкого, сейчас Васыля Лыпкивського. Вот над этой улицей и стоял на мосту поезд и тот вагон, в котором должна была ехать в эвакуацию Лия.

Хотелось бы закрыть глаза и увидеть этот поезд, и в нем людей, и тех, кто на перроне. Какие у них чемоданы, вещмешки, узлы? Что на них надето? Какая обувь? Страшно ли им? Что они курят? Чем пахнет июльский киевский воздух? Какой мусор лежит на перроне?

Евгению двадцать два года. Его мать, моя бабушка, Антонина, умерла в 38-м, отец Петр — зимой 41-го. За несколько недель до начала войны умирает единственный близкий для отца человек — тетя Антося. Во всем мире у Евгения Загданского нет, кажется, никого кроме школьной любви — Лии Рыжиной.

Сколько у них времени перед расставанием на всю жизнь? Десять минут? Час? О чем они говорят? Как целуются?

Прощаясь, Евгений дарит Лие золотую цепочку — скромное наследство тети Антоси. Цепочка — обещание. И связь. Поезд уходит.

Наши с сестрой шансы появиться на этот свет — минус бесконечность.

Десятого июля 41 года в поезд Киев-Москва заходят энкаведисты и высаживают из поезда всех, у кого нет московской прописки — слишком много перепуганных людей рвется в город, где Сталин, Кремль и иллюзия безопасности — “столицу не отдадут”.

Вира, Лия и Саша остаются на крошечной станции Тихонова Пустынь.

В синем скользком портфеле с никелевой застежкой Лия хранит телеграммы того лета.

МОЛНИЯ КИЕВ МИХАЙЛОВСКИЙ ПЕР 9 КВ 56 РЫЖИНУ =
ДАЛЬШЕ ТИХОНОВОЙ ПУСТЫНИ ЕХАТЬ НЕ МОГУ СИЖУ НА ВОКЗАЛЕ ТЕЛЕГРАФЬ ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ РЫЖИНОЙ +

Отправив телеграмму растерянные и беспомощные Вира, Лия и Саша ждут ответа от Исаака на вокзале. То ли путевого обходчик, то ли машинист Кузнецов — Лия запомнила его фамилию — сжалился и позвал к себе в дом ночевать. В доме Кузнецовых Рыжины прожили несколько дней. Денег не было — в качестве платы за гостеприимство оставили хозяевам женские летние вещи — других с собой не было, знали, что “война продлится не долго” — косынку, блузу и детскую обувь Саши.

В эти минуты отчаяния у меня был очень трудный для обеих, очень жестокий разговор с мамой. Неправы были обе и простить можно каждую, но забыть я уже никогда не могла. Я схватила бумажник, подаренный папой, в нем были фотографии Жени и папы

и выбежала из дома. Я лежала в траве возле железнодорожного пути и плакала. Мыслей не было, только желание оборвать все это, кончить.

Через несколько дней — вторая телеграмма Исааку.

СРОЧНАЯ КИЕВ МИХАЙЛОВСКИЙ 9 КВ 56 РЫЖИНУ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО СООБЩИ ДЕНЬ ВЫЕЗДА ХОТЯТ ПЕРЕБРО-
СИТЬ КАЛУГУ +

Очевидно, Исаак хочет как-то вырваться из Киева к семье.
Следующая телеграмма уже от Исаака Вире:

КАЛУГА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОСТИНИЦА РЫЖИНОЙ =
МОБИЛИЗОВАН БУДУ ХАРЬКОВЕ ТЕЛЕГРАФЬ АДРЕС ПОСТОЯН-
НОГО ЖИТЕЛЬСТВА КИЕВ ПАПЕ МИЛКЕ ЛИНДИНУ ПЕРЕВЕДУ ДЕНЬГИ
УСТАНОВИМ ПЕРЕПИСКУ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ УВЕРЕН УВИДИМСЯ ОБНИ-
МАЮ ТЕБЯ САШУ ЛИЛЮ ИЗА +

Иза домашнее имя Исаака. В 1941 году Исааку было сорок шесть лет. Очевидно, в военкомате посчитали, что сорок шесть все еще призывной возраст.

Теперь телеграмма Виры адресована тому самому неведомому нам Линдину, другу Исаака. Сам Исаак уже в дороге, телеграфировать в Киев нет смысла.

МОЛНИЯ ХАРЬКОВ РЫБНАЯ 2/54 ЛИНДИНУ =
= СООБЩИТЕ ИСААКУ ЕДЕМ ХАРЬКОВ = ВИРА +

Все эти годы телеграммы хранились сначала у Лии, потом, когда мамы не стало, в доме моей сестры, все в том же синем портфеле. Чтобы телеграммы дошли на нас, их сначала должны были сохранить Исаак и Вира. В хаосе и ужасе войны эти пожелтевшие и ветхие листки бумаги с наклеенными белыми строчками — магические талисманы, материальные свидетельства присутствия во вселенной Его, Её, Их. Исчезают люди, дома, улицы, поезда, города и страны. Два человека хранят телеграммы — обещание встречи.

Вира с Лией и маленьким Сашей смогли добраться до Харькова. Где-то в середине августа — после месяца с лишним в поездках — они встречаются с Исааком. Лия всегда говорила об этой встрече как о чуде. Представляю их вчетвером летом 1941 года на харьковском вокзале или почему-то на главной площади Харькова напротив Госпрома — Исаак, Вира, моя мама и одиннадцатилетний дядя Саша. Как они смотрят друг на друга? О чем они говорят? Плачут? Смеются? Обнимают друг друга?

Евламий Никольский Вире в Харьков. 22 августа 1941 года.

Милые Вирочка, Исаак Львович, Саша и Лиля!

С какой радостью мы узнали, что теперь вы все вместе. Мы страшно беспокоились.

Мы с мамой в Москве и ехать никуда не собираемся. Мила [младшая сестра Виры] с Петром Алексеевичем [муж Милы] уехали в Ивановскую область по месту службы Петра Алексеевича. Жорж [младший брат Виры] живет на даче под Москвой. Как вы устроились? Почему очутились в Харькове?

Любопытная деталь: отец Виры называет мужей обеих дочерей по имени отчеству. Очевидно неформальное обращение — просто по имени — в доме Евлампия Ивановича Никольского было не принято.

В том же письме приписка карандашом Вириной матери, Людмилы Ивановны Никольской:

Мои дорогие! С момента получения открытки от Исаака Львовича, я перестала быть плаксой. Как я рада, что вы вместе. Полная неизвестность и безрезультатные письма и телеграммы приводили меня в отчаяние. Со своими трудностями я свыклась. Живем в комнате Милы и по мере надобности переселяемся в подвал. Хотелось бы знать о вас более подробно. Крепко без счёта целую. Ваша мама

"...по мере надобности переселяемся в подвал". В августе немцы уже бомбят Москву.

В плохо сохранившемся, почти истлевшем на сгибах письме важнейшие для нас с сестрой строчки, написанные рукой Евлампия:

Несколько писем получили на имя Лии от некоего Загданского. Он спрашивает адрес Лии. Сам он указывает адрес: Москва, Центр, почтовый ящик №1077, курсанту Загданскому(?). Фамилию хорошо не разбираю.

В Харькове Исааку удается посадить Виру, Лию и Сашу на поезд уходящий в Алма-Ату.

В то лето пассажирские поезда сначала пропускают военные эшелоны, затем подолгу стоят в тупиках. Уходят в одном направлении, потом следуют в другом. Потом опять стоят. Их бомбят юнкеры. Они горят и сходят с рельс. Вагоны лежат вдоль развороченных железнодорожных путей, почерневшие и окровавленные — тамбуры и купе заполнены разлагающейся человеческой плотью. Вокруг мертвых вагонов — мертвые тела, разбросанные вперемежку со сне-

дью, распахнутыми чемоданами, тряпками, корзинами, узлами, детскими игрушками и стоптанной обувью. Иногда поезда отступают — возвращаются в исходную точку.

Вире, Лие и Саше повезло — их поезд доходит до Алма-Аты.

Двоюродной сестре Исаака — Гите Сытник и ее дочерям Нине и Оле — повезло меньше: поезд, на котором они уезжали в тыл, вернулся в Киев. Гита погибла в Бабьем Яру, Нина и Оля спаслись. О том, как выживали и как выжили наши с сестрой тетки: две девочки-сироты (старшей Нине — шестнадцать, младшей Оле — одиннадцать) в оккупированном Киеве можно было бы написать отдельную книгу.

Михаил и Абрам — двоюродные братья Лии пропали без вести в Голосеевском лесу во время обороны Киева. Тетя Рива ждала возвращения сыновей всю жизнь.

Пропал без вести и муж двоюродной сестры Любы Юзек. Всё в том же Голосеевском лесу.

Благодаря письму Евлампия Никольского, Лия и Евгений находят друг друга. Лия из Алма-Аты пишет в Москву на почтовый ящик 1077, Евгений отвечает.

В конце сентября — начале октября 1941-го Исаак присоединяется к Вире, Лие и Саше в Казахстане. Его увольняют из армии, вероятно, по возрасту. Теперь вся семья Рыжиных вместе — редкое и абсолютное счастье в 1941 году.

Дорогие Вира и Исаак Львович,

Спасибо, что не забываете нас и пишете. Ведь это единственный способ общения. В такое время больше, чем когда-нибудь необходимо знать друг о друге. Мы радуемся, что вас не беспокоят так, как нас, радуемся, что вы вместе...

Жестокий враг отброшен от Москвы, надо быть уверенным навсегда. Теперь нет налетов ни дневных, ни ночных. Боже, какое зло война...

Это пишет 18-го декабря 1941 года Евлампий Никольский Вире в Алма-Ату:

...нет у нас спокойствия за Жоржа. Мама каждый день плачет о нем. С 8-го ноября нет никаких сведений от него. Из Москвы он был направлен в Муром, обещал писать, и вот до сих пор нет никаких сведений. Мама рвется ехать искать, несмотря на мои убеждения в нецелесообразности ее стремлений. Что значит искать? Это равносильно тому, что искать "жар-птицу"...

Чувствую себя очень неважно: беспокойство за маму, Жоржа, Милу и вас, отсутствие работы, какая-то опустошенность души и чувство никчемности.

Сядешь за чтение, а мысли устремляются в другую сторону, что с детьми, как помочь маме и чем...

Сохранилось еще одно письмо от Евлампия Ивановича — поздравление с Новым 1942 годом, надежда на скорое возвращение Рыжиных в Киев, тревога за младшего сына Жоржа, признанного негодным к строевой, но все же призванного... Письмо датировано 10 января 1942 года. Больше писем не было — 12 января Евлампий Никольский умер.

Мамуся, мамочка, родная мамусенька, мое солнышко! Целую твои любимые глаза, твои дорогие руки, всю тебя мою любимую, мою светлую и нежную. Моя мама, наша мамочка, что я могу сказать тебе кроме этого — наша мама, так необходимая нам, нашим детям, всем нам, любовь моя, светлая и чистая, —

пишет Вира Людмиле Ивановне Никольской в Москву, —

Мне нужно от тебя только одно слово, хотя бы привет, лишь бы увидеть твой почерк, увидеть буквы, написанные твоей рукой. Умоляю, помни о нас, помни обо мне...

В конце письма рукой Исаака:

*Дорогая мама,
только чувство общего горя позволяет мне Вас так назвать...*

В феврале 1942 года Евгений Загданский заканчивает военно-юридические курсы Рабоче-крестьянской Красной армии и направлен секретарем военной прокуратуры в 27-ую стрелковую дивизию на Карельский фронт.

В тот же год Лия Рыжина переводится из Киевского института пищевой промышленности имени Микояна в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства имени Молотова, который находится в эвакуации в Кзыл-Орде. Вместе с Лией в Кзыл-Орде Нюра.

Здесь же появляется еще одна подруга — москвичка Люся, или, как она была известна у нас в доме, Люсиха.

Годы спустя Люсиха вспоминала с какой легкостью Лия пошла на очевидный подлог, когда пришел черед Люсихи переводиться из оставленного в Москве горного института в тот же институт имени Молотова. Учебные программы двух вузов очевидно сильно отличались, однако "быстроглазая брюнетка Лия, которая работала секретарем учебной части, "поставила" Люсихе тройки по двум предметам, которых у нее не было в зачетке. Так Люся была зачислена без экзаменов на третий курс электротехнического факультета.

О жизни в Кзыл-Орде Лия редко говорила. Думаю, хотела забыть голод, авитаминоз, куриную слепоту, вшей.

Ножки кроватей ставили в банки с водой. Не помогало — клопы падали с потолка.

Летом горячая обжигающая земля. Ходили босиком — берегли обувь, подошвы плавилась от жары. Местное лакомство в жаркий день — айран. В конце лета — праздник изобилия — дыни и арбузы. Купаться ходили на длинный пруд возле лепрозория. Проказы боялись, но жара была еще сильнее.

Летом 43-го студентов отправили на строительство Кзыл-Ордынского канала — в городе не хватало питьевой воды. Работали с шести утра, потом опять вечером. Спали в военных палатках, задыхаясь от духоты, или просто на земле.

В какой-то особенно жаркий день, вспоминает Люсиха, Лия меняла шелковые чулки на айран и угощала своих друзей. Пили айран у казахов в юрте увешанной коврами. Это запомнилось.

Там же, Люсиха: “у Лили один порыв сменялся другим, могла что угодно подарить”, “живая, кокетливая, она перед мальчиками выкаблучивалась как могла”.

Очевидно, Люсиха ревнует подругу. Впрочем, не сомневаюсь, что Лия всегда была — и всегда хотела быть — в центре внимания. Готовая мгновенно рассмеяться и мгновенно рассердиться.

Много лет спустя, уже в другом столетии и на другом континенте, мне довелось выступать в Бруклинской библиотеке. Когда закончились обязательные ответы на вопросы, ко мне подошел очень пожилой человек и представился как Володя. Глядя на меня, Володя как-то особенно приветливо, почти ласково, улыбался.

— Я хорошо помню вашу маму. Лия Рыжина была самая красивая девочка в школе. И все ребята были в нее влюблены...

Переход от фильма к Лие был совершенно неожиданным. Несколько растерянно я смотрел на еще одного выпускника легендарной 13-ой школы, с которым вот так — вдруг — свела меня судьба. Этот маленький приветливый сангвиник был, вероятно, единственным человеком в Нью-Йорке — а может быть и в мире — который помнил мою маму молодой. Не зная, что сказать, я благодарно улыбнулся. Улыбнулся и Володя. И ушел.

Канал рыли, конечно же, вручную, лопатами. А как еще в Советском Союзе в 43 году? Кто-то из студентов поранил ногу и заразился столбняком. Лия видела предсмертные судороги умирающего, изогнутое дугой тело. С того дня страх столбняка всегда был рядом. Среди мальчишек нашего двора я, наверное, был чемпионом по количеству противостолбнячных прививок.

Поездка на 30-м трамвае “тянитолкай” в детскую поликлинику на Цитадельной — первое большое путешествие за пределы дома, которое я помню. Стандартный осмотр у врача и укол под лопатку. Кажется, я там бывал не реже, чем раз в две недели.

Страх столбняка соседствовал со страхом велосипеда.

Как я не умолял маму — велосипед мне так никогда и не купили. Какой ужас в детстве Лии был связан с велосипедом, кто упал, разбился или попал под колёса грузовика я так никогда и не узнал, но велосипед остался в моей жизни вечным табу.

Под новый год, играя с сестрой, я разбил голову о дверной косяк. Кровь кое-как остановили, противостолбнячную прививку по скорой помощи сделали. Рана была небольшая, три-четыре шва, но в доме был ужас, который, естественно, передался и мне. Тому была дополнительная причина.

За пару недель до этого я слышал от приятелей во дворе, что соседский мальчик поранил руку о перила в подъезде и умер от заражения крови.

Потрясенный такой дикой несправедливостью я рассказал об этом маме. Наверное, я надеялся, что мама заверит меня, что это абсолютно невозможно, и что дети, в частности, мальчики, которые стремя голову несутся вниз по лестницам и при этом небрежно — вскользь — опираются ладонью на гладкие деревянные перила, как это ежедневно проделывал я — живут вечно. Но мама мне тогда ничего не сказала. Просто промолчала. Может быть она слышала эту же историю от соседей.

И вот я лежу на тахте с защитой головой. В соседней комнате родители обсуждают идти ли им в гости встречать Новый год или остаться дома с пострадавшим ребенком.

Я зову маму. Нарядно одетая Лия, в обуви на каблуках, идет ко мне из другой комнаты, садится рядом на тахту и кладет мне руку на голову. От мамы пахнет духами.

— Мама, со мной не будет как с тем мальчиком?

Я лежу спиной к маме уставившись в гобелен Бранденбургские ворота, который родители привезли из Германии и который многие годы уныло украшал стену над моей кроватью. Повернуться и посмотреть маме в глаза мне страшно. С каким “тем” мальчиком я не уточняю, не могу произнести табуированные подсознанием слова “который умер”.

— Нет, малыш, — твердо и быстро говорит мама.

Мамины слова и, главное, мамин тон действуют на меня, как обещание вечной жизни, или, во всяком случае, как бесконечная отсрочка смерти.

Из эвакуации в Кзыл-Орде институт имени Молотова вернулся в Москву в конце 1943 года. Лия поселилась в общежитии все с теми же подругами — Нюрой и Люсихой. Жили коммуной и выживали коммуной.

Хлеб давали по карточкам. 350 грамм черного и булочку. Всего 550 грамм. Из черного хлеба варили соус со сладким техническим глицерином. Белую булочку продавали на базаре и покупали кило картошки, морковку и пучок укропа. На десерт, вместо пирожных, посыпали ломтики черного хлеба яичным порошком с сахаром.

Неделю варили суп с доставшимся по случаю салом. Варили по ночам. В платяном шкафу. Электрическую плитку надо было прятать от безжалостного коменданта общежития. Плитка еле-еле работала — накала в сети не было. Об этом эпическом кулинарном достижении Лия, Нюра и Люсиха написали пьесу “Похищение спирали”. Пьеса, к сожалению, не сохранилась.

Лия смеялась, вспоминая как они с Нюрой продавали на базаре кусок доставшегося по случаю мяса. Мясо было невзрачное, покупателей не было. Наконец какой-то угрюмый тип посмотрел на костлявый кусок и подозрительно спросил:

— Что это?

— Бином Ньютона, — ответила не дрогнув Нюра.

— Еще ругаются, — возмущенно сплюнул угрюмый тип и ушел.

Люсиха: “Лиля была самая деловая и шустрая в группе”.

Та же Люсиха: “За один день Лиля пересчитала тридцать промфинпланов, которые остальные студенты неудачно пересчитывали по одному”.

Чтобы почувствовать эпический характер этого академического подвига Лии совершенно необязательно понимать, что такое промышленно-финансовый план в советской экономической системе. Здесь важны ключевые слова — “за один день” и “тридцать”. У меня нет никаких сомнений, что так оно и было.

Тридцать лет спустя, в январе 1973 года, у меня будет возможность самому убедиться в Линой “шустрости”, когда надо мной нависла угроза провала зимней сессии в политехническом институте.

Одним из самых запущенных предметов была начертательная геометрия. Товарищ по группе одолжил мне на выходные свою рабочую тетрадь, в которой были все задачи за семестр. Тетрадь была большая и толстая. Предполагалось, что нормальный студент решает по несколько задач каждый день, моя же тетрадь хранила безупречную девственность. Без заполненной тетради получить зачет было невозможно. А значит, и сдать экзамен. Не сдав экзамен можно было быть уверенным в отчислении за неуспеваемость. Отчисление из института означало потерю отсрочки в военкомате и гарантированный весенний призыв в армию.

Этого Лия допустить не могла.

Вечером в субботу я ушел на очередную встречу с друзьями, а когда поздно ночью вернулся домой, Лия сидела на кухне, вооружившись карандашом и угольником, и заканчивала мою рабочую тетрадь по начерталке. То ли ей стало неинтересно “передирать” готовые решения из тетради моего товарища, то ли обнаружила там ошибки, но за вечер и полночи Лия самостоятельно выполнила весь объем задач по начертательной геометрии положенный обычному человеку на семестр.

Лия из Москвы Исааку в Алма-Ату.

30 декабря 1943 года

Папка, родной, только что передали важное правительственное сообщение! Снова на нашем украинском фронте! Казатин наш! Как хорошо, боже мой, как прекрасно, сейчас побежим смотреть салюты. У меня сразу поднялось настроение, только больно, что вы не со мной, но и это, наверное, скоро кончится.

Такое странное настроение — хочется кричать и петь, да и кругом все вопят. На всех плитках жарят и варят, шум и беспорядок ужасный, но все носит очень жизнерадостный характер.

6 ноября 1943 года Красная армия освобождает Киев. С этого дня все Рыжины — Исаак, Вира, Саша и Лия мечтают вернуться к себе домой, в квартиру на Михайловском переулке.

В надежде на близкую победу и скорую встречу с близкими Лия покупает в подарок любимому младшему брату щенка немецкой овчарки. Для этого Лие приходится продать свою юбку. Щенку дают маорийское имя Теранги, по имени пса в популярном американском фильме "Буран".

Теранги оказывается не столько немецкой овчаркой, сколько заурядной дворнягой с заурядным хвостом бубликом и не менее заурядными блохами. Пес раздражает всех в общезжитии, жует обувь, воспитанию не поддается и щедро одаривает блохами двуногих. Как сложилась его дальнейшая судьба я не знаю, но догадываюсь, что встреча Теранги с его предполагаемым хозяином Сашей никогда так и не состоялась.

До сих пор не знаю, где буду встречать Новый год, меня буквально тянут в разные стороны. Володя в одну компанию, мой знакомый латыш в другую, в институте тоже что-то затевают и мне поручили ёлку.

Получила первое письмо из нашего родного города от одной девочки, Зои Федоровой. Она жива и здорова даже институт закончила и работает там при институте. Она обещала побывать у нас на квартире и узнать все подробно.

О киевской квартире Рыжиных Зоя Федорова ничего не узнает и в начале 44-го Исаак специально поедет из Алма-Аты в Киев — проверить, что с квартирой Рыжиных на Михайловском. Поезд из Алма-Аты идет на Москву, а там пересадка на Киев. В дороге Исаак заболевает тифом. Теперь пришел Лиин черед выхаживать больного тифом Исаака.

Чтобы выходить умирающего, изможденного болезнью и недоеданием Исаака Лия продает ту золотую цепочку, что в 41-м году, прощаясь на вокзале, ей подарил Евгений.

Для Лии спасение отца — чудо. Второе после встречи с Исааком в Харькове. И свидетельство особой, магической связи с Евгением — золотая цепочка тети Антоси спасла жизнь Исаака.

После прощания на Киевском вокзале в июле 41-го года прошло два с лишним года. Лия и Евгений переписываются. Лейтенант Загданский даже посылает Лие Рыжиной свой военный аттестат — теперь она может получать деньги как невеста военнотружущего.

Потом ссора. Переписка прекращается.

Денежная помощь от Евгения, впрочем, продолжает поступать.

* * *

В конце 44-го Исаак наконец добирается до разрушенного Киева и понимает, что квартиру на Михайловском переулке вернуть не удастся. Дом выстоял и войну, и бомбардировки — стоит до сих пор — но в квартире уже жили другие люди. Вещи из своей квартиры Исаак увидит в квартире дворника.

* * *

В один воистину прекрасный для меня и моей сестры день, в июне 1945 года, точную дату мы не знаем, Лия как всегда вернулась после занятий в общежитие. В комнате было темно. На подоконнике сидела Нюра и курила. И молчала.

На Лиинной кровати спал человек. Мужчина. В сапогах. Это было возмутительно. Сколько длилось Лиино возмущение? Секунду? Две? Четыре? Нюра не выдержала и заплакала.

На кровати спал Женя Загданский.

Приятно думать, как они счастливы в ту первую ночь вместе. Первая ночь вместе после войны. Первая встреча после прощания у поезда на мосту в Киеве в 1941 году.

В тот вечер, наши с сестрой шансы явиться в этот мир заметно улучшились — Женя приехал за Лией.

Приехал из Берлина с “жүковским” набором для невест, в который помимо чемодана американской тушенки, входил еще и трофейный мотоцикл BMW. Мотоцикл конфисковали на границе — не положено. Никто особенно не горевал. Лишь иногда папа с иронией вспоминал свое потерянное на московской таможне сокровище.

В ожидании Лии, прежде чем заснуть на ее кровати, Женя раздавал всем, кто просил в общежитии тушенку. Узнав о такой щедрости мама заплакала.

В подарок Лие достались чулки — много — и приемник Филлипс.

Филлипс был невиданной и, буквально, неслыханной роскошью. Во время войны все приемники были конфискованы и после войны Сталин не торопился возвращать их народу-победителю.

Вся маленькая коммуна Лииных друзей — Люсиха, Нюра, будущий муж Нюры Исаак, сидели ночью у светящегося зеленой шкалой приемника и слушали "Прелюд" Сергея Рахманинова.

Пили разведенный спирт, закусывали оставшейся американской тушенкой.

Через некоторое время — 13 июля — праздновали свадьбу. Все той же маленькой коммуной друзей плюс втактсе общежитие.

В семейном архиве сохранились лист бумаги из школьной тетради в клетку, на котором Евгений, вероятно, по памяти в 52 году записал как отмечалась свадьба и последующие годовщины.

Первая запись:

Москва, Лиственная аллея, 4-ый корпус общежития МИМЭСХ, комната 36.

Наша с Лилькой свадьба.

Гости: Нюрочка, Исаак ее муж, студенты 5-го курса. Всего 20 человек.

Стол: Водка в бидоне, вместо бокалов консервные банки, хлеб и огурцы, картошка.

Подарки: Приемник Philips, бархатное платье, веер из страусовых перьев, серебряные ложечки, ситечко.

Лиины воспоминания были романтичнее. Например, что к свадьбе готовились основательно — фигурно вырезали скатерти из проектных чертежей. Что-то продали и что-то купили к столу на базаре. Сделали праздничное блюдо — винегрет. Винегрет Евгений не запомнил. И Евгений, и Лия, впрочем, помнили, что все гости мгновенно захмелели. Кто-то заснул на кровати предназначенной для молодоженов. Этого "кого-то" еще долго не могли выпроводить из комнаты номер 36.

Веер из страусиных перьев подарил Лие Исаак, муж Нюры. Подарил со словами:

— Легкомысленной женщине — легкомысленный подарок.

Остатки этого веера — всего лишь одно ослепительно-прекрасное белое перо, которое я хорошо помню тактильно — хранилось в волшебном чемодане-гардеробе, который пылился в кладовке в нашей квартире на Лумумбы.

Чемодан был невероятной красоты — твердый, как настоящий шкаф, с поверхностью покрытой каким-то шершавым синим материалом, похожим на облицовку спального вагона и раскладывался тоже как настоящий шкаф — с полками для рубашек и вешалками для пиджаков и платьев. По краям чемодана были набиты блестящие стальные углы с круглыми заклепками.

В детстве я обожал этот раскладной синий шкаф. Мне он казался свидетельством другой — не советской жизни родителей, их более беззаботной молодости. Там лежали мамины вечерние платья,

привезенные из Германии, папина федора, которую он никогда в Киеве не носил, театральный бинокль и фотоаппарат Ikoflex в квадратном кожаном кофре. Помню одно вечернее платье по названию ткани — “панбархат”, что предполагало не просто бархат, а какой-то особый “высший” шик того времени.

Летом 1945 года Лия защищает диплом инженера-механика.
Из письма Виры Лие:

Папа тебя поздравил, я всецело присоединяюсь к его пожеланиям. В твоей жизни два больших события — ты жена и ты инженер. Совсем большая! И на том, и на другом пути много трудностей, ни одни только радости ждут тебя, но когда любишь глубоко, верю — ничего не страшно...

Осенью 45-го Лия уезжает к мужу в Берлин. В дороге заболевает возвратным тифом и ее снимают с поезда. Возвращается в Москву. Наши с сестрой шансы появиться на этот свет сильно падают.

...Любить это давать, все время каждую минуту. Нельзя только брать. Если ты и Женя будете так любить друг друга — он тебя для тебя, а не для себя и ты его так же — то все будет хорошо.

Лия поправляется. Заново оформляет выездные документы. Едет опять.

На все том же листке из школьной тетради в клеточку запись рукой отца:

*13 июля 1946 года. Первая годовщина свадьбы.
Berlin. Falkensee. Kantstrasse 64
Гости: Евгений и Катя Семеновы, Володя Бояринцев
Стол: Жареная рыба, немецкие клецки.*

Лия Исааку из Берлина в Алма-Ата:

В субботу и воскресенье мы с Женей развлекались — были в кино, слушали “Риголетто”. Я снова смотрела цветной фильм с Мари-кой Рокк. Фильм называется “Женщины все-таки лучшие дипломаты”

Эти дни много читаю, правда все ерунда, которая здесь печаталась, потрясающая безвкусица. Женя хочет занять меня фотографией, чтобы я не скучала. Буду посылать вам свои труды.

Женя тоже хочет повидаться, только немного робеет, но я уверена, что вы полюбите его, он просто очень хороший, добрый и умный.

Летом 46 года старший лейтенант Евгений Загданский переведен из разведотдела 1-го Белорусского фронта в войска Министерст-

ва государственной безопасности в Берлине. Теперь Евгений Загданский занимается подготовкой документов к судебному процессу над нацистскими преступниками в лагере Заксенхаузен.

Лия Исааку в Алма-Ату, июль 1946.

Все складывается не так, как мы мечтали и проектировали. Демобилизоваться никак не удается и вряд ли вообще будет возможно когда-либо. Достаточно сказать, что его прежнее начальство помогло ему попасть в Академию Дипломатии, но все равно его не отпустили и это дело рухнуло. Я очень переживаю из-за этого.

Все письма военнослужащих в Германии и членов их семей перлюстрировались. На каждом конверте штамп — Проверено Военной Цензурой. Каким-то чудом это письмо прошло военного цензора, и строчка о том, что Женя уже в 46 году мечтал демобилизоваться сохранилась.

Лия Исааку в Алма-Ата. 1 января 1947 года.

В 7 часов вечера Москва поздравляла вас с Новым годом, и я слушала и мысленно посылала вам тысячу самых лучших пожеланий. Мы лично встречали Новый год по московскому времени. Так как встречали у нас дома, то я расхрабрилась и сделала вечернее платье. Вид был очень нарядный и все одобрили, особенно Женя.

Лия пишет это письмо ровно за неделю до того, как родилась моя сестра. Очевидно поэтому — “я расхрабрилась”. После войны, одиночества, голода, разлуки Лия хочет быть женщиной. Нарядной женщиной в вечернем платье на девятом месяце беременности. Что может быть прекраснее?

Остается только добавить изысканный праздничный стол.

Стол был роскошный, хозяйка особа уже пожилая, обладающая большими кулинарными способностями, а также вкусом, поэтому сервировка была тоже очень красивая.

Общество было буквально избранное, то есть все люди интересные, с высшим образованием.

Танцевали, играли в карты, читали стихи, спорили о Маяковском, Есенине и без конца возвращались к столу — снова пили — ели, но все были очень приличные и только в пятом часу разошлись, чтобы утром опять собраться.

8 января 1947 года у Евгения Загданского и Лии Загданской, в девичестве Рыжиной, родилась дочь. Маленькая очаровательная девочка. Моя старшая сестра.

* * *

Евгений Лие:

Моя дорогая, не дождусь, когда я смогу снова обнять тебя и посмотреть на дочку.

Честное слово, прямо на руках бы отнес домой. Ты себе не представляешь, как я счастлив, что у нас родился ребенок. Без тебя жить совсем невозможно, дома скучно, тоскливо. Сплю на диване, а на кровать лечь не решаюсь.

Лия Исааку в Алма-Ату:

18-го января я вернулась с моей дочерью из больницы.

Девчонка очень симпатичная и я уже люблю ее. Странно то, что пока это чувство не дает мне радости, мне что-то все стало страшно и тревожно.

Такое беспомощное, такое маленькое и такое дорогое сердцу создание... страх за нее крепко поселился во мне.

Неужели и ты меня так любишь, единственный мой?

Теперь мне много понятно и, конечно же, никогда я не могла быть дорога маме так же как Саша. Только на твою любовь вправе притязать мое сердце...

"...никогда я не могла быть дорога маме так же как Саша"...Фраза, которую я перечитываю... Такое позднее и такое важное открытие.

...девочка черненькая, но похожа на Женю. Назвали мы ее Нина, так звали Женину маму и так он просил.

Если до рождения девочки мы жили с Женей хорошо и дом был полон внимания и любви, то сейчас его отношение превосходит все ожидания. О лучшем ты даже мечтать не мог бы. В больнице я имела все, что могло бы прийти в голову, а дома даже дышать нельзя — Женя пытается все делать за меня. Очень он меня любит и я его не меньше, над девочкой трясется и даже мне не доверяет. Ночью не спит, следит, чтобы я вовремя кормила. Словом это будет папа вроде тебя, мне кажется, что для дочери это не так уж плохо, так ведь, родной мой?

В 47-м Вира с Сашей едут в Москву, навестить Людмилу Ивановну — маму Виры. Исаак остается в Алма-Ата. Очевидно, что перебраться из Казахстана в Киев Рыжиным уже невозможно, но может быть удастся в Москву.

Пишите подробно о результатах поездки в Москву, о впечатлениях Саши и т.д.

Пусть и мама перестанет лениться и напишет мне что-нибудь от души. Хоть она и говорила, что ей не надо внуков, но я надеюсь, что она полюбит мою Нину.

Почта в Берлине далеко. Чтобы отправить письмо в Союз нужно ехать на трамвае — одна Лия боится. Только вдвоем с Женей.

Лия из Берлина в Москву Исааку:

Милый-милый, я не знаю, что писать, так соскучилась по тебе, так трудно быть самостоятельной...

Зайди по адресу пл. Маяковского, Оружейный переулок, д. 3, кв 14. Оттуда должен приехать в отпуск Библер Володя. Мог бы передать с ним подробное письмо.

“Подробное” означает, на самом деле, письмо без оглядки на чужие глаза и уши, письмо, где все как есть. Оказия — возможность обойти вездесущую цензуру.

Третья годовщина свадьбы:

13 июля 48 года, Берлин

Гости: Альтшулеры, Кузнецовы, Алтуховы, Авидон, Турий, Библер.

Стол: изысканный.

Имена гостей, за исключением уже упомянутого в письме Лии Владимира Библиера, мне ничего не говорят. Имя Библиера я слышал дома неоднократно, но о нем чуть позже.

Лия Исааку в Алма-Ата.

Снова начала заниматься сама по-немецки, Женя сдал экзамен на курсах переводчиков на все “5”, прямо не верится. Да и болтает он совершенно свободно на любые темы, а я больше на кухонные и тряпочные.

Читаю, достаю журналы. Сейчас жду с нетерпением “Новый мир” 6-ой номер, там должно быть окончание Эптона Синклера “Королевская кровь”

И вдруг почти вскрик:

Хорошие мои, как все-таки надоело здесь, как неинтересно проходят дни, как хочется увидеть вас...

Летом 1948 Саша Рыжин поступает в Московский авиационный институт, а осенью Лия и Женя с маленькой Ниной — полтора года — приезжают в отпуск в Москву навестить Сашу. Саша живет у тетки, младшей сестры Виры — Милы.

Об этой поездке, Лия пишет подробный отчет Исааку и Вире в Алма-Ату.

5 ноября 1948 года.

Думаю, что за Сашу вы должны быть спокойны. Мила к нему очень внимательна, ест он сытно. Занимается серьезно и очень много.

Я верю в его усилия, только пусть не нервничает и не пугается трудностей. Мы положили на его книжку 250 рублей, кроме того я ему еще дала 100 рублей и рублей 50 на расходы. Ты ему напиши потом, чтобы он эти деньги расходовал на свои развлечения.

Перед отъездом отпраздновали в семейной обстановке мой день рождения. Приехала бабушка — привезла пирог.

Людмила Ивановна, мама Виры, конечно же, не родная бабушка, но если Вира — мама, то Вирина мама — бабушка. И бабушкой Людмила Ивановна была. Она полюбила Лию и полюбила Лиину дочь, свою "правнучку".

Людмила Ивановна три дня подряд приезжала — один раз взволновалась рассказом Милы, что Нина плохо ест и привезла ацидофильное молоко.

И снова привезла нам пирог на дорогу. Нас с Женей очень растрогало это внимание.

С Милой мы очень хорошо расстались. Почти все свои вещи оставила у Милы.

Сестра хорошо помнит обаятельную и веселую "бабку-распробабку", как Людмила Ивановна шутя подписывала свои письма. У "распробабки" был белый шпиг, на котором она рисовала черные пятна на манер мушек у женщин в начале прошлого века. Просто так.

Умерла Людмила Никольская в год моего рождения. У Виры, потом у Исаака, а потом у Лии сохранится ее прощальное письмо: несколько горьких строк Вире — и упрек, и прощение, а в конце письма обращение к Исааку — напоминание о его письме-соболезновании в январе 1942 года, когда умер Евлампий Иванович.

Иза! С глубоким волнением и благодарностью прочла еще раз письмо, где ты впервые зовешь меня "мама". Никогда не забывай, что с этим я ушла в могилу. Благословляю Виру, тебя, Сашу, Лию, Женю, Ниночку. Вот уже утро. Мое последнее прости я оплакиваю тяжелыми слезами.

Из всех Никольских помню только младшего брата Виры, Жоржа, или Жоржика, как называла его Лия. Того самого Жоржа, на поиски которого собиралась в Муром в 41 году Людмила Ивановна.

Жоржик приезжал к нам в гости в Киев и каждый день ходил в зоопарк. В зоопарке Жорж рисовал тигров. По вечерам он пил чай с родителями на кухне и смеялся. Никто так не смеялся как дядя Жорж. Так смеются только дети. После того приезда у нас дома осталось несколько быстрых мастерских набросков тушью. Тигр лежит. Тигр идет. Крупно: морда тигра. И один случайно затесавшийся олень.

В те годы все читали книги индийского англичанина Джима Корбетта "Кумаонские людоеды" и "Леопард из Рудрапраяга". Экзотический мир охотника на тигров-людоедов волновал и восхищал Лию и по вечерам мама перевоплощалась в Корбетта, когда накормив и напоив всех нас, наконец-то оставалась одна с книгой.

— Лиечка, маленькая, ну как ты можешь восхищаться этим негодяем, — грохотал Жорж, — Ты отдаешь себе отчет сколько в Индии людей, и сколько тигров? Убийца! Обычный убийца!

Лия смеялась полагая, что Жоржик шутит.

Лия Исааку в Алма-Ату. Февраль 1949.

Мои дорогие, пишу вам из госпиталя, я здесь уже две недели с Ниной. Что только не пережито за эти дни...

Мама, родная моя, как часто вспоминала тебя, твое спокойствие, твою выдержку во время частых Сашиных заболеваний... как хотелось многое спросить, услышать твой совет, просто что-нибудь услышать из твоих уст... Сейчас немного лучше. Началось все с высокой температуры, рвоты, общего вялого самочувствия.

Женя ходит убитый, совсем раскис. Один раз пришел, а она лежит смотрит безучастным взглядом, ни на что не реагирует — он, бедняга, и заплакал.

Диагноз установили — воспаление почечных лоханок. Помнишь, у Саши тоже было — я носила анализы в дом врачей, к доктору Клейну?

Через два дня после вливаний упала температура. Всего ей сделали шесть вливаний глюкозы и три переливания крови — от меня к ней. Вот уже два дня как появился незначительный аппетит, повеселела. Потеряла в весе за эти дни 800 грамм — для нас это очень много. ...

Значит, так вот и во много раз хуже ты выходила Сашу, бедная моя. Теперь в другом свете вспоминаю все Сашины болезни... тебе простительно быть нервной. Много-много тебе можно простить...

Впервые испытав страх за своего ребенка Лия перестает требовать от Виры невозможного — "никогда я не могла быть дорога маме так же, как Саша".

* * *

Младшего брата Лия любила так, как, вероятно, хотела, чтобы Вира любила ее, то есть — абсолютно. Эта абсолютная любовь должна была компенсировать не абсолютную степень родства — брат не родной, а сводный.

Все эти дни думаю о его экзаменах. Ведь это первые экзамены, они особенно тяжелы из-за необычной, непривычной обстановки и многого другого. Потом гораздо легче, я очень волнуюсь и часто среди дня и дел думаю, что он сейчас учит, сдаст ли и как сдаст...

Не думаю, чтобы Саша был способен ответить на сильное чувство старшей сестры. Не было такой необходимости.

26 января 1949 года

Меня он совсем забыл, и я за все время не получила ни одного письма. Бог с ним, писал бы вам, да знать, что у него все хорошо.

Почему вы еще мучаете меня — где папа, если в Москве, то почему не написал ни слова? Что у Саши? Как экзамены? Как ты? Ничего не знаю и все волнует меня... Жду с нетерпением писем, телеграмм, только бы знать скорее, что у вас.

7 апреля 1949 года

Сашеньке отправила пальто, очень рада, что удалось это сделать. Правда оно не светлое, как ты просил, но на хорошей подкладке. Отправила ему посылку, еще там джемпер, перчатки...

20 апреля 1949 года

Женя перевел Саше 700 рублей, и 500 рублей для вас.

23 мая 1949 года

Почему вы не пишете, пригодилось ли это пальто Саше, понравилось ли? Все же я старалась и хочу знать, удачно ли сделала выбор?

С тем пальто, что “не светлое, но на хорошей подкладке” для Саши что-то в доме у Милы случилось. Послевоенные годы тяжелые, голодные. Может быть, Мила отдала пальто своему сыну, может быть продала...

23 июня 1949

Папа, очень прошу возьмите у Милы чемодан с моими платьями, ведь это все что у меня есть. Боюсь, чтобы там ничего не случилось после истории с Сашиним пальто. Напиши, мне пожалуйста, об этом чемодане, все ли с ним в порядке...

16 июля 1949 года

Мамино письмо мне многое прояснило — мы будем посылать вам ежемесячно деньги, а также при возможности посылки.

Женя перевел вам 600 рублей, а затем я сделала два перевода Саше — 140 и 95 рублей.

12 августа 1949

Сегодня я перевела Саше свою зарплату. Я кажется писала вам, что работаю полтора часа в день музыкальной воспитательницей в детском саду, получаю 220 рублей, столько же марками и промтоварную карточку.

Эмоциональная недостаточность — болезнь. И Лиин брат Саша страдал, или, точнее, не страдал, этим заболеванием всю жизнь.

Из письма Виры Лие. Дата на письме не указана.

Сашок — тут мне придется нелегко. Быть беспристрастным судьей своему ребенку, дать ему характеристику умом, а не сердцем. В целом растет хороший человек, будет инженером, любящим свое дело. Очень искренний, без хитростей, лукавства, без злобы, зависти, грубости.

Добросовестный, но все же немного избалованный, и с людьми очень робкий, как улитка уходит в свою раковину.

Без блеска, но славный.

Уже нет ни Виры, ни Исаака, ни дяди Саши, и, кажется, только мы с сестрой можем оценить холодную точность Виры.

В августе 1975 года Исааку должно было исполниться 80 лет и Лия попросила меня поехать в Москву — поздравить Исаака с днем рождения. От всех Загданских. Я любил деда и легко согласился. Мама снабдила меня деньгами, пожеланиями, инструкциями и я полетел в Москву. К тому времени Исаак, перенесший тяжелую болезнь, уже несколько лет жил с дядей Сашей и его семьей в трехкомнатной квартире на метро "Профсоюзная". Мой приезд удивил кажется всех, кроме Исаака. Сашин сын, мой старший кузен, тоже Андрей, был в Москве, но если бы не мой приезд, явно не знал бы о дне рождения нашего деда. Отмечали мы юбилей Исаака втроем — на кухне, в чистой и уютной квартире. Помню, я покупал вино и сладкое к столу. Кажется это было все, что было "праздничного" на столе. Славный, но "без блеска" Саша и его жена были на даче в подмосковьи и я их в те дни не увидел.

— Я бы всю Москву, не задумываясь, променял бы на одну Владимирскую улицу, — с горькой улыбкой сказал мне в тот вечер мой мудрый дед Исаак.

* * *

В 1949 году Лия в Берлине уже почти три года. Одна в Союз не едет. Бойтесь: а вдруг ее не пустят на обратном пути к мужу? Тоскует. Жизнь в Германии — жизнь временная, чужая, в окружении чужих людей. Хочется своей. Теперь они оба — Лия и Женя — стремятся домой. Но куда “домой”?

20 апреля 1949 года

У нас каждый день споры и всевозможные планы. В Киев можно получить назначение только не претендуя на квартиру. Мы так и сделаем...

В апреле 1949 году Вира и Исаак наконец-то переезжают из Алма-Аты в Москву. Киевскую квартиру Рыжиных на Михайловском переулке уже не вернуть, а в Москве уже учится Саша, в Москве мама Виры — Людмила Ивановна, брат Жорж, сестра Мила.

Лию не отпускают сомнения — теперь решение вернуться в Киев означает разлуку с Исааком, Сашей и Вирой.

23 мая 1949

Вот уже месяц идут семейные распри по вопросу куда ехать. Я Женю упрекаю в семи смертных грехах за то, что он не хотел ехать в Москву...

Четвертая годовщина свадьбы.

13 июля 49 года, Берлин

Гости: те же.

Стол: тоже.

“Те же”, вероятно, означает тот же круг берлинских друзей, а “тоже” предполагает стол такой же “изысканный”, как и в 48-м. Это была последняя годовщина свадьбы в относительном благополучии оккупированного Берлина. Следующую годовщину Лия и Женя будут отмечать уже в Советском Союзе в Святошино под Киевом. “Изысканного” стола не будет еще многие годы.

В 1949 году в Советском Союзе начинается борьба с космополитами, так иносказательно называлась кампания государственного антисемитизма. Был ли это ответ Сталина на создание Израиля? Вероятно. Искали космополитов и в Германии. В окружении Лии и Жени Загданских самым подходящим кандидатом оказался переводчик, старший лейтенант Владимир Библер. Тот самый Библер, который присутствует в качестве гостя на всех берлинских годовщинах родителей. Владимир был человеком широко образованным и уже этим, вероятно, сильно и подозрительно отличался от всего офицерского состава советских оккупационных войск. Было принято решение заклеить Биבלера как космополита.

Старший лейтенант Евгений Загданский посчитал обвинения в адрес Библиера чушью и что-то сказал в защиту "безродного космополита" на партсобрании. Владимира Библиера "заступничество" Евгения Загданского не спасло. Из Берлина его сначала отправили в Москву, а уже из Москвы, как осужденного космополита, сослали в Душанбе. В Душанбе Владимир преподавал в Таджикском университете и в конце пятидесятых вернулся в Москву. Основал философскую школу. Родители один раз встречались с Владимиром, уже в шестидесятые годы. Общих интересов не оказалось, Лия почувствовала дистанцию между критически мыслящим интеллектуалом Владимиром и их с Женей вполне советским мировоззрением. Больше родители с Владимиром не встречались.

* * *

В конце 1949-го года, Евгения Загданского переводят на службу в Киев. Как родители и хотели. Полагаю, впрочем, что произошло это несколько быстрее, чем они рассчитывали. Не исключая, что несколько слов сказанных Евгением в защиту Владимира Библиера сыграли свою роль. В Киеве Вооруженные силы СССР и Министерство Государственной безопасности жильем Загданских не обеспечили. Как и обещали. Одно время жили у знакомых, потом снимали часть комнаты — за шкафом — у школьного товарища.

Когда я вернулась в Киев, я встречала многих из школы, из дома, из института, то обнимала и целовала людей, и меня тоже, с которыми не только не разговаривала раньше, но часто и имени не знала. Какая радость — вы живы! Ты жив!

Евгений ездит в командировки. Много. Первое сохранившееся в домашнем архиве письмо написано из Одессы.

Все эти дни на службе был занят мало и особенно остро скучал за тобой и за Ниночкой.

Памятуя твой совет посмотрел "Паяцы" — очень понравились голоса и игра актеров.

Кроме того, видел "Невидимый фронт" — для молодой китайской кинематографии неплохо. Хорошо уже то, что мы хоть немного познакомились с жизнью нашего восточного союзника. Много бродил по городу.

Море на меня произвело впечатление основательное, целый час бродил по берегу, вспоминал вас с Ниночкой, и насобирав ей полкармана морских камушков.

Ответного письма Лии нет. Есть следующее письмо Евгения.

Очень плохо получилось, что я не устроил тебя с Ниночкой на квартиру и вынужден был уехать. Но ты у меня умница, продержись как-нибудь это время пока я не приеду. К сожалению, возникли многие трудности, которые мы с тобой не предвидели.

Главное, чтобы Ниночка скорее выздоровела и снова была веселой и жизнерадостной, а остальное как-нибудь наладится.

По приезду в Киев я буду в сто раз энергичнее искать какую-нибудь для нас комнату, я упрекаю себя в том, что можно было сделать в этом отношении гораздо больше. Не буду отдыхать в обеденный перерыв, ездить по всем возможным и невозможным местам пока не найду. Так мучаться, пока нам не предоставят жилплощадь, — невозможно.

Неспокойно у меня на сердце и за тебя. Наши отношения за последнее время заставляют желать много лучшего, надеюсь на тебя и думаю, что все наладится.

И опять ответного письма Лии нет. Точнее, в домашнем архиве — нет. Полагаю, те письма, которые огорчали отца он просто не хранил. Почему-то думаю, что сжигал. Зато сохранились письма Евгения. И в них — зеркальное отражение Лии. Лии, которая страдает от одиночества и неприкаянности в родном городе. Но больше всего, кажется, от ревности.

Вот сейчас 10 вечера, окончились мои служебные заботы, и я снова вернулся к невеселым мыслям навеянным твоим письмом. Сильно обидела ты меня, Лия. И главное подорвала веру в тебя.

Твое письмо написано, как я представляю, под влиянием весьма различных чувств — одиночества, скуки, тоски по развлечениям, из боязни жизни и меньше всего от сомнения в моей любви, преданности и верности...

Главное, что заставило тебя "взбунтоваться" это то, что ты верна мне, нашей семье и не ищешь минутных удовольствий.

Твои мысли изложенные в этом печальном письме, мне известны, подобные же вещи я читал на Карельском фронте "я люблю тебя и т.д. но дни идут, я так хороша собой, на меня засматриваются другие мужчины, а я вынуждена скучать и томиться"...

Надолго отняла ты у меня покой. И за что спрашивается? Разве я в разлуке не был к тебе и дочурке внимателен, разве я не тоскую, не стремлюсь ежедневно, ежечасно, скорее закончить работу и вернуться к тебе, к Ниночке?

Ты это хорошо знаешь, и не сомневаешься.

Возможно тебя еще подталкивает наше современное материальное положение? Да что мне гадать... Не пристало мне унижаться. Делай, что хочешь. Только смотри не прогадай...

Все тот же лист в клеточку из школьной тетради с лаконичными записями Евгения о годовщинах свадьбы.

*13 июля 1951 года. Киев, ул. Академика Богомольца
Семья М.
Ниночка с детским садом в Ворзеле.
Годовщина за шкафом.*

В августе 51-го года все скромные армейские сбережения Загданских уходят на покупку комнаты с кухней в доме на Демеевке (тогда Сталинке) напротив церкви Вознесения. Дом стоял в "частном секторе" — тогда это звучало вполне пренебрежительно — так назывались в советские времена эти островки полу-деревенского быта в большом городе. Глинистая немощная улица с огромными озерами черных луж шла вдоль потемневших от дождей заборов. Гуляли куры, похрюкивали свиньи — среди соседей были люди предприимчивые. Сестра помнит, как она пряталась в дальнем углу комнаты, когда рядом за забором резали свинью, и в дом влетал предсмертный рыдающий визг.

Фонарей на улице не было и ночью все погружалось в плотный антрацитовый мрак.

После квартиры на Михайловском и относительной роскоши Берлина — дом на Комиссиатском переулке был настоящей лачугой. Лачугой с маленьким садиком.

Окно в кухне. Окно в комнате. Печка. Три человека.

Единственная достопримечательность — старая дикая груша, которая росла, прижавшись к стене дома, как раз в том месте, где наша половина "дома" заканчивалась и начиналась половина дома соседей — Семена и Ларисы.

Помню, как ни странно, их обоих — вечно небритого отставника-мизантропа Семена и его жену-квочку Ларису. У них было двое детей — умный и тонкий сын Илья, он был Нинин ровесник, и дочка Ира, веселая и приветливая.

Семен и Лариса составляли некий социальный фон Лии на Комиссиатском, ее ежедневные собеседники.

Этот дом, и эти люди, и этот сад были платой за жизнь в Киеве, куда Лия так рвалась.

Жека, я все же здесь чувствую себя очень одиноко, да и всегда мрачный пессимизм Семена действует на нервы... Грубый он и черствый. Я его не люблю и побаиваюсь. Если бы он был, не дай бог, в фаворе, то нам бы худо пришлось. Но ты не волнуйся, инцидентов нет никаких, это просто дополнительные впечатления.

...я не могу написать тебе, сколько у меня нежных чувств припасено для тебя, как часто я думаю о тебе. К счастью сказать, наши последние с тобой дни были совершенно безоблачны и я вспоминаю тебя только в любви и нежности.

От мрачного настроения предыдущего письма у Евгения не остается и следа. И так будет всегда. Заверения в любви, нежность, страсть в одном письме и вспышки иррациональной ревности в другом. Маятник эмоций никогда не останавливается.

Интересно, что Евгений часто пишет о счастье, о "нашем" счастье, о том, что "нам дорого", Лия всегда пишет о своей любви.

Мой родной, я думаю, что тебе совершенно незачем волноваться в отношении моей верности, я люблю тебя и рядом с чувством к тебе нет места для чего-нибудь иного. Я занялась страшным занятием — перечитываю все твои письма в дни войны. Вернее, в годы войны. В них так много ласки и надежды на встречу, что мне стало легче.

Помню в нашем доме черную папку размером в половину машинописного листа с черными, плотно завязанными шнурками. Так хранилась фронтовая переписка Лии и Евгения с 1941 по 1945 год. Лия всегда говорила об этих письмах со смущением и гордостью. Пожелтевшие листки бумаги, которые я лично никогда не держал в руках, были чем-то вроде семейной родословной. История и свидетельство любви, которая пережила войну.

Когда Лии не стало, Евгений черную папку сжег. Но только ее. Слово дал нам с сестрой право читать и перечитывать все остальное.

Я рассчитывал, что смогу в сентябре приехать в Киев за теплыми вещами. Написал соответствующему начальству рапорт, но получил отрицательный отказ. Так что к тебе в этом месяце я приехать никак не смогу.

Стала мысль точить, может быть тебя вызвать в этот собачий угол на несколько дней, но я совершенно не знаю, что у нас дома, как тебе удастся устроить Ниночку, как с квартирой вообще? Жду твоих писем.

Совершенно не знаю, что и думать. Как расценивать твое молчание?

Не поставь меня в известность, что ты жив, здоров. Просто нечестно так со мной поступать. Ведь это же не ребячество, и ты прекрасно понимаешь, как я волнуюсь. Я буквально схожу с ума, а время тянется так медленно, так бесконечно долго. Ты, мой Женька, делаешь мне так больно...

Не хочешь писать, присылай каждые 4–5 дней телеграммы...

Тот же лист бумаги, но другие чернила и почерк крупнее, размашистей.

Радость моя, получила только что твое письмо, сердце так переполнено, так взволнованно, не знаю, что сказать. Рада твоим каракулям, но волнуют слова, почему это захолюстье? Когда ты будешь снова со мной?

Ночи напролет не сплю, слышу каждое биение часов, только на рассвете раскрою окна и забудусь немного. Не знаю куда себя деть.

Тоска страшная. Все дома говорит о тебе, даже огурцы на грядках напоминают о том, что ими никто не интересуется...

Пиши мне подробно как Ниночка, как ты себя чувствуешь, нормально ли питаешься, когда думаешь привести Ниночку домой? Если сможешь пришли Ниночкину новую фотографию...

В то лето, накануне переезда в дом на Комиссиатском, Лия и Женя отправляют мою сестру, а Нине всего четыре года, в детский лагерь под Киевом. Каждые три-четыре дня Лия ездит на электричке в Ворзель навещать маленькую Нину.

И каждый день Лию мучают ревность и страх.

Приезжай, не хотела тебе писать, но так много еще волнуюсь, потому что у меня что-то пятый день болит правая грудь. Полина говорит, что "то страшное" не болит, а я боюсь и не еду к врачу и ночью мне очень страшно. Совсем одна я и мысли гадкие. Но это все ничего, только бы у тебя было все хорошо, и ты приедешь и я пойду к врачу — одна я боюсь. Не сердись, я знаю, что это не великодушно тебе это писать, но быть может ты меня пожалеешь и будешь мне чаще писать.

Лия никогда не говорила слова "рак". Всегда эвфемизм — "страшная болезнь" или же, как в этом письме — "то страшное", или "я не хочу произносить это слово". Сколько себя помню "рак" и "онкологический" были слова-табу в нашей семье. Никто не смел их произносить. Кажется, смерть Маруси от рака молочной железы всегда была рядом с Лией. Или мама предчувствовала свою судьбу?

Снова прочел твое письмо и снова рассердился на твою бестолковость. То, что ты написала о боли в груди и реакции на этот счет Полины, совершенно мне непонятно. Волнует меня и злит. Я написал тебе сегодня большое письмо, возможно ты получишь его несколько позже этой открытки. Лильця, будь же ты моей хорошей подругой и товарищем, не забивай себе голову черт знает чем.

Ладно, дорогой, прости меня, я возьму себя в руки. Как бы там не было, я тебя очень люблю и эта любовь способна творить чудеса — я буду сильной, энергичной, хорошей женой. Люби меня и пиши мне. Вот и сейчас с таким нетерпением жду почту. Отвечай скорее.

Если нездорова — обратиться к врачу. Что за дикие манеры? Сходи завтра же к врачу и выбрось из головы всю эту дребедень, а то рассержусь не на шутку.

Нина дома будет 25-го, их оказывается привезут организованно автобусом.

Я уже писала тебе, что сейчас там не так строго и когда я была там в воскресенье, то брала ее на руки и она прижалась ко мне и говорит: "Мама, родненькая, возьми меня сейчас домой..."

Разговаривала с Р.И. о она мне сказала, что все дети перестали есть и с ними одно мучение. Некоторые похудели на 300 грамм.

Почти вскользь написанная фраза "сейчас... не так строго и когда я была там... брала ее на руки" говорит о многом. Не думаю, чтобы концепция детского лагеря в 1951 году в Советском Союзе могла радикально отличаться от концепции лагеря для политзаключенных. Ну разве что, пятилетних не заставляли работать. Для сестры этот месяц окажется одним из самых неприятных и тоскливых воспоминаний детства. Кажется, в тот год и Лия, и маленькая Нина, и Желя — все получили свою долю одиночества и тоски.

Солнышко мое родное, Ниночка уже дома. В воскресенье отправилась к ней в полной уверенности, что детей будут раздавать 25-го, но уже навстречу мне шли родители с мальчиком (знаешь, те, что его фотографировали два раза и все бестолково). Они мне сообщили, что Нина ждет меня с нетерпением.

Как только я пришла, она бросилась ко мне и стала проситься домой.

Р.И. и Т. говорят — пусть побудет до 25-го, но она стала плакать и еще двое детей стали реветь. Видел бы ты, как она побежала за вещами. Я попросила, чтобы ее покормили обедом, а для этого ей пришлось снова идти за оградой. Через каждые 5–10 минут выбегала и смотрела — есть ли я. Один раз она выбежала и не сразу меня нашла — я прилегла под деревом — она бедняга так закричала "Мама, мама!"

Сестра помнит тот день и помнит последний обед в детском лагере. Помнит, как торопилась и как нервничала, что Лия ее не дождется. От страха вырвала, но Лие ничего не сказала — не хотела огорчать. И еще помнит забор.

Когда мы с ней шли вдоль забора к поезду, она говорит: "Вот за этим забором я ждала тебя так много дней, а теперь мы вместе"...

Жека, жизнь моя, она такая ласковая, такая дорогая... Ест неважно, но видит, что меня это огорчает и старается. Говорит, что у нас чудная комната, лучше всех. Видно ей понравилась.

В том самом синем чемодане из Германии, который так волновал мое детское воображение, рядом с белым страусиным пером лежал и китайский веер. В детстве я был убежден, что веер приехал в чемодане вместе с родителями из Германии.

Большой цветок в центре — роза или пион — и множество маленьких, нарисованных или напечатанных на тончайшей гофрированной рисовой бумаге, были плотно стиснуты между двумя пластинами сандалового дерева. Срез веера был покрыт серебряной фольгой. Внизу болтался тяжелый бонбон из цветных шелковых ниток.

Когда чемодан открывали запах сандалового дерева переносил меня, десятилетнего мальчика, в неведомое экзотическое пространство. Там, за сандаловым облаком жили загадочные, прекрасные и волнующие женщины. Детская любовь к запаху сандала осталась на всю жизнь.

Недавно, когда я спросил Нину о судьбе веера, меня ждало разочарование — веер не был привезен как “трофей” из Германии, а был куплен мамой в подарок моей сестре в разгар советско-китайской дружбы, в начале пятидесятых. Как знать, может быть в тот самый день, когда Лия забирала Нину из лагеря? Почему-то убежден, что именно в тот день.

Интересно, что находясь в исключительно стесненных материальных обстоятельствах, Лия покупает красивую и совершенно бессмысленную вещь в подарок дочери. Просто так. Как купила в 43-м году шенка “немецкой овчарки” в подарок младшему брату.

Покупка веера — импульсивный и символический жест бегства. Бегства из тесной комнаты на Комиссиатском переулке, где нет горячей воды, во дворе деревянный туалет и единственное развлечение в доме — радиоприемник “Балтика”.

Воистину, Give me the luxuries and I can dispense with the necessities¹.

Девять дней я был в разъездах и только вчера вернулся, где застал два твоих письма. Ничего, Лильця, сказать утешительного тебе не могу. Хуже того, сегодня разговаривал с областным начальством, от которых узнал, что моя командировка продлена вплоть до особого распоряжения. Это может означать 2–3 месяца, а то и больше.

Вот видишь, солнышко, какое тяжелое испытание нам предстоит, даже представить себе больно.

Моя любовь, солнышко мое, собери все свое мужество, не согнишь и не дрогни перед этим испытанием... Я боюсь тебе обещать, но может быть в конце этого месяца я на денек вырвусь к вам в Киев.

Признаюсь тебе, что и мерзкая ревность также мучит меня. Я просто боюсь, как бы ты не разбила то, что мне дороже самой жизни...

¹ Я могу обойтись без необходимого, но не могу жить без лишнего! Оскар Уайльд «Как важно быть серьезным».

Твое письмо убило меня...

Я уже не могу писать как безжалостно истерзало меня твоё десятидневное молчание, твои запоздалые телеграммы. Ты хочешь, чтобы я была другом-женщиной, но разве ты и сам не знаешь, что это так? Но ты хочешь невозможного — "будь мужественной" т.е. будь бодрой, веселой, и делай все что нужно. Это невозможно!

Ежесекундно все твердит во мне и извне все твердит мне — его нет со мной.

Это больно, это кровоточит как рана.

Я твержу себе, что должна взять себя в руки и все делать иначе, но не могу, никак не могу себя заставить. Даже для Нины все делаю с трудом.

Не знаю, любишь ли ты меня так же сильно как я тебя, но куда бы я не бросила свой взор, кроме классических образчиков литературы, кроме бедных Ромео и Джульетты, я не нахожу такого любящего, такого страстного, нежного жертвенного чувства как мое.

Мой мальчик, жизнь моя...

Как ты там? Мне больно, что ты где-то спишь без меня, как-то ешь не совсем хорошо, что может быть вещи у тебя в беспорядке, и некому просто приласкать тебя и сказать "Жека, радость ты моя, самый лучший, самый мой честный на земле!"

Как я люблю тебя, как хочу увидеть, как уже давно мечтаю о встрече, о том, что ты приедешь усталый, и как подаришь вечер дочке, а ночь мне...

Родной мой, ведь я люблю тебя так, потому что ты очень хороший, ведь я люблю тебя гораздо сильнее, чем в дни 45 года. Я узнала тебя, твою честность, прямооту, твоё благородство, бескорыстие, я узнала, что так редко дается женщине узнать — любовь сильную, верную, бесконечную нежность, желание сделать жизнь для любимой легкой, радостной, красивой и по возможности не поступиться ничем из своих жизненных принципов.

Я горжусь тобой. Я обожаю тебя. Письмо не то, но мне легче, если я тысячу раз скажу тебе — я обожаю тебя.

Вот уже семнадцать лет я люблю тебя и голодна, как будто никогда не знала души твоей и тела. С телом я справлюсь легко, но с душой что делать, если она так тоскует, не спит?

Холодная сентябрьская ночь. Маленькая Нина спит. За окном тьма египетская. Ни телефона, ни телевизора, чтобы разогнать холод и страх. И деревенскую тишину. Где-то за стеной небритый Семен и его Лариса, живущие своей — чужой и чуждой — жизнью.

Есть только одно спасение от тоски и желания — писать Жене. Говорить с Женей. Шептать ему. Пугать его. Любить и ласкать. И Лия пишет. Страницу за страницей. Пишет, как в горячке, заговаривая и заговариваясь. Бледными жидкими чернилами, похожими на высокую зеленку.

Вот сейчас что-то стукнуло за окном, лают собаки, уныло, страшно, и сердце дает какие-то невероятные перебои...

Еще не было ночи чтобы я спала хоть 5–6 часов. Сплю только на рассвете, а так все читаю разное, ворочаюсь, дрожу, потому что мне страшно.

Я тебя не пугаю, но от волнения, недоедания, ночных бдений, я спать просто боюсь, чтобы во время сна не ворвались. Я даже не раздеваюсь, чтобы удобнее схватить дочку и бежать. От этого я со-старюсь на пару лет раньше, безусловно. Делай все, чтобы быть вместе!

Не хочу денег этих. Работай на 700 рублей, и я буду в тысячу раз более счастлива. Я тоже буду работать, а вечера — разве их купишь за деньги?

Быть вместе, растить Нину, читать, ходить в театр... очень хорошо будем жить.

Эта комната, этот уют — все создано тобой для нас, для меня, но где же ты?

За что ты оставил меня?

Значит я была плохая, провинилась?

Пожалей меня — умоляю... Пиши часто, чтобы не реже — раз в три дня... ведь я сижу как собака до темна и жду почтальона. Нет, это пытка, а не испытание.

Я знаю только одни руки, одни только губы, одно тело... Разреши нам приехать к тебе... или лучше приезжай за нами, возьмешь свои вещи... Я еще не расставалась с тобой так надолго. Даже тогда, в 45 году, мне не была так тяжела разлука.

Любимый, я жду писем, только ими живу, дышу...

Целую обнимаю, ласкаю тебя. Где ты?

Боже мой, как я устала в разлуке без тебя...

Лильца, голубка моя, извини за все глупые открытки и невеселое письмо. Я все это время был в каком-то мутном сознании, казалось что все наше счастье на грани распада, даже ночами не мог спать, похудел и осунулся.

Прочитал твое письмо сразу успокоился как-то. Представил тебя хлопочущей у нашего скворечника, тебя полную забот о Ниночке и стало стыдно, что я так распустил нервы и фантазию.

Тут дешевые яблоки 1 рубль 10 штук и маленькие орехи 1 рубль большая кружка. Не купить ли мне того и другого когда буду собираться домой?

Я написала папе письмо, в ответ сегодня получила телеграмму — зовут меня на время твоего отсутствия к себе. Я бы очень хотела поехать, только боюсь ты вдруг приедешь, а меня не будет.

Очень хотел бы видеть тебя здесь, но взвесив все решил, что тебе все же лучше поехать в Москву, пока не кончится эта моя командировка.

Тяжело мне отказываться от свидания с тобой, но поездка ко мне связана с устройством дочурки и что самое страшное — не хочу, чтобы ты лишнее волновалась.

Ты спрашиваешь меня про яблоки и орехи, конечно, если можешь купи. Дешевле вряд ли бывает. Здесь хорошие яблоки 9–10 рублей. Лариса говорит, что в тех краях дешевые крупы — гречка, например. Пишу об этом чуть ли не по принуждению, так меня это мало все занимает, кроме твоего приезда. Как у тебя с деньгами, боюсь ты там плохо питаешься...

Отправь мне посылкой мою шинель, шапку ушанку, свитер или джемпер, две пары теплого старого белья, перчатки.

Доверенность на деньги за сентябрь находится у А. К. Позвони ему, он должен все сделать.

Лильця, как не тяжела разлука, но впереди радость встречи, радость жизни с тобой, моей дорогой дочуркой в своей комнате, не за каким-нибудь шкафом.

Ниночка здорова, соскучилась по тебе. Мы друг с другом очень ласковы и я ее еще сильнее стала любить. Она говорит, что она моя подружка. Вчера, чтобы доставить ей удовольствие и самой развлечься поехали встречать Любу. На вокзале напала такая тоска... Когда же будем встречать тебя?

Дорогие мои дети, скучаю за вашими письмами, я в свою очередь направил вам два письма.

Сегодня направил посылку с яблоками. Килограмм стоит 5 рублей, посылка обошлась в 60. Если стóит — напиши.

* * *

В молодости я не особенно задумывался о том, что Евгений служил в войсках Министерства государственной безопасности. Прошлое отец не любил вспоминать, да и я никогда не расспрашивал его ни о войне, ни о послевоенной службе. В двадцать лет молодость родителей не кажется особенно интересной. Не знаю, что делал Евгений на службе в органах. Предполагаю, нечто связанное с его опытом в военной разведке. Годы спустя отец говорил мне, что аналитический опыт разведки помог ему в его редакторской и сценарной работе. Выживание учит думать.

В апреле 1952 года служба в армии закончилась. Старшего лейтенанта Евгения Загданского повысили в звании и уволили в запас.

По сокращению штатов. Думаю, Лиина “пятая графа”, как было принято иносказательно говорить в Союзе, послужила истинной причиной к увольнению.

В тот же самое время, когда отца уволили из МГБ, в Москве начался процесс по делу членов Еврейского антифашистского комитета. Через три месяца, в августе 52-го, тринадцать членов антифашистского комитета расстреляют. В числе убитых Перец Маркиш, Вениамин Зускин. Вполне вероятно, что уже в апреле 1952-го года МГБ готовится к очередной кампании этнических репрессий — массовой депортации евреев в Биробиджан — и заранее чистит свои ряды. Смерть Сталина 5 марта 1953 года останавливает машину репрессий от неотвратимого следующего шага. Проживи он еще несколько лет, думаю, меня бы не было — я бы просто не родился.

Почти за год до того, как смерть Сталина спасла от депортации сотни тысяч советских евреев, Лиино еврейство избавило Евгения от службы дьяволу.

Уволенному по сокращению штатов капитану запаса предлагают трудоустройство администратором: гостиница “Интурист”, консерватория, киностудия научно-популярных фильмов. В тридцать три года Загданским предстоит начинать новую неведомую жизнь.

Евгений и Лия выбирают киностудию.

Новая и неведомая жизнь начинается с уже привычных командировок. И Лия опять остается с маленькой Ниной ждать Женю.

Получил сегодня, вот сейчас, твое письмо написанное карандашом. Один вопрос — ты что Лилька, с ума сошла? Я весь дрожу от возмущения. Ты что со мной два дня знакома? Как ты смеешь обо мне так думать?

Не нахожу просто слов от гнева.

Смотри, ведь мы сейчас не дети и ссориться нам как в школе не пристало.

Каждое, почти каждое твое письмо ранит мою душу, но это... тут ты, голубушка, превзошла все мои ожидания. Я почему-то полагал, что та Лилька, что в школе могла выбросить какой-то глупый, безумный номер теперь уже переросла это... а теперь не знаю, что мне думать...

Я всю свою жизнь связал с тобой, у нас Ниночка, а ты так пишешь, да еще прочла и сочла возможным отправить. И это за то, что я все свои силы, все мысли, все чувства всегда отдавал тебе и дочери. Спасибо. Ты меня отблагодарила достойно.

В чем-то 1952 не слишком отличается от 1852 или 1752 — письма по-прежнему единственная форма общения на расстоянии. В экстренном случае — телеграмма. До первого телефона, который появится у нас в доме, пройдет еще пятнадцать лет.

Поэтому — письма. Много писем.

Милый, будь мужествен, не пиши таких писем, как твое последнее. Я совсем выхожу из строя и ничего не хочу и не могу делать.

У нас дела наладились, но погода все время несъёмочная. Очень боюсь, что не выполним план. Дежури́м с аппаратурой у объектов в ожидании солнца целые дни.

Целый день возилась, убирала, варила и когда села в нашей уютной комнатке, украшенной цветами и чистой — безумно захотелось, чтобы ты вышел и сказал мне ласково и нежно — "Как хорошо у нас, Лильця, как я соскучился по нашему домику!"

Разделяю твою тоску, и нахожу, что мне даже хуже, так как ты все-таки вместе с нашей дочуркой.

Нечего сейчас ломать себе голову из-за нашего решения о моей работе. Необходимо еще нам обоим скрепить сердце и потерпеть. Тем радостнее будет встреча.

Вчера была с Полиной в кино, "Странный брак" новая венгерская картина. А на обратном пути на наших глазах какой-то безумный виллис наехал на женщину, переехал ее, потушил фары и умчался. Я первый раз вижу такую страшную вещь...

Получил от тебя два письма. Одно маленькое и сердитое и второе — большое и нежное.

Вот за это второе письмо тебе благодарен. Почувствовал всей душой как-то особенно сильно тебя, Ниночку, наш дом, цветы и наше счастье...

У меня дела немного поправляются. Уже дней пять стоят жаркие солнечные дни, и нам удалось кое-что отснять.

Вечером у меня была Нюра с мужем, я для них приготовила вареники с вишнями и салат моей марки. Выпили вина за твоё здоровье.

Хотел сделать тебе приятное — разыскивал букинистический магазин, но в Брянске такой роскоши нет.

Немало мне огорчений причинил проигрыш футболистов. Всю ночь просыпалась и думала, что такое, какая неприятность меня мучит — вспомню 3:1 и досадно до слез.

Зато радуюсь прочим успехам — вчерашний день был особенно удачен. С нетерпением жду последних известий и даже записываю результаты.

Олимпийские игры в Хельсинки — первые игры с участием Советского Союза.

22 июля 1952 года советские футболисты играют со сборной Югославии и проигрывают 3:1.

Тогда, летом 52-го года, телевизора в доме родителей еще не было и Лия “ловила” Олимпийские игры, поворачивая ручку настройки радиоприемника “Балтика”. На шкале стояли разметки с длиной волны. За каждой черточкой — столица мира — Лондон, Париж, Рим.

Хорошо представляю себе Лию у радиоприемника. Комментирует Вадим Синявский. “Наши” проигрывают, Лия кусает губы, всплещивает руками, чертыхается. Моя сестра — пять лет — играет с куклами и не догадывается об эпическом проигрыше советских футболистов.

Начиная с тех первых олимпийских игр в Хельсинки, Лия не пропустила, кажется, ни одной трансляции — Рим, Мехико, Токио. Это были вехи. Валерий Брумель и Боб Бимон были героями нашей семьи. Если бежала племянница Полины — Ирена Киршенштейн, спортивная гордость Польши — в нашем доме все замирало. Весь день или вечер, в зависимости от того, где были игры, мы жили в ожидании забега на 100 метров или эстафеты 4 по 100.

Лия в очках, в кресле прямо перед телевизором — расстояние до экрана полтора метра не больше — всем телом телепатировала спортивную страсть и волю к победе. Медали Ирены были семейным праздником. Как, впрочем, и все другие медали и, в особенности, рекорды. Помню, как за завтраком мама рассказывала подробности исторического прыжка Боба Бимона — какая это была по счету попытка, откуда и куда дул ветер, что подумал Тер-Ованесян, глядя на табло с невероятным результатом и т.д. Глаза горели.

И еще это было путешествие в тот, другой, мир в котором Лия после оккупированного Берлина никогда не была.

Лильця, если хочешь, то обязательно купи телевизор — это принесет нам много удовольствия и доставит счастливые минуты дочурке.

Много читаю — достала впервые в жизни “Избранное” Руссо. “Исповедь” произвела странное впечатление. Социальная и философская сторона интересна и так сказать на высоте, но прочее — личное — ужасно как-то странно для наших дней.

Знаешь детка, я в этом кинематографическом кошмаре совсем издергался. Какая-то потрясающая лавочка. Если бы хоть немного времени и не страшный холод в гостинице можно было бы написать новеллу не хуже Чапека.

Съемка каждого несчастного кадра зависит от десятка людей, вещей, ветра, солнца, туч и т.д. Затем, когда все будто бы налажено, мои “творческие” работники начинают переступать с ноги на ногу и

переступают до тех пор, пока либо люди, либо вещи, солнце, тучи или что-то еще из десятка этих компонентов не нарушит условия необходимые для съемки. Затем начинается все с начала. Измучился я с ними в конец. Жду не дождусь, когда это чертовщина закончиться. Любимая моя, через пару дней еду в Москву...

Получила от папы очень грустное письмо — он был у себя на родине. Там все погибли, но кроме того он узнал много грустных и страшных подробностей. Когда-то была большая семья, пятеро братьев и сестер, но осталась только одна наша семья.

Родина Исаака — Слоним — был еврейским местечком. За три года немецкой оккупации в окрестностях Слонима было расстреляно: на Петралевичской горе более десять тысяч человек, на Чепелевских полях тридцать, в урочище Морги две тысячи. Среди этих сорока двух тысяч: сестры Исаака — Блюма Вольфович и Сара Гавардина, обе урожденные Рыжины, их мужья и дети, брат Яков, его жена и их дети.

Конечно, ему очень тяжело, и мне так больно за папу. Будешь у них — утешь его, чем можешь. Главное покажи, что ты уверен в счастливом разрешении всех наших бытовых проблем, не скрывай из ложного мужского апломба своей тоски по мне и Ниночке.

Вчера прибыл в Москву и около 12 часов ночи приехал к твоим. Валерия Евлампиевна сейчас третий день находится в больнице. К сожалению, врачи предполагают, что у мамы инфаркт. Сегодня вечером напишу тебе подробно. Не тоскуй, моя девочка, я скоро приеду...

Нину только что уложила, она сегодня набегалась вволю. Маленькая очень хорошо себя вела, прекрасно играла и перед сном спросила меня — довольна ли я ею? Затем попросила, чтобы я написала тебе о ее хорошем поведении. Она заявила Р., что тебя любит больше мамы, потому что ты часто уезжаешь.

Спешу тебя обрадовать, что стационарные исследование показало, что мамин сердечный припадок это не инфаркт, чего мы все так боялись. Папа и Саша просто ожили.

Получила вчера от папы письмо — очень хорошее, нежное и заботливое. Милый он, такой ласковый отец, все больше люблю его с годами.

Исаак Львович передал для тебя с Ниночкой подарки — будешь прыгать до потолка — Нине великолепный венгерский шерстяной костюмчик и тебе том Драйзера. Не знаю, как его отблагодарить. Напиши ему...

У нас очень холодно, комнату впору хоть топить. Да и потолок не утеплили, и крыша протекает все чаще. Пора уже домом заняться. Я жду твоего приезда как никогда. Ведь представь себе — целые недели сидеть дома и никого никогда не видеть. Даже друзья чего-то не приезжают.

Лильця, в самом деле купи телевизор. Полина с супругом помогут его привезти, а мастер с телецентра его тебе настроит.

Будет дома немного веселей. Из-за денег не огорчайся, зарабатую для нас.

Сестра помнит, что именно тогда, осенью 1953-го года в доме появился первый телевизор КВН. Для Лили и Жени это был информационный взрыв. Своих — советских — передач было мало, но зато было много иностранных фильмов — “Похитители велосипедов”, “Рим открытый город”, “У стен Малапаги”, комедии с Тото и Бурвилем. Каждый новый фильм был событием в маленькой комнатке на Комиссиатском переулке, где по вечерам двое взрослых смотрели фильм, а моя пятилетняя сестра, которую уже уложили спать, втихоря выползала из кровати и подсматривала на экран из-за стула.

Итальянский неореализм сформировал кинокусы родителей. Оба восхищались Анной Маньяни и папа говорил, что Маньяни похожа на Лию. Мама сердилась и говорила, что нет. Мне кажется, папа был в чем-то прав — если не черты лица, то типаж и темперамент. И иссиня черные волосы.

Ездил сегодня к тебе на работу — приняли меня очень приветливо, какой-то солидный высокий передал от тебя привет — он с тобой разговаривал по телефону. Я не знаю почему тоже сказала, что говорила с тобой... Просто от зависти, что ты с ним говорил...

Мы взяли на себя обязательство, несмотря на ряд непредвиденных трудностей из-за которых мы потеряли много времени, все же фильм закончить съемками ко дню съезда партии, т.е. к 5 октября.

Получила деньги — еще меньше — теперь уже 300 рублей — ну и ладно, мне хватает, так что не печалься.

Все время скучаю по тебе, ревную немного тебя — ужасно неприличное и глупое чувство. А ты еще масла в огонь добавляешь. Скажи, пожалуйста, какая блистательная победа — N. стал за тобой ухаживать. Я аж плюнул от отвращения,

Достала последний номер “Нового мира” — там Василий Гроссман напечатал новый роман “За правое дело”. Очень талантливая вещь, читаю с удовольствием.

Возьми себя в руки, пожалуйста, и не паникуй. В отношении газа — нет возможности провести естественный, не превращай это в проблему жизни и внеси деньги, чтобы сделали с баллоном.

Как ты можешь видеть, что я всегда одна и только книги продолжают меня успокаивать, развлекать, волновать тревожить. Я просто не знаю как отблагодарить, как сказать им великое спасибо — тем кто творит для нас.

Захожу чуть ли не каждый день в книжные магазины, но не захожу ничего интересного...Как твоё самочувствие? Надеюсь, что все в порядке.

Помог ли дуст огурцам? Как там наши помидоры? Лильця, если будет охота, в конце августа посади клубнику.

Женюра, я думать не хочу о дне твоего приезда, боюсь настраиваться, а то потом невыносима отсрочка. Я хитрю сама с собой — готовлю дома, ничего не думаю, а сама жду, что вот неожиданно ты появишься или хоть сообщишь, что появляешься завтра — послезавтра. Я намерена так себя обманывать до 5–6-го, но дальше надеюсь на твоё благородство, ведь ты только подумай — три месяца. Ведь даже оглянувшись назад страшно становится.

Я на старости лет стану определенно музыкальным человеком. Вот у нас в гостинице день и ночь не умолкает репродуктор и вечерами, если тихо, бывает прекрасная музыка.

Жалею, что так мало играешь нам. Купи для себя ноты и разучи что-нибудь к вечеру нашей встречи.

Мы должны будем устроить нашу встречу как-нибудь торжественно.

Я тоже хочу, чтобы наша встреча была торжественной...

Напиши мне пару слов о нашем хозяйстве. По-моему, ты ошибаешься, картошки в каждом кусте должно быть значительно больше, ты просто плохо смотрела.

За то, что ты разучиваешь Шопена — спасибо!

И сад, и огород Лия ненавидела. Шопена любила. При мне уже никогда не играла. Невостребованное пианино — черное, немецкое, привезенное из Германии — стояло в углу комнаты. Расстаться с ним, несмотря на тесноту в квартире, у родителей не хватало мужества.

Вчера должна была встретиться с Нюрой и ее мужем, но Нюра не пришла, и мы вдвоем пошли в нашу картинную галерею. Жека, какая прелесть! Как-то торжественно на душе, словно я из храма вышла.

Сегодня суббота и как-то особенно остро тоскуешь по дому... Хорошо бы лежать на нашей тахте, видеть и осязать тебя и Ниночку, слушать наш приемник, вдыхать свежесть сада... хорошо, очень хорошо быть дома...

Как в ежедневной суматохе жизни мы забываем, что владеем самым необходимым для счастья. Весьма существенно, конечно, интересная, перспективная работа. Ну, чтож она была в прошлом, будет и в будущем.

Родной мой! Непокойно у меня на душе. Огорчаешь ты меня — редко пишешь. Очень волнует, где ты сейчас (в момент написания письма) и как ты одет. Ведь ужасно холодно. Неужели ты еще не получил пальто и теплое белье?

Не смей двигаться никуда без этих вещей. Ну что за ерунду я пишу, ведь ты уже сдвинулся...

Несколько раз прочел "Вопросы ленинизма", "Государство и революция". Читал "Трудовое право" и "Криминалистику", но заниматься серьезно трудно — слишком шумно.

В тот год, спустя семь лет после окончания войны и пятнадцать лет после поступления в университет, Евгений восстановился на четвертом курсе юридического факультета.

Каждый раз, когда лягу, потушу свет, включу приемник так неудержимо все помыслы устремляются к тебе, так тело просит твоей ласки, душа — твоей интимности, твоих откровений, что только сон отвлекает это чувство тоски. Засыпаешь с облегчением, а утром вставать неохота — день начинается без тебя.

Почему ты все снова и снова возвращаешься к мысли о неблагодарности людей и своем одиночестве? Что ты от людей — наших друзей и знакомых — ждешь? Ты все еще как дитя малое, неразумное...

Выгляжу я хорошо, но еще похудела, тем не менее довольна. Нюра говорит, что я похорошела.

Рад твоей маленькой победе с газом. Доволен также, что ты ищешь работу, не огорчайся из-за денег. Если не хватает, бери на книжке. Я в свои командировочные укладываюсь, еще купил бритву и какую-то мелочь.

Вчера была на кондитерской фабрике. Нашла двух институтских знакомых — В. зав. лабораторией цеха, другая в ОТК. Они мне выписали пропуск и я там пробыла три часа. В. живет здесь на Вознесенской улице, и я ее попросила отнести справку в фабком. Сегодня зайду и узнаю результаты.

Лия — инженер-механик по специальности — работу в Киеве найти не могла.

Подобно тому, как греческая культура покорила свою победительницу — Римскую империю, государственный антисемитизм нацистской Германии проник во все сферы жизни страны-победителя.

Как глупо писать "я потеряла веру в свою звезду" — просто малодушно, трусливо и глупо. Лильця, что с тобой моя детка? Возьми себя в руки...

Эта была стена. Лия приходила в отдел кадров, разговаривала с начальством, через несколько дней возвращалась, чтобы получить отказ.

Специалист вашего профиля в настоящее время не требуется. Это был удар. По самолюбию. По гордости. По достоинству. Удар, от которого Лия никогда не оправилась.

В воскресенье Ипполит Андрониковичу исполнилось 50 лет и мы скромно отметили его день рождения в местном ресторане "Десна". На мой вопрос, какую же мудрость постигает человек прожив полвека, именинник ответил, что его мудрость не гоняться за журавлем в небе. В пятьдесят лет такая философия простительна.

Евгений пишет о Лазарчуке¹, но говорит о себе. Он знает, что осенью 53-го года будет переведен на должность редактора в сценарный отдел студии "Киевнаучфильм" и мучительные длительные командировки закончатся.

Знает, что через несколько лет он уже будет старшим редактором отдела, а еще через семь — главным редактором киностудии. Знает, что по его сценариям будут снимать научно-популярные и анимационные фильмы. Знает, что у него будет успешная советская карьера. Честное имя в бесчестное время.

Солнышко мое, не тужи, если ты в ближайшие месяцы и не устроишься на работу, ничего нет страшного. Будем жить на мою зарплату, ты ведь у меня чудо что за экономная хозяйка.

Знает, что у них родится сын, что им наконец-то дадут квартиру, а домик с садом и туалетом и двумя десятками кустов клубники останется только в их с Лией памяти. Ну и еще в памяти сестры. И совсем немного в моей.

¹ Ипполит Андроникович Лазарчук (1903–1979) — режиссер студии "Киевнаучфильм", впоследствии работал в анимации.

Отбрось, пожалуйста, свои страхи и поиски работы. Я верю, что смогу обеспечить нам необходимый минимум. Вот приеду скоро и меня из дому палкой никто не выгонит.

Нашла ли ты портниху, чтобы сшить бархатное платье? Деньги для этого возьми с книжки.

Знает, что Лия не будет работать и посвятит себя тем, кого любит больше жизни — Евгению и их детям. И будет бесконечно перепечатывать и править его рукописи — статьи, сценарии, книги, и сердиться на дочь за то, что она грызет ногти и кричать на сына, за то, что ему не даются прописи в первом классе. Знает, что они с Лией будут счастливы. И что проживут они вместе многие годы.

Вот хочется так просто сказать тебе — люблю тебя, моя маленькая девочка, чувствую себя достаточно сильным и способным, чтобы сделать твою жизнь счастливой.

Если бы сегодня вновь было 7 декабря 1934 года, то я как и тогда, заикаясь, робко признался бы тебе в любви и с трепетом ждал бы ответа.

Евгений не знает, что в 1988 году Лии не станет.

Не знает, что он проживет без нее еще девять лет и никогда не скажет ни дочери, ни сыну как невыносимо тяжело ему без женщины, которой он признался в любви 7 декабря 1934 года.

Но это будет потом.

А сначала будет лето 1955 года.

* * *

В середине пятидесятых родители отдыхали в поселке Ходоров, километров сто — сто пятьдесят вниз по правому берегу Днепра.

Там Загданские снимали комнату в доме бакенщика на высоком обрыве. Дом был с глиняным полом, который хозяйка подметала, а потом брызгала водой и посыпала медком, мятой и любистком. Было по-деревенски чисто и нарядно.

Днепр возле Ходорова был широкий и делал острый крутой поворот. Все это было еще до строительства Каневского водохранилища — теперь там и берег изменился, и река совсем другая.

Лия уезжает в Ходоров на все лето с маленькой Ниной, с подружками — Полиной и Ниной — и их детьми. Иногда приезжает с дочкой сестра Полины Геля. (Во время войны Геля вышла замуж за польского еврея и жила в Польше. Ее дочь Ирена — впоследствии спортивная гордость Польши, многократная олимпийская чемпионка Ирена Киршенштейн — очень мило коверкала русский язык и подарила нам несколько замечательных неологизмов. Один из них “старый старушек” прожил в семейном лексиконе десятилетия и до сих пор иногда выскакивает в разговорной речи у меня.)

Женя все лето проводит в Киеве — мечется между работой редактора и должностью секретаря парткома. И еще Женя заканчивает заочно юридический факультет Киевского университета.

Здравствуйте мои дорогие, Лильца и Ниночка,

Собирался написать раньше, но все изрядно сложно. На работе у меня большая загрузка — верчусь как тысяча чертей, а когда прихожу домой приходится начинать все сначала.

Спасибо за телеграмму — каждый знак внимания говорит о твоей заботе и любви. Хороший друг мой, очень ты славный товарищ!

Завтра ты сдаешь экзамен. Досадно, что эти дни так далеко от меня. Желаю тебе успеха во всем и жду с нетерпением. Кроме того, что мы встретимся и будем счастливы побыть друг с другом, в твоей жизни происходит немалое событие — окончание университета. И все это в зрелом возрасте еще более трудно и достойно уважения. Мы отметим это и поздравим тебя! Только приезжай поскорее и в хорошем настроении.

Дорогая жenuшка!

Получил письмо переданное И. Все сделаю, как ты велишь. Очень хочу тебя видеть, скучаю за дочуркой.

Надеюсь, ты меня так же хочешь видеть — из твоих писем я этого не почувствовал.

Крепко тебя целую.

Женюра, дорогой,

Что там у тебя? Почему нет писем?

Маленькая открыточка меня не удовлетворила, в ней нет слов любви, ласки, желания, которые согревают на расстоянии и которые необходимы в разлуке. Я вот сейчас уже думаю о том, что ты мне скажешь при встрече...

Сегодня например, вернулся со службы в 20:00, как начал собирать клубнику, затем мыть, потом насыпать в бутылку, то только вот сейчас в 23:00 могу написать тебе эти строки. За книги еще не брался. Правда, был на футбольном матче Динамо-Партизан.

Мальчик мой дорогой, у пристани стоит пароход и Шалапин поет "Элегию" Массне. Помнишь? Мы слушали вдвоем в исполнении Гмыри? Какая глубокая тоска о том, что безвозвратно ушло слышится в его голосе. Мне в такие минуты духовного наслаждения особенно не хватает тебя...

Вчера встречала Ирину, но увы! от тебя ни слова и даже ни кусочка хлеба.

Был в университете, выписывают диплом — получу его дней через 7–10. В основном все нормально. Питаюсь сносно. Приеду в следующее воскресенье, как условились.

Женя приезжает раз в две-три недели. То на пароходе, то на попутках. Если на попутках, то всегда пыльный, вспоминает сестра. И всегда привозит хлеб, которого в поселке Ходоров в середине 50-х просто не было.

Теперь еще просьба — привези мне красное платье, знаешь с такой юбкой, что запахивается на боку из сжатого материала, неплохо бы блузу — черную с белым.

Мне абсолютно нечего носить — длинный халат разорван, юбка пестрая отдала душу, платье (стиль чехол для чемодана) после стирки до пуга...

Мне не в чем даже в город поехать и здесь хожу как чумичка.

Я хочу тебе понравиться, только тебе, мой самый лучший, желанный, любимый, единственный.

В субботу вечером — рабочая неделя была все еще шестидневная — приезжали мужья подруг Полины и Нины. К приезду мужчин приносили в жертву одну из кур, что сидели привязанные во дворе.

Курицу фаршировали. Сама Лия не готовила, но делала для курицы черный цилиндр и черный фрак. Так подавали на стол. Курица стояла на столе, расставив крылья как огородное чучело. Смеялись.

Эту курицу в черном цилиндре запомнила моя сестра. До моего появления в этом мире оставалось еще два года.

И еще Нина помнит большие колесные пассажирские пароходы, что ходили по Днепру. Конечно же, трофейные. Однажды утром сестра сидела возле дома и смотрела вниз на реку. По почти плоской блестящей воде шел белый пароход. Беззвучные брызги под колесами. На борту золотые буквы "Иосиф Сталин". Пароход делает поворот и до дома бакенщика доносится музыка невыносимой красоты. Пароход приближается, музыка звучит громче. От красоты и волнения сестра заплакала и побежала к маме.

В воспоминаниях сестры о Ходорове меня поражает Лиина смелость: мама загружала в весельную лодку мою сестру, сына Полины Сашу, сына Нины Сергея, дочь Гели Ирену и переплывала на другой берег Днепра. Из взрослых в лодке была только Лия. Сестре моей было шесть лет. Плавала мама ужасно.

Лия Евгению:

Хорошо солнечным днем, как сегодня, уехать на лодке на косу, устроиться там уютно под раскидистой вербой, нежиться на солныш-

ке, купать нашу маленькую чернушку, она в воде так забавно плещется, пищит, но видно, что наслаждается, глазки сияют, как звездочки.

И еще Нина помнит, как гуляла с сыном Полины, Сашей, и они вышли на луг, заросший пахучими полевыми цветами и помнит, что упала и заплакала. Саша, которому было уже семь, испугался, что она ударилась.

— Нет, я не ударилась, — сказала Нина, — это я от счастья.

Конечно же, детское и волшебное “это я от счастья!”, которое сестра запомнила на всю жизнь — выкрик собственного чувства. Но это счастье не только свое, но и “подслушанное”. Шестилетняя девочка играет в свою маму.

А как же еще? Лия красивая и Лия всем нравится. Лия веселая и с ней все хотят дружить. Лия стала для маленькой Нины всем тем, чем Маруся не успела, а Вира не смогла стать для маленькой Лии.

И когда заплаканная и потрясенная пережитой красотой дочка бежит к ней, чтобы узнать, что за музыка доносится с парохода “Иосиф Сталин” и Лия ее обнимает и успокаивает и говорит, что это “Песня Сольвейг” из “Пер Гюнта” — в это самое мгновение — Лия бесконечно счастлива.

И когда в субботу вечером приезжает уставший Женя из Киева и привозит черный хлеб — Лия счастлива.

Еще недавно была война, и бесконечная разлука, а вот теперь у нее есть Женя и маленькая Нина и Лия счастлива.

И моя маленькая сестра падает на лугу среди полевых цветов, плачет и говорит:

— Нет, я не ударилась! Это я от счастья.

Лия Евгению:

Женюшка, привези 4–5 буханок хлеба. Я, наверное, завтра займу у Нины.

Я сварила немного варенья и если ты привезешь еще 2 кг сахара я с удовольствием сварю еще. Думаю, что нам зимой безусловно пригодится.

Евгений Лие:

После первого прочтения твоего письма кровь бросилась в голову — казалось, что если ты мне там еще не изменяешь, то очень близка к этому.

Сейчас прочел вторично и немного успокоился.

Ты меня знаешь — если что-либо сделаешь, то не проси пощады.

Сейчас еду в город, надо купить тебе хлеб и сахар, а у нас в магазинах почему-то ни черта нет.

Письмо, которое вызвало такую вспышку ревности у отца, мы с сестрой, как обычно, найти не смогли. Следующее — как ни в чем не бывало.

Сегодня целый вечер ломал головы над "заострением" сюжета для сценария. Очень не хватает тебя, твоей выдумки. Приеду — посоветуемся. Понимаю разумом и чувствую всем сердцем, что эта задача нам под силу — если будем работать упорно. Желание довести дело до конца у меня огромное, но без твоей помощи я не справлюсь.

Тем летом Евгений пишет свой первый киносценарий — "Подсолнечник". Сам сценарий не сохранился, но в архиве Госфильмофонда хранятся монтажные листы — запись по фильму.

Из затемнения. Поле подсолнечника.

Диктор:

— Подсолнечник! На полях Советского Союза это основная масличная культура. Его успешно выращивают во многих республиках. Одно из первых мест по площади посевов и урожайности занимает Украина.

В июне 1955-го года, в доме бакенщика, на крутом правом берегу Днепра, в посёлке Ходоров, родители зачали меня. Я появился на свет в марте 1956-го в страшный, какой-то сказочный снегопад.

Но сначала было это письмо.

13 июля 1955-го года, Киев. Десятая годовщина свадьбы.

Дорогая Лильця,

Только сегодня получил от тебя письмо, да и это письмо написано тобой не потому, что тебе хотелось поговорить со мной, а потому, скорее всего, что ты не могла уже ничего дальше о себе и Ничке мне не писать.

Ничего ясного не сообщила о самом главном. Я все время жду — неужели правда? Лильця, любимая моя девочка, мы с тобой уже сегодня 10 лет как вместе! 10 лет! Разве ты не счастлива?

Я понимаю, могла и у нас с тобой жизнь сложиться по одному из многих миллиардов может быть более интересных вариантов, но ведь самое главное есть.

Я очень тебя люблю, люблю нашу маленькую дочурку, чувствую в себе достаточно сил, энергии и любви, чтобы сделать вас всех счастливыми. А если еще будет маленький тем полнее будет наша жизнь, тем больше я буду обязан тебе, моя дорогая несравненная женушка.

Пройдут годы и ты будешь мне и себе тысячу раз благодарна за этот шаг. За жизнь, которую ты подарить миру, за человека, которого ты вот уже сейчас носишь под сердцем.

Сегодня наш с тобой маленький юбилей и я без конца благодарен тебе за твое даже плохонькое письмо. Вот я прочел его еще раз и мне кажется, что это правда — что эстафета бессмертия, начатая нашими далекими предками не начнет угасать на наших жизнях, что Ниночка и будут нашими жизнями, что мы с тобой, моя любимая, бессмертны! Как бессмертна сама жизнь...

Кончил фразу на таком высоком пафосе, что и на землю спускаться страшно. Твое письмо пришло в то время, когда я заканчивал сооружение душа. Получилось великолепно, даже ты будешь довольна,

Я целыми днями после работы сижу дома. Немного возжусь в огороде. Помидоры выросли хорошо. Через 10–15 дней будут огурцы. Поречки много — скормливаю ее курам и сам ем немного. Деньги трачу экономно.

В тот год сценарий Евгения Загданского “Подсолнечник” примут к производству. Съёмочная группа начнет работу над фильмом.

Академик Пустовойт надевает шляпу.

Диктор:

— Особых успехов добился академик Василий Степанович Пустовойт.

10 марта 1956-го года.

Сестра пишет в роддом:

Мамочка дорогая, я тебя очень люблю! У нас все хорошо. Мамулик, я хочу скорее купить колясочку. На пиши какой братик и на кого он похож. Мамулик, ты знаешь, что на дворе такая вьюга, что даже на ногах не лъзя стоять.

Первое, что помню: я просыпаюсь в детской кроватке. За белыми прутьями деревянной решетки вижу Лию. Мама лежит на боку, подперев рукой голову и читает. Из окна на лицо падает яркий солнечный свет. На стене ковер. Темный, коричневый. Узор не помню. У мамы черные волосы и серьезное лицо. Она чувствует мой взгляд, отрывает глаза от книги и улыбается мне. И я счастлив, хотя еще не понимаю этого — даже не знаю, что такое “счастлив” и что такое “я”.

*Киев, Украина — Fort Lee, New Jersey
Сентябрь 2017 — Апрель 2018 года.*

Гари ЛАЙТ

/ Чикаго /



НЕСОВПАДЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ...

* * *

Несовпадение во времени,
не уличенье в постоянстве,
так горизонта просветление
не уместается в пространстве

необъяснимое свечение —
столь ненавязчиво подспудно,
и будто бы лучи просеяны,
вослед, по площади безлюдной

шагает пёс, без роду-племени,
туда, где без году — неделя,
дожди играют в настроение,
из освещенного отеля

выходят статные и светские —
он и она, как муж с женою,
ветер играет занавесками,
их провожая без конвоя

к пересечению, где велено
их ждать отдельным экипажам,
и каблуки звучат размеренно
по мостовой прохладно влажной

несовпадение во времени

февраль-май, 2018

* * *

Порою накроет,
и водит по кругу...
Район новостроек,
чужая округа.
Отпустишь таксиста
не ставшего спорить —
«фиат» неказистый,
в квартале от моря,
где сумерек южных
исход предсказуем,
слов пафос ненужный
не вымолвить всеу.
Нет времени смысла —
вокруг всё иначе,
туманом зависла
любви недостаца.
Во всём исходящем
асфальтовом паре,
нет реплик щадящих
о «твари по паре...»
Казалось — довольно,
но снова по кругу,
о прошлом — не больно,
про завтра — услуга
не стоит соблазна,
и нервов таксиста,
по кругу, как славно —
вновь партия Листа.
Район новостроек,
в квартале от моря,
дым даже не горек,
когда ему вторят
во все перезвоны...

февраль-май, 2018

* * *

Полагаю, что это уже не Париж,
ранние рейсы всегда чреваты
разбавленным кофе — считай суррогатом,
акмеизмом и терпким глаголом «шалишь».
Луна заблудилась в сетях скорпиона,
в начале месяца «без пяти»,

органный фуга на полпути —
вот так и сбывается на перегонах.
Намедни обоим прибавился год
пожалуй, полвека еще продлится,
похоже, не станет она бледнолицей,
в постелях, не терпящих Лорку господ.
Съехав с обыденной темы в кювет
на высоте едва ощутимый,
тиной затягивает сюжет,
старопрудной такую уютной тиной.
Дельта Гудзона в соседнем окне,
стало быть, не Париж ни разу,
резкость правá обретает сразу
в строках написанных в полусне.

осень, 2017 — весна, 2018

ОБЕТОВАННЫЙ БЛЮЗ

С. К.

Не так уж и кстати, сплетается вывод, что мир этот — дрянь,
Да только других нет в наличии истин на данном этапе...
Похоже, что Инь пресловутый вовсю превращается в Ян,
Оформив контракт двухсторонний с посредником в шляпе.
Ни сдержки, ни противовесы — по сути уже ни к чему,
так пусто на рейде у светлых улыбок бывает не часто,
и верить не то что нельзя, но нет смысла уже никому —
у правды подход к объективности с выгодой частной.
Любовь устарела и выглядит полузажившим клеймом,
порой ещё жжёт, но без боли — скорее на грани рефлекса,
есть поисковик с поменявшим значенье названием «Хром»,
и там всю любовь нивелируют в образ летящего секса.
Есть проблески памяти, где как в кино обретается свет,
где грани щемящей свободы ещё до конца не истлели,
но память — реальность прошедшего, жаль её сводят на нет,
фрагментами переоценки из бездны возникшие тени.
Но есть утешение в ласковом шелесте книжных страниц,
в откате волны океана, в порывах нездешнего ветра,
в слезинках дрожащих на солнце в заманчивом мире ресниц,
в отрезках шоссе, где на скорости мили — вполне километры.
И значит не время ещё отходить и сдавать рубежи,
есть шанс, что гибридная накипь самую собой захлебнётся
споткнувшись о все терриконы нахрапа и тягостной лжи,
и чистой водой родниковой наполнятся стены колодца.

1 июня, 18-го



Александр ЧЕКРЫЖЕВ

/ Кемерово /

СЕГОДНЯ СЛУЧАТСЯ СТРАННЫЕ ВЕЩИ

Что сегодня за день такой, думал Комаров, переключая скорость и разглядывая в мокром стекле дорогу. Начало было классическое: черная кошка, без единого пятнышка надежды. Только они выехали, как она пересекла их путь. Поля заметила, что ему стало неприятно (суетливый с детства), и решила усмехнуться над его «дремучеством». *Надо было затормозить и подождать, пока кто-нибудь нас не обгонит и не заберет себе проклятье.* Комаров улыбнулся, подыгрывая ей, хотя настроение его дало трещину: черная кошка не приносит беду, она предупреждает о ней; он давно это усвоил.

Потом Поля бормотала во сне. Сначала его веселили эти бессвязные причмокивания, он даже хотел записать ее на телефон (уже и про кошку позабыл! так ему стало смешно), но тут она вдруг отчетливо проговорила: сегодня случатся странные вещи.

— Что? — спросил Комаров.

Но Поля дремала. Хотел разбудить, переспросить, но знал, что она будет недовольна. Он лишь нервно хихикнул. Ну и денек. Да, точно, так и сказала: сегодня случатся странные вещи. Не могло ему такое послышаться.

Начался ливень, и Комаров стал психовать: кто-то спит и ерунду всякую несет, а кто-то за дорогой должен следить. А кому это нужно, — ему, что ли? Вот еще! По теще он несколько не соскучился. Душа слезами обливалась, потому что он жертвовал своими выходными ради того, чтобы ехать в другой город и выслушивать биографию всех болячек от полуживой старухи.

Но было еще кое-что, к разговору о странностях. Сегодня он, с самого утра, почему-то не переставая думал о Дашке, своей первой жене. И с чего вдруг, удивлялся он, сбавляя скорость перед узким поворотом. Хотя воспоминания эти, в отличие от той же кошки и бормотания Поли, вовлекали сердце в приятный и волнительный ритм. Он смотрел на мокрую дорогу, от которой отскакивал дождь, а

видел теплый берег Черного моря и садящееся солнце, что последним лучом цеплялось за ее тонкое плечо, к которому прилипли песчинки... Резкий храп слева вернул его. Комаров тяжело вздохнул и потянулся рукой к приемнику, — нет, она рассердится. А Дашка, кстати, часто будила его громкой музыкой; включит — и заскочит на него, давай целовать... Тут его снова потянуло в медовый месяц: песок, солнце, ее глаза, счастье. В один из дней в номере отеля сломался кондиционер, и Дашка разгуливала по комнатам в одном нижнем белье (а то и голышом промелькнет). Казалось бы, чего он там не видел, но эти озорные ножки даже сейчас способны пробежать по его сердцу.

— Ты чему улыбаешься? — спросила проснувшаяся Поля. — Никогда ливня не видел?

Комаров промолчал.

— Долго еще ехать?

— Часа три...

— Хорошо, — сказала она и снова отключилась.

Но через три часа они так и не приехали к ее матери. Более того — они заблудились.

— Как будто ты первый раз по этой дороге ехал! — сердилась она на него. — Мне уже уснуть нельзя, только глаза закрыла — все, Комаров беспомощен, не знает, куда сворачивать.

— Поля, не злись. Ты же видишь, какой дождь. Ничего не видно.

Они стояли на трассе, думая, стоит ли поворачивать назад.

— Впереди должны быть указатели, поедem медленно, чтобы ничего не пропустить, — предложил.

— Мне кажется, мы уехали совсем в другую сторону. Я не помню этих мест. — Поля щурилась в окошко, думая, что это помогает ей видеть сквозь стену дождя.

— Каких мест ты не помнишь? Чем эти деревья отличаются от других, скажи?

Не дождавшись ее ответа, он нажал на газ.

Через два часа блужданий, их судно оказалось у странной развилки; поплывшая надпись на указателе показалась им той самой; они свернули. Еще через час они оказались в совершенно незнакомом городе.

— Куда мы приехали? Что это за место? — кричала на него Поля.

В другой раз Комаров обязательно бы ей ответил (уж не такой размазней он был), но сейчас у него совсем не было настроения: необъяснимая печаль разрослась в груди до мокрого камня, сдавив сердце и легкие. Когда он смотрел на Полю, чье лицо искажалось от злости, как отражение в треснувшем зеркале, он невольно возвращался к Дашке...

Они добрались до бензоколонки. Комаров, натянув на голову бейсболку, поскакал по лужам к забегаловке.

— Ну что, где мы? — спросила Поля, когда он вернулся.

— Не знаю, — ответил мокрый Комаров, — там никого нет.

— Вообще никого?

Он кивнул, стряхивая влагу с лица.

— Бензина тоже нет...

Пока они колесили по городу, миниатюрному, невысокому, но вызывающему по непонятной причине тревогу, Комаров уже добрался в памяти до болезненных мест...

— Кажется гостиница! — сказала Поля.

Комаров притормозил и задумался.

— Что такое? — спросила она его.

— Света — ни в одном окне.

Поля припала к стеклу, разглядывая двухэтажный домик с пестрой вывеской.

— Надо сходить и узнать, что это за место, — предложил Комаров, уже готовясь к ледяному обстрелу.

Но Поля взяла его за руку и сказала:

— Я пойду с тобой.

Их никто не встретил, весь этаж был пуст. Они поднялись, — но никакого живого отклика на робкие приветствия они не получили.

— Да что это за место, черт возьми... — сказала Поля, включив свет и изучая на пальцах густую пыль от выключателя.

Когда на небе закончились силы и ливень перешел в мелкий лучистый дождик, они пошли изучать этот аккуратный городок, чуть ли не половину обошли, но так и не встретили ни одного человека. Стучали в двери, заглядывали в окна, заходили внутрь. Вызывала ли эта необычная пустота чувство страха? И да и нет, подумал Комаров, когда задал себе этот вопрос. Потому что все здесь казалось ему приветливым, дружелюбным, — невозможно было ему представить, что по этим улочкам шныряют призраки.

Они разделились и около часа блуждали поодиночке, стараясь отыскать хоть какой-нибудь намек на жизнь и на местоположение. Со вторым повезло Поле: она вышла на полицейский участок, который встретил ее равнодушной вывеской: «Полиция города Снежный Горск». (Внутри никого не было.) А вот Комарову повезло с «жизнью», — точнее, с тем, что еще недавно было ее. В общем, он нашел труп.

Это произошло в одном из домиков, который ничем не отличался от остальных. Если быть честным до конца, Комаров даже не видел тела, он почувствовал запах из соседней комнаты; сразу догадался. Страх убедил его не соваться дальше. Однако его взгляд за-

цепила красная тетрадоочка, которая покоилась на столике в прихожей. По первым страницам Комаров понял, что это был дневник. Он сунул его за ремень под футболку и пошел искать Полю.

— Нужно уезжать, и поскорее, — повторяла она. — Я вообще не слышала про этот Снежный Горск.

— Бензина не хватит.

— На трассе кого-нибудь остановим. Я не хочу здесь оставаться. У меня даже телефон не ловит!

— Предлагаю остаться.

— Ты шутишь? Зачем? Меня больная мать ждет!

— Я бы хотел отдохнуть. Я очень устал...

Так они поссорились. Но все-таки остались; правда, разошлись по разным комнатам, — той самой гостиницы, что встречала посетителей Снежного Горска.

Комаров чувствовал, что вот-вот отключится, веки уже натягивали на глаза сон, но тайная находка так сильно возбуждала его интерес, что он решил отложить отдых. Он открыл дневник и стал его читать.

Когда я впервые услышал, что город, в котором я родился и вырос, отличается от других? Где-то 15 лет назад. Мне рассказал об этом мой школьный учитель, с которым мы случайно встретились в книжном магазине после долгого времени: я не видел его с тех пор, как я получил аттестат. Он несколько не изменился с нашего последнего урока (сначала я был уверен, что это его сын!), только выглядел он каким-то замученным. Он рассказал мне о переезде в другой город, о преподавании в новой школе, о женитьбе и о том, как он потерял жену.

— Умерла от пневмонии, — сказал он

В родной город он вернулся по делам, «решил все-таки продать родительский дом», который они ему завещали. Он сказал, что задержится в городе на пару дней. Я предложил посетить вечером рюмочную, он согласился. Лучше бы я его не встречал...

Мы выпивали, вспоминали школу, смеялись (в основном — я), откровенничали. А когда я в десятый раз восхитился его «молодостью», он вдруг расплакался, — все спиртное стало выходить из него слезами. И тогда он рассказал мне все.

Он узнал об этой Силе от своего дяди, а тот — от кого-то другого (я уже не помню; да и меня, признаюсь, не сильно интересовали детали, к которым стремился пьяный рассказчик). Что же такого он узнал? Что это место, этот город, может исполнить твои желания. Точнее — только одно. «Поэтому стоит хорошенько подумать, перед тем как просить». Конечно, я не воспринимал его слова всерьез, но я, во-первых, сам был пьян, а во-вторых, мне было интересно размотать этот бред, — поэтому я стал задавать ему вопросы.

— Получается, любой человек в этом городе может загадать какое-нибудь желание — и оно сбудется?

Он рассмеялся.

— В принципе — да. Только твои слова сделали из этого невинную сказку. А на деле все по-другому.

— Хорошо. Но почему же я тогда не встречаю повсеместно счастливых людей? Разве не должны их заветные желания осуществляться?

— Только одно желание! — Он ударил рюмкой по столу. — Только одно желание... И оно не сбывается само по себе, если человек просто вынашивает его в мыслях. Нужно ПОПРОСИТЬ.

— И как это происходит?

— Очень просто. Нужно, чтобы никого не было рядом. Можно закрыться в комнате. Думаю, если ты идешь один по ночной улице — это тоже подойдет... А потом ты должен сказать: я готов. И произнести свое желание.

— Что ж, надо будет сегодня попробовать, — пошутил я.

Его пьяное лицо недовольно сморщилось

— Нельзя так сразу! Ты не понимаешь. У тебя есть всего одно желание. Оно всю твою жизнь изменит. Не надо торопиться. Хорошенько подумай, чего ты хочешь. Не совершай моих ошибок.

Я подождал, пока он остынет, и спросил:

— Что же попросил ты?

Он усмехнулся.

— Ты еще не понял? Я загадал бессмертие.

И тут рассмеялся я. Но смех мой быстро угас; я смотрел на его молодое лицо и на его старческую печать в глазах, из которых вот-вот должна была вырваться слеза.

— Почему же ты не весел? — спросил я, уже не думая ему подыгрывать: меня на самом деле стала занимать эта история.

— Видишь ли, вместе с бессмертием я приобрел кое-какую способность. Но она проявилась гораздо позже, — уже после того, как я уехал отсюда... Ты веришь в загробную жизнь? — вдруг спросил он.

— Я... я не знаю.

— То-то же. А я был уверен, что ничего ЭТОГО — нет. Но когда я потерял жену... — Он на минуту замолчал. — В общем, я могу разговаривать с теми, кого уже здесь нет.

— С мертвыми?

— Да. То есть — они не мертвы. Они теперь — ТАМ.

Он снова расплакался.

— Иногда я разговариваю с женой. Иногда — с матерью и отцом. Они... я... я хочу к ним, ты понимаешь? Быть с ними! Но я не могу.

— Из-за своего желания?

— Да, черт побери. Я не могу умереть. — Он взял меня за руку. — Поверь, если бы я сейчас мог еще раз что-то попросить, то я загадал бы смерть.

Я задумался.

— А ты не пробовал...

— Ничего не выходит, — перебил он. — Пистолет не стреляет, веревка рвется, от случайной машины — ни одного синяка. А бритва всегда оказывается тупой.

Кажется, он говорил что-то еще, но из-за слез и истерического смеха я уже не мог разобрать. Я посадил его в такси и побрел домой. Через день я решил навестить его, но он уже уехал. Об этом мне сообщили новые хозяева.

Он исчез, но его пьяная исповедь не выходила из моей головы.

Последние строки уже расплывались: больше Комаров не мог сопротивляться силам сна. Он закрыл глаза и улетел отсюда прочь.

Но видения его, как ни странно, не были связаны с этим странным местом и загадочным дневником. Он снова вернулся к Дашке. На этот раз к их ссорам. В основном кричал Комаров, а она все это выслушивала и вставляла свое слово, когда он делал передышки. Он не мог поверить, что она нашла другого. Да как такое возможно? Чем же я обидел тебя?

— Так вышло, прости, — лишь отвечала она.

Но он не успокаивался. Он не мог вообразить, что кто-то будет так же, как он, понимать ее с полуслова, читать ее мысли. Это было просто невозможно! Он клялся, что убьет его, а она плакала, умоляла простить ее, говорила, что больше не любит Комарова, что ей нужен другой. Он не смог себя сдержать, дал ей пощечину. Она нисколько не возмутилась, скорее — наоборот, понимала, что это совсем небольшая плата за разбитое сердце Комарова. Она забрала все вещи и ушла. Больше они не виделись.

Его разбудил костлявый стук (было раннее утро). Он быстро спрятал дневник под подушку и подбежал к двери.

— Зачем ты закрылся?

Поля была недовольна, но Комаров понял, что она остыла со вчерашнего вечера.

— Не знаю, — ответил он, — случайно.

Она фыркнула.

— Я думаю, в городе можно отыскать бензин. Нам же попадались оставленные машины. Можно выкачать из них.

— Хорошая идея.

— А если и они пусты, то поедем так, насколько хватит, пока не остановимся. А дальше — пешком. Но только — не здесь. Я всю ночь уснуть не могла. Какое же гадкое место.

— Просто ты в дороге хорошо выспалась.

Ее глаза стрельнули злостью.

— Так ты идешь?

Он замялся.

— Что случилось? — спросила она.

— Мне плохо... Какая-то слабость. Я немного отлежусь. А когда полегчает — присоединюсь к тебе.

На ее виске выступила злая венка.

— Какая, к черту, слабость? Моя мать вообще одной ногой в могиле! И она ждет меня. Она наверняка волнуется!

Она хотела сказать что-то еще, но слова ее плавильсь на языке, поэтому она лишь громко хлопнула дверью перед Комаровым.

Чтобы понять, почему я попросил то, что я попросил, следует немного рассказать о себе и о том, в каком положении я находился, когда встретил своего нестареющего учителя.

Я работал инженером на заводе. Пока мне не сократили; не смотря на мои мольбы, руководство было категорично. Их нисколько не тронуло то, что на мне висела ипотека. С того момента я стал ощущать удивительную хрупкость жизни. Дома начались ссоры, они возникали с пустого места, — а как иначе? Жить в напряжении невозможно без громких выплесков. Детей у нас не было (слава Богу!); жена больше не желала быть со мной. Через суд она добилась того, что долг официально стал только моим. Потом она уехала в другой город. Вот так и рушилась моя жизнь, — ипотека в одно мгновение развалила весь карточный домик. Но я старался не унывать. И первое время у меня это получалось. Пока мой долг не вырос в разы...

Я отправился к местному предпринимателю просить денег. Выслушав с серьезным видом мою историю, он сказал, что помочь мне не может, но... «Раз ты и так сидишь в яме, что ты можешь потерять?» Он предложил мне попытать удачу в картах. Я нервно рассмеялся над этой безумной затеей и ушел. А следующим вечером я вернулся.

Оказывается, у него там был целый бизнес! Я встретил несколько знакомых в его подвальчике. В первую же ночь я проиграл свои последние копейки. Во вторую ночь я влез в долги. А в третью — я едва не влез в петлю. Теперь банку я должен был меньше, чем этому богатенькому ублюдку и его дружкам. Что меня заставило вернуться к нему после первой неудачи? Не знаю. Наверное, вспыхнувший азарт и слабая воля. А вообще, те дни я вспоминаю с трудом, словно был накачан алкоголем, хотя я не перевернул ни одной рюмки.

Квартиру пришлось вернуть банку. Меня приютил друг моих покойных родителей, дядя Миша; мы жили довольно дружно в его тесной квартирке, где стоял запах лекарств и мочи. Я пытался найти работу; попадалось только что-то временное, — но я, конечно, цеплялся за все, что мог. Когда мне не хватало денег на недельный платеж, я занимал у друзей (их круг постепенно сужался; я влезал в мелкие долги), когда оборвалась и эта ниточка, то — в конце не-

удачных недель — ко мне стали наведываться амбалы нашего городского богача. Я старался объясняться с ними в подъезде, чтобы Дядя Миша не был свидетелем моих неприятностей, но, думаю, он все-таки догадывался, когда видел, что я возвращался с разбитым в кровь лицом.

Конечно, были мысли бежать отсюда, но печальная правда была в том, что бежать мне было некуда. Точнее — не к кому. Да и не с чем. А потом я встретил своего учителя.

Я долго думал над его историей. Поверил ли я ему? Да. Не сразу, — но за несколько дней его секрет расцвел во мне до единственного спасения. И я решил попросить.

Я не очень долго думал, как точнее сформулировать желание, я лишь ждал возможности. И как только дядя Миша вышел на воскресную прогулку, я совершил главную ошибку в своей жизни.

— Я готов, — сказал я.

Я зачем-то закрыл глаза (наверное, хотел сосредоточиться; или — просто от страха).

— Никогда ничего никому не быть должным, — твердо произнес я.

Что ж, вот так Снежный Горск и опустел. В одно мгновение.

С прогулки дядя Миша не вернулся. С тех пор я больше не видел ни его, ни другой живой души.

Я не знал, куда делись горожане (умерли?), и, признаюсь, этот вопрос только первое время занимал мою мысль и раздражал мою совесть. Ведь со временем у меня появились новые проблемы, как бы смешно это ни звучало...

Отдохнув достаточно, я решил покинуть город; прошелся по богатым домам (в том числе — и моих костоломов), выбрал себе крутую тачку, подделав доверенность (мало ли), и, послав к чертям свое прошлое, рванул прочь. Точнее — почти рванул. Моя супермашина заглохла, не доехав до городской границы. Так я стал менять автомобили. Результат: все до одного подвели меня. И тут я сам завелся. Пнув очередное заглохшее железо, я набил рюкзак деньгами и едой и отправился на своих двух. Получилось ли у меня перейти границу? Нет.

Я бы хотел сказать, что мой шаг тяжелел и моя попытка бегства превращалась в бессильное сопротивление с резким притяжением, знакомому многим по дурным снам, — но все было гораздо прозаичнее: каждый раз, когда я хотел выйти из города, когда я почти доходил до границы (!), у меня скручивало живот... Тут уж становилось не до побега.

Я потерялся во времени, — не знаю, сколько я живу один; лишь знаю, что это стало невыносимо. Моя психика дает трещины. Терпеть я этого не собираюсь...

Если ты вдруг нашел этот дневник: сложно сказать, повезло тебе или нет. Я знаю, что ты обязательно что-то ПОПРОСИШЬ. Ведь даже мой неудачный опыт способен соблазнить. Единственное, в чем я уверен, это то, что это место, эта сила, обладает большим чувством юмора. И нельзя с ней договориться. Она груба и непонятна.

Вот и все.

Удачи.

Комаров чувствовал, как колотится его сердце. Он отложил дневник и стал расхаживать по комнате, что-то бормоча себе под нос, иногда истерически хихикая. Много всего приходило в голову, он даже и контролировать этого не мог! Разум пронизывали острые стрелы желаний. Новая большая квартира. Деньги, миллион, миллиард! (А что бы сказала Поля?) Несколько лет жизни для ее матери. А если я попрошу... вечный мир на Земле? Последняя стрела почему-то рассмешила Комарова. Но он себя тут же поправил: а что здесь, собственно, смешного? Миллионы жизней!.. Но будет ли отличаться результат от того, что мы видим в этом городе?

Тут его прервал неприятный металлический звук; он выглянул в окно: Поля волочила за собой железную канистру, которая цеплялась за асфальт. Комаров выбежал к ней.

— Что с тобой? — Первое, что она спросила, окинув его подозрительным взглядом. — Ты какой-то странный.

— Все в порядке. Мне стало лучше.

Она еще долго не отводила от него глаз.

— Хорошо, помоги мне.

Он стал наполнять бак.

— Ты бы хоть спасибо мне сказал.

— Ты молодец.

— Ой, Комаров, что бы ты без меня делал, — сердито сказала

Поля.

Она продолжала аккуратно изучать его, не понимая перемены в нем.

— Все, поехали, — сказала она и запрыгнула в машину, когда он закончил возиться с бензином.

Он стоял, не двигаясь с места.

— Комаров, ты уснул, что ли? — крикнула она, высунув голову.

— Поля, я остаюсь.

— Тебе что, снова плохо? Так я напомним, что моей матери еще хуже! Хватит быть уже размазней. Не можешь рулить — я это сделаю.

— Я остаюсь, — повторил он. — Уезжай без меня.

— Ты с ума сошел? Останешься в пустом городе?

— Все кончено. Уезжай.

Ее лицо налилось злостью, — больше ей не нужны были аргументы. Пока она заводила машину, в его адрес из окошка сыпались

маты. А потом она наконец уехала. Комаров провожал взглядом машину, мчащуюся в даль. Тут стало холодать; и Комаров уже выдыхал пар. А потом перед ним развернулась такая картина, что он не поверил своим глазам. Повалил розовый снег.

Комаров оглядывался по сторонам, как ребенок, радуясь и удивляясь этому необычному явлению. Вот тебе и август. Вот тебе и Снежный Горск. Ничего прекрасней в жизни не видел, подумал Комаров. А потом сказал:

— Я готов.

И пошел в гостиницу. Он чувствовал слабость, кружилась голова. Он зашел в свою комнату и сел на кровать. Все глупые голоса в голове затихли. И он произнес свою просьбу. Всего одно слово.

— Дашка.

Слабость постепенно отпускала его, и через пару минут он ощутил, что силы вернулись к нему. Но сердце так и не освободилось от грусти. Наверное, потому, что он не верил до конца. И что дальше, подумал Комаров. Не знаю.

Он поднялся и вышел из комнаты; огляделся. Одна дверь была открыта, — там, где спала Поля. Комаров пошагал туда. А когда заглянул, то увидел ее. Дашка стояла у окна и наблюдала за розовым снегопадом. Услышав шаг, она обернулась.

— Как красиво, правда? — сказала она.

Комаров молча кивнул.

Она прижала ладонь ко лбу, зажмурив глаза, как бы сметая с себя сон.

— Что, правда? Ты мог попросить все, что угодно, а выбрал меня?

В комнате нависло молчание. Потом Дашка горько улыбнулась, и он понял, что она — снова его. Он подбежал к ней и стал ее нацеловывать. Лоб, губы, щеки, мокрые соленые глаза. На вкус Дашка ничуть не изменилась. От этой мысли ему стало еще радостнее.

— Ведь мог... все, что угодно... Комаров... — Она плакала и смеялась, пока он обнимал и целовал ее. — Какой ты дурак. Дурак, дурак.

Давно не было в Снежном Горске такого романтического настроения. Город истосковался по любви, слезам, страстям. А с кем не бывает? И если попытаться дать объяснение этой силе, точнее даже — ее избирательности, то вряд ли сумеем мы узреть твердый алгоритм, рациональное зерно. Что же остается делать? Да ничего, смотреть в окошко и любоваться розовым снегом.



Светлана ЗАГОТОВА

/ Донецк – Киев /

МИР УХОДИТ

Мир уходит из меня, я из мира.
 Все течет — и подкова, и лира
 разгибаются, размягчаются, искривляются.
 Новой форме своей удивляются.
 Нет опоры ни в чем. Все течет —
 и друзей, и врагов недочет.
 И ветшает скорей новизна.
 Основательна одна кривизна.
 Мир уходит из меня незаметно.
 Исчезают его приметы,
 растворяются атрибуты, будто
 небыль, быть кто-то смахивает, как пыль.
 Нет кастрюли, одна только крышка.
 Кому крышка? Кому? Неподвластно уму.
 Бутыль от шампанского где? Только пробка.
 Робко беру ее, примеряю к пространству.
 Губы надув, как стеклодув, ищу норму,
 выдуваю знакомую форму.
 Гимн жизни ушедшей пою.
 В этот мыльный пузырь воду живую лью.
 Закупориваю. Есть!
 Прошлое — виртуальная смесь.
 Выхожу из мира, как из дома. А дома нет.
 Только окна, а в них свет.
 Съеживаюсь. Мерзну. В окнах горят звезды.
 Иду в никуда. Шарик земной колыхнется.
 Легкий, бесцветный. Перспективой маня,
 расстилается, как простыня,
 тонкие линии предъявив. Эксклюзив.
 Это моя карта контурная.
 Чья-то рука берет карандаш. Отче наш...
 Отделяет свет от тьмы. Живо
 варианты жизней обводит с нажимом...

Йосси КИНСКИ

/ Гамбург /



К ЭЛИЗЕ

Кто-то с приличествующим церемонии печальным лицом повернул ручку граммофона. Прибор устало кашлянул и из медной трубы, напоминавшей причудливой формой цветы ипомеи, оплетающей церковную ограду, полились нежнейшие звуки бетховенской миниатюры «К Элизе» в исполнении самого почившего. И небо, будто не удержавшись от сентиментального порыва, заслезилось мелким дождем. Присутствующие раскрыли черные зонты.

Молодой журналист медленно наводил камеру, выхватывал из толпы, состоявшей человек из пятидесяти, то одну, то другую физиономию. Сквозь толпу, тяжело дыша пробирался полный и покрасневший от спешки трубач. У гроба он порывисто расстегнул пуговицу воротника, непривычно сдавившего шею, а потом положил на крышку гроба зажим для галстука.

Журналист был потрясен, что среди присутствующих нет ни одного человека с печальным лицом. Газете нужен был материал о похоронах известного композитора, а на фото расцветали до неприличия счастливые улыбки, и если бы не неизменно черный цвет одежды собравшихся да кладбищенский пейзаж, в центре которого возвышался еще не закрытый гроб, никто не смог бы догадаться, что это похороны.

Даже старенький граммофон был укрыт от дождя чьей-то заботливой рукой, державшей черный зонтик, и только лицо покойного довольно быстро покрылось мелкой изморозью, а крошечные капельки с едва слышным шелестом ударялись о стенки гроба. Весь мир сузился до размеров зияющей прямоугольной ямы рядом.

Церемония быстро завершилась, и все стали расходиться по машинам. Последней уходила тоненькая девушка в черной вуали, скрывавшей половину лица. Едва различимые под рубашкой контуры груди, изящная шея и тонкий стан привлекли журналиста. И когда девушка направилась в сторону последнего не отъехавшего автомобиля, он бросился вдогонку.

У дверей дома их встретил администратор, который проводил их в банкетный зал и объявил собравшимся, что отныне дом приобретает статус музея. Гости, казалось, не слышали этого объявления и продолжали спокойно беседовать с бокалами в руках.

Молодой журналист повсюду следовал за чаровницей, ловя в кадре легкие черты, проступавшие из-под черной вуали. Но девушка перемещалась по комнате, похожая на заводную куклу: кое-где останавливалась и, склонив голову, принимала дежурные соболезнования, а где-то — бросая дежурные, и оттого совершенно бессмысленные фразы.

Наконец публика стала разбредаться по домам. Журналист задержался у холста, с которого вдохновенно смотрел похороненный музыкант. Когда же входная дверь закрылась за последним гостем, парень решил, что пора.

Он обратился к очаровательной хозяйке дома-музея и сообщил, что брал у её отца уроки фортепиано. Это не произвело на девушку ожидаемого впечатления, и тогда журналист, откинув крышку белоснежного рояля, начал музицировать. Под его руками нежно зазвенели ноты знаменитой «К Элизе». Удаляющаяся фигурка девушки вдруг замерла, вытянувшись так, будто её тянули вверх за макушку. Потом она медленно повернулась и очень плавно поплыла в сторону рояля, на котором они вдвоем закончили произведение совершенно обнаженными.

Журналист, насладившись остротой новизны отношений, вскоре признался, что никогда не был знаком с отцом хозяйки музея. И добавил, что всего два раза видел его: первый раз — еще ребенком, в какой-то телевизионной передаче, второй — в гробу.

Признание не смутило девушку. Наоборот, прищурив глаза и усмехнувшись, она прошептала: «Ты и сейчас ребенок, совсем не вырос, оставь это».

Но журналист вовсе не собирался останавливаться. Ему хотелось привычной свободы, которая манила и опьяняла его. А нежные трепетные беседы про умершего родственника ему опостытели, и он ушел, громко хлопнув дверью и продолжая кричать, что в мире множество гораздо более знаменитых и талантливых музыкантов, чем тот, в доме которого его приютили на несколько недель.

Когда его голос наконец растворился в тихой прохладе вечера, на девушку навалились мрак и до звона немая тишина... Чтобы хоть как-то избавиться от этой пустоты, она решила с утра наведаться в Дом ребенка, находившийся на соседней улице. Так по старым лестницам звонко зашелкали каблучки детских туфелек. Малышка была названа Элизой.

Новоиспеченная мать души в ней не чаяла и отдавала все силы воспитанию девочки. Нежные маленькие пальцы Элизы становились больше, как вдруг заболела мать. Несмотря на заботу Элизы, в один

из пасмурных дней ее удочерительница скончалась. Официальные лица провели похороны, выразили соболезнования, объявили Элизу директором музея и исчезли.

Музей не был особенно популярен. Пару раз в год сюда приводили на экскурсию детишек из музыкальной школы, но для Элизы среди них даже собеседников не находилось, ведь они дежурно отбывали свое время и облегченно вздыхали, когда рассказ Элизы о человеке, которого она никогда не видела, считавшимся ее дедом, наконец завершился.

Шумные галдящие многоголосые стайки высыпались на улицу, а Элиза провожала их долгим взглядом, наблюдая, как они растекаются по мере приближения к новым улочкам и переулкам, и как преобразуются прямые и полные достоинства и размеренной пластики фигуры сопровождающих дам, вдруг начинавших сутулиться и торопливо менять маршрут. Никто никогда не оглядывался на окна, из которых смотрела Элиза. А она каждый раз надеялась, что кто-то обернется, и она приветливо улыбнется и помашет на прощание рукой. Но люди приходили и уходили, и никто ни разу не обернулся к ней, уходя. Тогда она возвращалась за старинный письменный стол с резными ножками — память о деде — и продолжала вести долгие беседы с писателями, музыкантами, поэтами и художниками минувших столетий.

Однажды, когда экскурсий запланировано не было, а за окном второй день было пасмурно, и время от времени начинался ливень, Элиза зажгла огонь в камине и уселась в любимое кресло у стола. За окном ухнул гром, и девушка в который раз похвалила себя за отсутствии планов. Дождь заколотил в окна, и почти сразу в прихожей стукнула входная дверь. Элиза решила, что это сквозняк, и накрыла ноги клетчатым пледом, запах пыли и старины из которого не выводился, как она ни старалась.

Но у двери послышалась какая-то возня, и девушка вышла проверить, не забрёл ли в музей бродячий кот или пёс.

В коридоре перед огромным зеркалом в тяжёлой позолоченной раме красовался долговязый паренёк, напяливший на голову дедову панаму и пытавшийся изобразить дирижёра, размахивая палочкой, взятой со стоящего неподалёку пюпитра.

Вид у паренька был на редкость бестолковый, и Элиза приснула со смеху. Паренек не смутился, а лишь усилил выразительность жестов и, придав лицу важное выражение, удвоил старания. Элиза предложила провести экскурсию по дому. Молодой человек согласился. Бродя по комнатам, он рассеянно переводил взгляд с одного экспоната на другой, а в итоге заключил, что музей — это всего лишь место, где богатые люди со странностями предпочитают перемалывать пищу в спокойной обстановке. А в ответ на возмущённый взгляд экскурсовода поведал, что в шестидесятые годы вся прогрессивная молодёжь выступала с призывами закрыть все музеи. «Но то-

гда где бы ты спрятался от дождя?» — спросила его Элиза. Парень поднял на нее глаза. Впервые в его взгляде появился некий оттенок удивления. Казалось, он только сейчас заметил, как юна и стройна хозяйка, как гладко и опрятно собраны в пучок ее русые волосы, какой живой ум светится во взгляде.

Спросив её имя, молодой человек с размаху плюхнулся на мягкий стул у белого рояля и, тронув клавиши сначала легко, потом увереннее, сильнее, заиграл пьесу «К Элизе» — то небольшое, что осталось в его памяти от обучения в музыкальной школе, которую он так и не окончил. У него появилось тогда совсем другое занятие. Ему разрешили за еду помогать на кухне ресторана. Так началась его карьера, которая за несколько лет усердного труда привела его к должности помощника повара. Только здесь он мог не чувствовать ни голода, ни стыда за то, что съедает кусок, который мог достаться матери или младшим братьям и сестрам.

Девушка раньше слышала исполнение этой мелодии только в граммофонной записи. Мать отчего-то не любила ее. Но сейчас не очень чисто сыгранные ноты звенели такой нежностью, страстью, что девушка усомнилась в том, что мелодия производится прямо здесь, на ее глазах. Чтобы удостовериться в этом, она подседа к гостю, и финальным аккордом пьесы стал жаркий и страстный поцелуй.

Отныне молодой человек с утра бежал из ресторанчика за углом не домой, а в старый и плохо посещаемый музей. Он аккуратно запер двери и угощал Элизу оставшейся после клиентов едой. Среди предметов старины протекала их беспечная и счастливая жизнь, не нарушаемая визитами посетителей.

Он помог Элизе установить надгробие на могиле матери, где-то достал изящную решётку для оградки. Но однажды утром Элиза так и не дождалась его шагов. Она металась по комнате, убеждая себя, что завтра, в крайнем случае — послезавтра, дверь привычно распахнется, и на пороге с сияющей улыбкой торжества появится он с привычной фразой: «Угадай, что у нас сегодня на завтрак?»

Но время шло, а он не появлялся. С ужасом Элиза поняла, что не знает фамилии возлюбленного, поэтому даже не может узнать о его судьбе.

Пометавшись, как тигрица в клетке, она решила броситься вниз из окна второго этажа, но предательская практичность задержала ее на подоконнике. словно кто-то зашептал ей в ухо: «Здесь не так уж высоко. А вдруг ты не разобьешься, а только покалечишь ноги или спину? Кто же станет ухаживать за тобой?»

Замешкавшись и взвешивая все «за» и «против», Элиза вдруг услышала стук входной двери. словно подхваченная волной цунами, она в два шага вылетела в прихожую.

У дверей стоял высокий незнакомец в тряпье. Он был седым. Нижняя часть лица была скрыта нечесаной бородой, висящей клоками. От мужчины пахло перегаром, но он по-хозяйски повесил изо-

рванный плащ на старинную вешалку и прошел на кухню. Налив себе холодного чая, он наконец поднял глаза на растерявшуюся девушку.

— Где твоя мать? — коротко спросил он Элизу.

— Она умерла несколько лет назад. А вы кто?

Мужчина не смог ответить. Закрыв лицо руками, он беззвучно зарыдал. Элиза тихонько стояла в стороне и не знала, что говорят в таких случаях.

Наконец он взял себя в руки и прошел в гостиную. Подняв крышку рояля, он заиграл знакомую до боли композицию Бетховена. Играя, он медленно рассказывал свою историю.

Когда-то давно он жил в этом самом доме, где прошли лучшие годы его жизни. Здесь он писал статьи про деда Элизы — пожалуй, лучшие, что написал за всю свою карьеру. Потом он много путешествовал, но вдохновение осталось здесь, в этом старинном доме. И он вынужден был осесть в небольшой квартирке в Турции, где пытался писать мемуары, пока не понял, насколько пустой и незначительной была его жизнь. И теперь он вернулся сюда, чтобы просить прощения у той единственной, для которой он что-то значил, но опоздал.

Элиза слушала этого странного человека и думала, как рада была бы она оказаться в его квартирке в Турции. Как было бы здорово, если бы он признал ее дочерью, завещал ей имущество и вскоре умер. Судя по виду, ему и так уже недолго осталось.

Она тихонько вышла в свою комнату. В маленьком шкафчике лежал небольшой журнал, который принес откуда-то ее любимый. Они мечтали, что купят какую-нибудь квартиру в Европе. Пролитав яркие страницы предложений о купле-продаже недвижимости, она поняла, что в Европе, цены намного выше, чем в Турции.

Тогда она стала думать, на что можно потратить небольшую сумму, вырученную за квартиру незнакомца. Неожиданная догадка озарила ее, когда в прихожей стукнула входная дверь. Деньги можно было потратить на надгробие для мужчины.

Вбежав в гостиную, Элиза увидела в окне удаляющуюся по мокрому асфальту фигуру гостя.

— Стойте! Я знаю, что делать с деньгами! — прокричала Элиза в окно второго этажа ему вслед.

Но зашумевший дождь заглушил ее слова, и уходящий в ночь мужчина остался глух, как Бетховен.



Александр ГАБРИЭЛЬ

/ Бостон /

ЦЕНА СЛОВ

Время нас оплетёт, как сентябрьскую муху паук,
изъязвит, как проказа уставшее тело Иова...
Что от нас остаётся? Один только свет или звук.
Но, увы, не всегда. Иногда ни того, ни другого.
Слово слову не ровня. Различны их вес и цена.
Глянь: вот это бесплотно, как пух, а другое — железно...
Иногда от записанных слов остаётся одна
пустота, равнодушный мираж, безвоздушная бездна.
Только хочется верить, что в будущем мареве лет
через толщи случайных словес и забвенья цунами
чей-то чуткий радар, что настроен на звук и на свет,
отличит от нуля то, что было придумано нами.

ТОЛЬКО ТЫ

Только ты, только ты. Ибо если не ты, то кто?
Поэтесса с горящим взором из врат ЛИТО?
Дрессировщица из прилюдного шапито,
вылезаящая порой из тигриной пасти?
Мне б сказали одни, попивая шампань: «God bless!»,
и сказали б другие: «Куда же ты, паря, влез?!»
Наше счастье, по правде сказать, это тёмный лес,
и гадать на него успешно — не в нашей власти.

Только ты, только ты. Если я не с тобой, то где?
Менестрелем, шестым лесничим в Улан-Удэ
с хлебной крошкой в спутанной бороде,
налегающим на алкоголь грошовый?

Или вдруг, авантюрный сорвавший куш,
я б петлял, как напуганный кем-то уж,
уходя от вечного гнёта фискальных служб
в оффшоры?

Всё могло быть иначе. Грядущее — не мастиф,
уносящий в зубах ошмётки альтернатив.
И куда-то б, наверное, нёсся локомотив,
и какие-то б, видимо, длились речи...
Только ты, только ты. Ибо если не ты, то кот,
никогда не пустующий невод земных невзгод,
ну, и ангел. Гладкий ликом, как Карел Готт,
и всегда отворачивающийся
при встрече.

УХОД

Вот человек уходит. Как талый лёд,
как самолётный след, как простудный вирус...
А на губах — болезни седой налёт.
Сами же губы — ломкий сухой папирус.

Жизнь превратилась в тень, ветерок, зеро.
Больше не будет времени, чтоб проститься...
Где-то, в каком-то дьявольском турбюро
снова в продаже туры по водам Стикса.

Не повернуть обратно на той черте,
и не свести иначе баланс по смете...
Поздно. И в полумраке застыли те,
кто осознали смерть, но не верят смерти.



Григорий ВАХЛИС

/ Иерусалим /

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ НИКОДИМА

— Бабушка, неужели ты это делала?

— Делала, сыночек... как было не делать!

Прохлада стекала с развешанных под потолком простыней. Виднелся лишь полный локоть и кусочек темно-синего платья. Слышно было, как булькает в кастрюле.

Бабушка была вдовая. Может, аэродром разбомбили, а может, свои... Политруков тогда стреляли — слишком много они наобещали. Родной брат — враг народа. И по радио все о нем рассказали: насчет троцкизма и вообще... А сама — воровка. Крала деньги из кассы — во время войны

— Оля, катлеты нэ бэри! — говорил ей повар-грузин Никодим. — Ат катлеты жир на карманэ! Дэнги бэри — панэмножку!

Это было в какой-то дыре под Алмалыком, где уже вовсю жрали ботву и камыш. Так что «котлета» была всего лишь фигурой речи. Артельские роскошествовали в столовой, поедая макароны. Никодим разваривал их так, что выходило на десяток-полтора порций больше... Кому попало не дашь: можно и срок схлопотать — лет пятнадцать, по годочку за порцию. Так что только знакомым. А Оля сидела на кассе и забирала оттуда излишек. Такой у них был преступный сговор. У Никодима было четверо своих, и парализованный «атэц».

В дороге бабушку разбомбили дважды — так что старшая чуть не рехнулась, а младшая писалась до 17 лет. Четырнадцатилетняя «тетя Муся», которая в 33-м году пухла от голода у себя «на селі» сперва считалась как бы няней, а когда началась война, бабушка вписала ее в аттестат и заимела третью дочь.

Муся мне рассказала, как они стояли на какой-то станции у киоска, где продавали мыло, рядом лежал мужчина в ватном комбинезоне и просил пить, а внутренности у него вывалились на асфальт. Кругом горело, а самолеты зашли еще по разу, так что они оглохли и не слышали друг друга. Всё стояли, где им велела мама, пока ее не привели, — в зимнем пальто, с чемоданами в руках. Кто-то ей сказал, что

в тот киоск попала бомба, тогда она открыла чемодан: «Я пойду их искать... а как я буду искать без пальто?» Пальто было надето шелковой подкладкой наружу.

А еще до того один врач в поезде посоветовал подложить меньшую к больным скарлатиной: «Она у вас неплохо выглядит, — чем ребенок младше, тем легче переносит!» У нее как раз начался жар, но тогда не заметили, а врач со своими таблетками куда-то пропал и они его больше никогда не видели.

Муся сидела на скамейке. За оградой сквера по мостовой грохотали автомобили. Платье у нее было клетчатое, а руки сложены под грудью. Мне тогда было тринадцать лет, и она считала, что я уже большой.

Врач тот как в чистую воду глядел — переболев скарлатиной, моя тетка чуть не умерла от кори. Потом, когда плыли в Краснодарск, горело море. Огненные столбы вставали прямо из воды, вода была багровой, а пароход шел на огонь. Тетку держали на руках — то Муся, то старшая сестра, а она со страху снова описалась и оглохла. Потом ей объяснили: это немцы подожгли танкер.

Как-то на перемене, после урока истории кто-то припомнил текст немецкой листовки: «Бей жида-политрука, морда просит кирпича» — прямо про моего дедушку. Но я упорно воспроизводил в уме картину: горящий самолет несется к горизонту и под ним раскрывается купол парашюта.

Мне нравился Никодим. Он был очень умен. Когда работал на пувовичной фабрике, то таскал домой кости, вываривал, а потом относил назад. Получалось столько бульона, что хватало и на соседей. Набежали со всей улицы — каждый со своей посудой. И все молчали...

— Бабушка, как же ты могла?

— Это я начала войну? Бог рассудит... Если он есть! — И посмотрела сквозь толстенные линзы огромным, как у лошади, глазом.

Пухлая ляжка елзлит по моему лицу. Сзади кто-то поддает коленом. Плакать нельзя — это стыдно!

— Ку-уда ты, пупсик! — чья-то рука хватает за ворот, надвигает фуражку на самый нос. Вся лестница забита ими. Жаркие, пахучие тела — не шевельнуться! Они же курят! В уборной... Хихикают! А эта дрянь специально...

— Доogie ольники! Уваа... дители! ...аздника! Я ...ада приветствовать ас на... пусть... том году... тересными... а ужба епкой! ...лезный трут, ... а также хрупп лённого дня!

— Урра-а-а! Га-аа!

Мой отец всегда улыбается ей. А она делает ему «глазки». Сомкнутые над переносицей брови похожи на черную птицу. Старшеклассники дразнят ее «узбекистон».

Она курит «Сальве». Кто-то ей привозит. От этого развивается туберкулез — как у моего отца. Все время лечится и курит. Однажды я высыпал папиросы в унитаз. В уборной шесть ламп, над дверью оконце, а в коридоре шесть счетчиков. За квадратными стеклышками железные колесики меряют электричество. Я вспомнил Нёму. Он всегда курил в уборной. По ночам влезал на унитаз, читал стоя и курил. Их

лампочка была под самым потолком. Нёма тоже был влюблен в нее, но она «на него плевала» — так он сказал. Она гуляла с офицерами и курила. «Нёма повисылся!» — закричала Муся, увидев в дыму под потолком желтое лицо. А он просто читал.

Год прошел, меня перевели в третий класс. Школу я не любил. В первый день каникул гулял до темноты. Фонари лили в сквер желтый свет, черные тени убежали из-под ног. Сжавшись в комок, она сидела на пустой скамейке, обхватив голову руками. Я спрятался за дерево. Она стонала. Меня трясло, хотелось плакать и кричать, но я не мог издать ни звука. Нужно что-то сделать... Погладить по голове? Я гладил шершавую кору каштана и шептал: «Зумруд! Зумруд!» С грохотом промчался вниз по улице грузовик.

Потом они вернулись в Киев. До революции квартира принадлежала моему прадедушке, но им оставили две комнаты. Бабушкины сестры вышли замуж: старшая — за ювелира, а средняя — за работника органов, но он застрелился, и тогда она вышла замуж второй раз — за горного инженера. А бабушка вышла замуж за летчика.

Дуры в сквере пели: «Мама, я летчика люблю!» Я помню, как они рвали ромашки: «Любит-не любит, плюнет-поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет!» Летчик давным-давно пропал без вести. Вокруг скамеек валялась подсолнечная шелуха и белые лепестки.

Маму освободили от физкультуры и от всех экзаменов: у нее «было сердце» — так сказала Муся. Случались обмороки. И тогда школьный врач ее освободил. Всю жизнь она чего-то боялась, особенно когда бояться было нечего. Боялась за отца, который все время куда-то уезжал, потом за меня, а когда мы оба бывали дома и все было хорошо, боялась неизвестно чего, и это было ей тяжелей всего. И в детстве, и в юности бабушка ее опекала и берегла, а тетке внушала: «Ты можешь все, — как я!» И тетка ходила зимой без перчаток, с красными руками, и говорила: «А у меня руки не мерзнут, я как моя мама!»

Когда школа получила вещевого талон, серую шубку искусственно го меха присудили тетке как «недостаточной отличнице». Через два года бабушка дотачала рукава мехом другого цвета — на манер отворотов, и шубка превратилась в «меховую куртку». Мама была очень красивая, и у нее было много ухажеров, но тетке нравился только мой отец. Когда приходили другие поклонники, она бежала в ванную, снимала с веревки бабушкины панталоны и демонстративно вешала их на батарею отопления — сушить.

В Израиле мама боялась воздушной тревоги — вой сирен доводил ее до иступления. Но, в общем, была всем довольна и очень хвалила страну и правительство. Она умерла от легочной эмболии, и когда в морге ее вынули из бокса, чтобы я мог опознать и подтвердить, что это и правда моя мать, на ее замерзшем лице я увидел хорошо знакомое выражение страха и удивления, с которым она прожила свою жизнь.

- Результаты?
- Вот: хищение материалов с территории пу...
- Какие там у них материалы на вашей «пу»?!

- Кости! Говяжьы в основном... Вываривают в порядке технологического процесса...
- С ума спятил? Там продукт питания тоннами в арык уходит!
- Вот тихо было... а...
- А теперь вылазки врага!
- Так голод в районе...
- Значит, не всех еще выявили!
- Работаем!
- А где этот самый... Который с костями...
- Убыл в город Алмалык, Ташкентской области! Я знаю о вылазках... На центральном базаре...
- Сюда его! А то получается — одно лишь руководство...
- Тут цех надо... Чтоб сублимировать... Кубики делать!
- Где я тебе его возьму?

У Муси был специальный зуб. Когда-то я думал, что их делают напильником. Потом оказалось, что такие зубы у всех сельских, а треугольная выемка образуется от лузганья семечек. Семечки грызли по вечерам при свете керосиновой лампы. Шелуху кидали в расстеленную на столе газету «Радянська Україна». Каждую зиму Мусина сестра Катя читала книгу В. Каверина «Два капитана». Начинала в ноябре и к марту заканчивала. Книга ей очень нравилась. Газеты бережно хранила и растапливала ими печь. Как-то раз я поинтересовался, зачем она это делает, когда топит соломой. Ответа не получил. Сминание газеты происходило в строгом молчании. Солома вспыхивала, как порох, внутренность печи освещалась ярким светом, по стенам пробегали огненные сполохи, газета обращалась в черные лохмотья, а потом бесследно исчезала. Создавалось впечатление какого-то ведьмовского действия, с годами я укрепился в мысли, что так оно и было. Зимой топили торфом, который Катя упрямо называла «торт».

Политрук по ночам писал: то план политзанятий, то стихи. У него были старшие братья, и на свидания он ходил, когда наступала его очередь надевать сапоги, а в сапогах, как известно, куда легче добиться взаимности.

Самого старшего брата расстреляли в шесть утра в августе 1952 года — он тоже писал. Но младший не узнал об этом.

Дедушкины стихи остались в ящике стола, а когда бабушка вернулась из Алмалыка, стола уже не было, а были матрасы на полу, и на них — незнакомые люди.

Вор сунул руку в форточку и плавно отжал задвижку. Отворил бесшумно, присел на корточки, вглядываясь. Потянул носом...

— Сиди не рыпайся... А то вниз полетишь, — прошептало в самое ухо. — Перед ним стоял мужик в нижнем белье, сам лысый, а в зубах окурок.

— Назад давай... потихонечку... Ты чего? — А тот дышал шумно, дрожал крупной дрожью, вцепившись обеими руками в белую ткань.

— Руку пустил — и назад! Ишь, развезло... Пусти, говорю!

Политрук достал спички и прикурил. — На, потяни! — И вставил окурок в смрадно лязгающий рот. — Ну всё? Да-и сюда! — Погасил в пепельнице. Когда обернулся, в проеме было лишь небо. Зашуршало только вниз по водосточной...

- Им из Кнессета виднее...
- Значит, отдать этим уродам?
- Мир в обмен на территории!
- Не мир ты получишь, а...
- Попрошу не выражаться при раве Зеликовиче!
- Хорошо, только пусть он нальет!
- Там каких-то козлов нагнали с дубинками... Говорят, по головам бьют!
- Стрелять их надо! А мы сидим тут, четверо вооруженных мужиков, и только...
- При уважаемом раве Зеликовиче!
- Кого ты будешь стрелять — своих?
- У меня там две дочери!
- Как же ты их туда пустил? Это же дети!
- Пустил?! Они обозвали меня предателем!
- Я же говорю — стрелять!
- А солдаты — не дети?

За окошком вагончика летели лепестки акации и казалось, что это пошел снег. На полу валялся разнообразный инструмент, пахло бензином и финиковым самогоном. Мы начали около семи утра, и сейчас, — к полудню, грохот грузовиков по мостовой, влажные простыни в кухне, глаза Зумруд и четыре пальмы за колючей проволокой слились в одно: по-прежнему бухало сердце и скакали перед глазами оранжевые протуберанцы, но казалось уже, что так и должно быть...

— Сказано, что надо пить по четыре стакана, но не сказано, чего... Вот пусть уважаемый нам расскажет!

— Сказано пить, пока не возвеселится душа! Извлекай из зла добро, — как сказал Иермияху...

- Хорошенькое веселье!
- У тебя есть выбор?

В 1948 году в школе зачитали «Положение о школьной форме». После чего тетка нацарапала в первой попавшейся под руку тетради пародию на приказ министра просвещения УССР. Теткин приказ касался поведения советской школьницы при отправлении большой и малой физиологической надобности и содержал излишние подробности. Тетрадь пошла по рукам, училка заметила, отобрала и побежала к завучу. Волна паники ударила по теткойной подруге — закоренелой двоечнице, уличенной к тому же в некоторых не по возрасту тяжких преступлениях против нравственности. Тогда тетка побежала в учительскую и «встала на путь деятельного раскаянья».

Бабушка была вызвана в школу в тот же день.

— Я кладу эту гадость под сукно! — заявила директриса. — Якщо никто... никто не сообщит куда следует, это так и останется, а если... — она очень волновалась, — то... вам что, мало было вашего брата?

Бабушка никогда не повышала голоса и не говорила грубых слов (она окончила Фундуклеевскую женскую гимназию), сказала лишь: «Я всегда полагала, что ты умный человек, но я ошибалась!» Этого оказалось вполне достаточно — тетка рассказывала, что была «убита на месте».

Случилось чудо: никто так и не обеспокоил «славные органы» враждебной вылазкой племянницы врага народа. Но мне хочется верить не в чудо, а в самые обычные вещи.

А Никодима в Ульяновском ИТЛ посадили к уголовникам, и те забили его ногами, а для смеха натянули на мертвые глаза кепку, так что оторванный козырек дребезжал, когда по нему с размаху хлопали кончиками пальцев. Об этом написала Оле его жена, которая туда к нему поехала, но опоздала, а ей рассказал один расконвоированный, с которым она сошлась. Человек, писала, хороший...

Голова распухла, кепку не снять — так и кинули в ров. Пропала вещь!



Борис ХЕРСОНСКИЙ

/ Одесса /

* * *

юность это басня без морали
 пропили и в карты проиграли
 вставили в квадратные дворы
 двухэтажный дом и галерея
 старенький «москвич» стоит ржавая
 зимние платаны без коры
 смотрит с высоты кошачья морда
 семиструнка знает три аккорда
 а четвертый блюзовый квадрат
 не в ходу пока не заучили
 перекрыли воду свет включили
 пашет самогонный аппарат
 что ты смотришь на меня придурок
 вот к губе приклеенный окурочек
 и зрачки расширены опять
 наглотаюсь дури и таблеток
 и галдят вороны с мокрых веток
 а о чем покуда не понять

* * *

уже не копейка рубль бережет
 миллион бережет миллиард
 не на спичке теперь экономит жмот
 на салюте на громе петард
 не на вязанке сосновых дров
 не на баночке рижских шпрот
 на дворце белокаменном с парой львов
 по сторонам от ворот
 на ночлежке для нищих на жалком куске
 хлеба для старческих ртов

на жизни что держится на волоске
на смерти разных сортов
не на засов запирает дом
чтобы вор не унес
все то что нажил чужим трудом
он стережет как пес
и если бы звезды служили ему
он бы сэкономил их свет
и мы погрузились бы в полную тьму
лишенную всяких примет
копейка ничто не об этом речь
но копейку считай и жалея
и спичку тоже нужно беречь
и свечка будет целей

* * *

трудно соскрести деготь с ворот невесты
вывалянной в пуху в восемнадцатом веке тем боле
среди всех костров среди всех дымовых завес ты
не найдешь страдальца не отмоешь его от боли
кто бы свет подарил нам людям слепорожденным
кто бы скатертью самобранкой наделил в котомке холщовой
кто б осчастливил нас золотым рублем неразменным
или хотя бы разменной бумажкой сторублевой
нищета нищета ни черта не оставила нищим
ничего не пообещала ничем не приманила
не нашло нас счастье да мы его и не ищем
с нами телесная немощь с нами крестная сила
а может мы мечены не Богом а чертовым когтем
и страна у нас что невеста скаредна и блудлива
оттого-то наши ворота в рай мазаны дегтем
и волчцами и терниями сплошь заросла наша нива

* * *

Поставишь на стол статуэтку, или книгу — на полку.
Заполняешь вещами дом.
Куда же — на свалку? на барахолку?
отправитесь вы потом...
Кто не испытывал сожаления
на грани небытия,
не зная ни скорости, ни направления
в котором движется душа твоя.
Книжки-сироты поодиночке
разбредутся медленно, кто куда.
У разменной монетки, у стихотворной строчки
нет ни совести, ни стыда.

* * *

любителем жизни называют любителя баб и водки
если б я знала что пан не спешит я бы сняла колготки
кружевное белье на веревке висит посреди двора
любитель жизни потягивается, зеваает,
разинутый рот ладонью старательно прикрывает
чтоб демон Бог упаси не вылетел из нутра
да еще и еда да еще на пуху перина
дела нет до диабета и холестерина
что врач прописал в аптеке пускай лежит
в картонных коробочках годности срок на пределе
впрочем срок годности существует и в теле
любитель жизни ладно скроен и крепко сшит
сестра моя жизнь и сегодня как пиво в разливе
привет Пастернак ты славно трудился на ниве
русской словесности твой голос из глубины
прошлого века звенит и крепнет тем паче
ты жизнь любил понимая ее иначе
но чувствуя всю её от пеленок до седины

* * *

Не отличишь молитвы от молвы.
Твои слова да Богу в уши. Там
среди небесной ясной синевы
найдется место просьбам и мечтам.

Иное дело — рынок. Толкотня.
Протиснешься к прилавку — пустота.
Я не познал Тебя. Ты не узнал меня.
И где они — свободные места?

Не счесть в стране лесов полей и рек.
Там песне рыб подсвистывает рак.
Я только на безлюдье — человек,
а так — никто и звать меня — никак.

* * *

такой кривой переулок сам черт сломит ногу
как вся моя жизнь такой узкий и тесный
что коту нельзя не прибиться к чужому порогу
а день субботний врзается в день воскресный
и не узнаешь на чьей кухне гремит посуда
и чье белье сушится на балконе
и звучат голоса женщин непонятно откуда
говорят на идиш называется на жаргоне

такой кривой переулоч имени клары цветкин
такой узкий и тесный как детство в пятидесятых
такой беспомощный а оказался крепким и цепким
как сотня поздних воспоминаний вместе зачем-то взятых
идет под уклон как вся наша жизнь кривой как пощада
выпавшая жильцам из рук оккупантов
на губах матерей цветет расцветает помада
на косах соседских девочек погребальные розы бантов
такой кривой переулоч выпрямить и не пробуй
такой тесный и узкий не разминуться встречным
такая булочная со своею пшеничной сдобой
такая жизнь со спертым духом аптечным

* * *

Заложить основание города лучше тогда,
когда вокруг построена сотня-другая домов,
когда на окрестных полях пасутся стада,
а у рыбаков в лагуне отличный улов.
Поэтому первый камень почти никогда
не бывает первым: этот принцип не нов.
Так возникают все приморские города.

Было бы море — всегда найдется залив
или бухта, и вот уже построен причал.
Вот вам окно в Европу и Азию. Отворив
его, видишь то, чего прежде не замечал:
например, что немцы не так уже холодны,
а греки лучше племен, которые раньше встречал
на бесконечных просторах своей страны.

И вот уже кварталы нарезаны, как пирог.
Стройка закончена, но еще утверждают план.
Храм еще не достроен, но в нем обитает Бог,
и на базарах божок по имени чистоган.
Город стоит на возвышенности, но склон полог,
и парус белеет, и смотрит в бинокль капитан,
и пушка стоит, чтобы враг не переступил порог.

У пушки прапорщик, как оловянный солдат
из детской игры в историю, где торговля паче войны,
где ослик ушат и упрямя, а верблюды горбат,
овцы шерстисты, а кони — выносливы и стройны.
Где всей канонады — весеннего грома раскат,
где колоннады стоят во-от такой вышины,
где вместо пожаров на небе пылает закат,
где много разных товаров и все — нарасхват.

* * *

Пирамидкой лежат черепа.
Оссуарий. Гора Афон.
Пролетает веков череда.
Не понять, где фигура, где фон.
Что случается в мире ином,
Где останется мысленный след?
Только крестик на лбу костяном,
пожелтевшем от канувших лет.

* * *

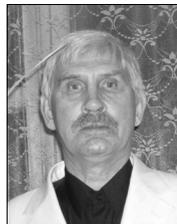
черноморская пена накатывается на песок
дугой немного наискосок
слизывает обертки от прошлогодних сластей
оставшихся городу от гостей
из воды торчат несколько глыб известняка
обелиски надгробья рыбы-иглы и морского конька
камень побольше в честь морского бычка
не заметившего крючка
в честь креветок и крабов нет подобных камней
поскольку покойные были меньше и значит скромней
клеток чаек над пляжем нелепый киоск с шаурмой
ветер сквозной пора возвращаться домой
тянут хозяев вдоль песчаной выцветшей полосы
возбужденные псы

* * *

первыми отселяли людей из подвалов затем из полуподвалов
с видом на ноги торопливых прохожих
потом коммунаров или точней коммуналов
в общем всех отселяли включая домашних кошек
грузовики везли из центра куда подальше
убогий скарб старожиллов не нужный в новой квартире
из динамиков полный торжественной фальши
сообщал о наших успехах и событиях в мире
сквозь переменную облачность проглядывала надежда
и лукаво подмигивала ну что поверили дуры
цитаты из ленина сталина не помнил только невежда
старушки сидели на лавочке как на насесте куры
море было теплым купальный сезон начинался рано
купальники были закрытыми и слишком полными дамы
патефон выносили во двор пело меццо-сопрано
и настезь были распахнуты рассыхающиеся рамы

Дмитрий ВЕРЕЩАГИН

/ Москва /



ИВАНКА

Начну так. В тот день мне приснился писатель Эдуард Лимонов, которого я в своей жизни никогда не видел, но по телевидению, конечно, я его видел, и мне сразу запомнилась его хошиминская бородка, совершенно белая и прозрачная. Мы шли с ним по Тверской улице, и я почему-то решил продать ему свой сюжет для небольшого рассказа. Он, слышу, говорит:

— Хорошо, черт возьми. Мне это нравится. Я у тебя, Димон, его куплю. Сколько ты за него хочешь?

— Миллион.

Услышав сумму, он вдруг остановился:

— Ты чего: за дурака меня принимаешь?

— Никак. Я называю свою сумму.

— Ну, это же художественный вымысел. В некотором роде, можно сказать, туман.

— Ну, нет! Это, — говорю — не туман. Мой Витька Парамонов — это живой хулиган. Как он убивает родного дядю — Сатану. А? А отца родного — как? Пальчики оближешь!

— Ну, не миллион же?

— А Елена Соленая, да она же, ведь, живет всех живых. Она одна стоит миллион долларов.

— Миллион долларов, а не рублей?

— Да, миллион долларов, а не рублей!

— Тогда, Димон, до свиданья. Это беспредметный разговор. Пока.

И он побежал к метро. Я тоже шел туда. И когда спустился вниз по эскалатору, стал ждать поезд. Подошел поезд, я вошел в вагон, и буквально через минуту вагон тормознуло, да так, что мы все в вагоне полетели друг на друга. Гляжу, у меня в руках девушка, такая симпатичная, что я решил поцеловать ее. Она, чувствуя, не против. Смеется. И говорит:

— Еще! Еще!

Я еще и еще раз ее поцеловал. И стали мы знакомиться.

— Я, — говорю ей на ушко, — Димон.

— А я, — говорит она, облизывая ярко накрашенные губы, — Иванка.

— Украинка?

— Нет, — говорит, — я американка.

— Да, — удивился я. — А почему Иванка?

— Папа так назвал.

— А кто он?

— Он президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп.

Я смотрю на нее теперь с удивлением: надо же, какая птица! Но ведь и я тоже птица та еще. На мне белый костюм, и я снюсь сам себе еще молодым: мне уже теперь 76 лет, а я снюсь сам себе тридцатитрехлетним. Почему тридцатитрехлетним? Потому что это возраст Христа, о котором я думаю всегда, каждую минуту, каждое мгновение.

— Он, — говорит она про отца, — здесь тоже, в Москве. Мы встречаемся с ним около Большого театра.

Как хорошо говорит она по-русски. А я, не знаю по-английски ни слова.

— Тогда нам надо выходить, — говорю. — Пойдемте, вернемся, Иванка. И пройдемся пешком по Тверской улице.

Она согласна. Вышли из метро и пошли пешком.

— Но точно ли, — спрашиваю, — у Большого театра?

— Сейчас я ему позвоню. Дональд, ты где, ты точно у Большого театра? Да, — говорит, — он уже нас ждет там. Уже с билетами на спектакль «Лебединое озеро». Вы его, Димон, смотрели?

— Много раз, Иванка.

— Может вы, и Плисецкую знаете?

— Да, знаю. Даже очень хорошо знаю.

Ее давно уже нет в живых, но мне так ее хочется видеть снова живую, что сон мой исполняет мою просьбу. Я повел их за кулисы в уборные, и мы там с Майей Михайловной расцеловались так, что они поняли, что мы не просто знакомые, а даже, может быть, родственники. Места у них были в первом ряду, и она сама их посадила. А мне говорит:

— Может, их в правительственную ложу?

— Да, Майя Михайловна, конечно.

— Тогда, — говорит, — проводи их туда сам.

И я их проводил в правительственную ложу. Причем, когда меня там увидели дежурные по этажу, они стали перед нами раскланиваться, так что никакого сомнения не было в том, что в Большом театре я свой. Мне очень хотелось есть, и поскольку во сне моем все происходит по моему желанию: мы уже в гостинице Метрополь. От Большого театра это совсем рядом. Помнится, в ресторане нам подали шикарный обед.

— Вы женаты? — спросил Трамп.

— Да, был женат. Моя супруга умерла недавно. Рак.

— Ясно. А дети у вас с ней были? — спросила Иванка.

— Не были, — говорю, — а теперь есть. Две дочери. Но если бы не аборт, то и еще у нас были бы дети. Жена у меня святой человек, царство ей небесное.

— Нет, туда она не попадет, — решительно сказала Иванка.

— Почему, позвольте вас спросить?

— Аборт — это убийство.

— Но я позволю себе с вами не согласиться. Да! Потому что, Иванка, так говорить нельзя.

— Да, отчего же? Правду надо говорить в глаза.

— Какую правду? Евангельскую или сатанинскую?

— Евангельскую, Димон.

— Тогда вы плохо знаете Евангелие, Иванка.

— Почему вы так говорите?

— Потому, Иванка, вы совсем не оставляете человеку надежды. Хотя, моя хорошая, сам Господь наш Иисус Христос не лишил нас ее, надежды, попасть всем нам в царствие небесное.

— И где это видно?

— В Евангелии. Когда разбойнику Он говорит: «Сегодня же будешь в Царствии Моем». Хотя, читая Евангелие, надо думать: ведь, это какой разбойник? Он совершил не одно, а много убийств. Понимаете, о чем я вам говорю?

Отец ее поднял на меня глаза:

— Однако, — говорит, — он, дочка, хорошо поставил тебя на место.

— Да, папа. У меня, — говорит, — сердце опустилось до пяток. Вот он как опустил меня на место!

А чтобы уж совсем оно опустилась, я еще ей и так сказал:

— А Гадаринский бесноватый: он даже стал епископом, а почему? Он не лишает надежды никого. Да! — говорю. — Надежды оказаться там, в раю, в царствии Его. Вы теперь меня понимаете?

— Теперь, да! — говорят они мне одновременно. — Теперь мы видим, кто вы, сударь!

— Вы, пожалуй, будете епископом, — сказала Иванка. Прищурилась и еще сказала: — Даже не епископом, а еще и повыше!

— Да, что вы, господа, — стал я умаляться. — Я просто раб, раб божий. Но, признаюсь, я очень много времени отдаю трудам Иоанна Златоуста. Благо он практически показал всему городу Константинополь, что есть покаяние. Да! Когда его, сосланного в Абхазию, хотели оттуда перевезти домой, в Константинополь. Плита, лежавшая на его могиле, никак не желала этого. Ни на сантиметр не хотела подвинуться. И только когда уже все в Константинополе люди просили его, Иоанна, простить грехи им, вот тогда только плита легко, сама сдвинулась. Понимаете, почему я так говорю?

— О, да! — отвечали они одновременно. — Хотите, у нас в Америке поработать?

— Кем?

— Проповедником.

— Нет. Потому что я стою на широком пути, а для того чтобы проповедовать учение Христа, надо стоять на узком. Да! Потому что широкий путь нас ведет в погибель, тогда как узкий путь — это путь в рай, в царствие небесное.

И меня понесло, благо я тогда уже выпил, хотя только две рюмки коньяка, но я пьянею от него почему-то очень быстро. Наизусть им читаю из святителя Николая Сербского:

— «Бог стал человеком. Я еще и так скажу: Бог может стать и деревом, и камнем, и пчелой, и ягненком. Если желает, Бог может стать и человеком. Если желает! Здесь появляется проблема этическая. Желает ли Бог стать человеком? Бог может пожелать умалиться до человека, низойти до человека при наличии у Него двух свойств, неизмеримо более сильных по сравнению с человеком, а именно: если он любит человека больше чем сам себя человек может любить, и если милость Его и храбрость Его превосходят милость и храбрость человека...» Но, простите, я отвлекся. Я о другом хотел вам сказать.

Они смотрят на меня восторженно. И, конечно, их интересует, о чем еще и «о другом» я хотел им сказать.

— Я б и согласен в Америке у вас поработать. Мне, пожалуй, одинаково, где читать их, свои проповеди. Даже и хорошо бы в Америке, потому что меня в России не понимают.

— Отчего же? — спросил Дональд Трамп.

— Потому что попы наши зомбированы так, что возмущаются, когда я им говорю, во-первых, что они сами обмануты, во-вторых, что они еще и народ обманывают.

— Пожалуй, и мы все обмануты? — спросила Иванка.

— Конечно, Иванка, конечно.

— А доказать это, Димон, ты можешь?

— А что тут доказывать: я чаю, вам известно, сколько раз переписывали Библию?

Они молчат, — не знают, значит, и про это. Я говорю им:

— Ее переписывали сто тысяч раз. А это нам о чем говорит? Если допустить, что при переписывании ее была допущена пусть хотя бы только одна ошибка, но и при этом их, ошибок, уже можно насчитать, — говорю, — сто тысяч. Так?

— Да, — отвечали они одновременно.

— Конечно, — говорю я, закусывая черной икрой. Не пропадать же ей, думаю. — И теперь нетрудно, думаю, вам понять и то, почему так много всяких вер, — говорю, — это только в христианстве? И почему воевали — да и теперь все еще воюют! — католики

с протестантами, а англосаксы — с названными?! Отсюда, конечно, совсем не удивительно, что у вас в Америке — там сколько сект и сектантов?

— Много, — сказал Дональд Трамп.

— Две сотни! — говорю.

— Да? — опять они удивлены одновременно. — Вот, папа, оно ка-ак?!

— А у вас в России меньше? — спросила Иванка.

— Да, поменьше. Но, — говорю, — зато у нас был царь Петр Великий. Он так перессорил всех православных христиан, что стали они врагами и доныне. Много, очень много людей из России бежали тогда в Америку. Так что если я к вам переберусь, то это будет, пожалуй, правильно.

— Милости просим, — сказал Дональд Трамп.

— Меня удерживает только одно.

— Что именно? — спросила Иванка.

— Воздух, Иванка, воздух. Воздух, которым мы дышим. Он рожден от дыхания нашей Земной Матери. Ее дыхание голубеет в высотах небес, шелестит на вершинах гор, шепчет в листьях лесов, колышется над полями нашей Пензенской земли.

Я еще выпил рюмочку коньяку, закусил черной икрой, и стало мне так хорошо, что уже даже и не помню я, когда вот так я говорил еще стихами.

— Кровь, которая течет в нас, рождена от крови нашей Земной Матери. Ее кровь падает из облаков, пробивается из чрева земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных реках, спит в озерах, мощно шумит в бурных морях. Так как же, спрашивается, не любить такую Мать? Как можно воевать друг с другом? И как воевать: ведь, на лице Земной Матери происходили и Первая, и Вторая мировые войны.

...Я проснулся. Гляжу и вижу поминальный стол. Хорошо. Я скорей налил себе стакан водки и выпил залпом.

— Любимая! — говорю я, обращаясь к портрету своей незабвенной супруги. — Прости меня, что в жизни я был болтун и хвастун. Но это потому, что я любил тебя больше Бога.

— Вот за это, — сказала наша дочь Катерина, — тебе и наказание такое. Да, папа! Это Господь, это Он заставляет тебя задуматься так, что «если ты любишь жену больше Меня, то ты недостоин Меня».

— Что делать? — спросил я.

И ответила мне дочь наша меньшая, любимая:

— Папа! Начни ходить в церковь, а там уже Господь скажет тебе: по какому идти пути — по узкому или по широкому.

— То есть, ты хочешь сказать, жениться мне на Иванке или нет?

— Да папа.

И все наше поминальное застолье вдруг расхохоталось.



Григорий БРАЙНИН

/ Донецк /

Я ВЫШЕЛ К МОРЮ...

1

я вышел к морю свет далёких звёзд
 мерцал сквозь ночь под куполом озона
 ни шума волн ни летнего сезона
 не слышно было гладкая вода
 стояла молча рядом между твердью
 былых моллюсков и небесных сфер
 и возле ног граничила со смертью
 и верой в бесконечность агасфер
 бессмертия бродил по этим пляжам
 в плену танатоса и эроса где ад
 его судьбы казалось был не страшен
 для заключённого над камерной парашей
 и для сократа выпившего яд

2

я вышел к морю вечер был убит
 на поиски луны над тёмным югом
 как циолковский в небе над калугой
 я слышал зуд неоновых орбит
 хрустел песок из раковин моллюсков
 напоминавших профилем сердца
 скелеты их наросшие снаружи
 на их тела с осколками жемчужин
 лишь оттиски их мертвого лица
 течёт вода в песок уходят буквы
 латыни обозначившей их род
 их раковин то выпуклых то впуклых
 приоткрывающих немой первичный рот

3

я вышел к морю штиль лежал повсюду
песок шагов скрипел почти как снег
незыблемой воды немое тело
целуя вслед беззвучно как иуда
впечатало меня в третичный мел
береговой черты качались звёзды
и млечный путь усыпанный извёсткой
под напряжением качался и гудел
как мост канатный над ущельем ночи
и я шагнул туда что было мочи
уж полночь близится а германа все нет
что он узнал пройдя по грани сред
сошел с ума и не нашел ответ

4

я вышел к морю шел парад планет
сияла тьма отверстиями свода
где планетарий знаменитых звёзд
в таком раскладе жизнь мою принёс
к боспору киммерийскому тотлебен
нарыл на белом мысе крепостцу
на новый год войны но мне к лицу
азовских кос ракушечные мели
причесаны востоком набекрень
они вольны на воздухе свободы
на карте жизни изменять обводы
где птицы моря любят свою тень
и мир поделен на песок и воду

5

я вышел к морю небо шло со мной
всем капищем светил с песком и илом
шло надо мной оно за мной следило
весь свой эскорт построив неземной
в краях где небо мучил летний зной
с пометкой бесконечности на коже
запястья левого скитался вечный жид
знакомый нам еврей чтоб он так жил
в нём часовщик заложен генрих мозер
с часами вечности размером с эмбрион
жид шел вдоль берега идя по грани он
стирает ход времён в песок и воду
в надежде что вернётся на свободу



Сандрó ГРЕБНЕВ

/ Санкт-Петербург /

РЫЖИЙ В МЕКСИКЕ

Я прошел по касательной, но не врез с небесами,
в этой точке касания — и песни и слёзы мои.

Б. Р.

Некий человек лежит на смертном одре и с независимостью, какую ему дает близость смерти, говорит: «Всю свою жизнь я боролся с желанием покончить с нею». В другой истории ученик высмеивает учителя, у которого только и разговору что о смерти: «Ты постоянно толкуешь о смерти, а сам не умираешь». — «И все-таки я умру. Я как раз произношу свою последнюю песнь. У одного эта песнь длиннее, у другого короче. Но разница всегда лишь в несколько слов».

Франц Кафка

С раннего утра, когда ещё только-только светало, он бродил по безлюдной площади Трёх Культур, нарезая круги по причудливому ландшафту, по мощёным тропинкам и лесенкам. Затем уселся на одну из платформ и просто наблюдал, как солнце поднимается над рядами знакомых глазу длинных панельных домов. В небе висел привычный для мегаполиса смог, выше — ни намёка на облачко. Хороший день для праздника, впрочем, как и всегда. Дожди в начале ноября здесь — редкость.

Послonyaвшиcь ещё немного по площади и дождавшиcь, пока улицы наполнят люди и автомобили, он наворачул «мексиканский завтрак» и по привычке двинул к Эль Сокало дабы полюбоваться на парад, а потом, если ничего не изменится, можно и на аллею de los Poetas махнуть в местном ЦПКиО, наверняка там кто-нибудь ошивается да угостит же его мескалём. Пантеон-де-Долорес можно оставить на поздний вечер.

Улицы Мехико чем-то напоминали родные пейзажи в одном сказочном индустриальном городке на другом конце Земли. Отдалённо,

конечно, напоминали, деталей немного, но они броские: малосимпатичные коробки административных зданий с балконами, троллейбусы, местами бетонные заборы. Он глазел по сторонам, с неизменным любопытством наблюдая за проснувшейся гущей районов на пути к центру, совершенно не опасаясь смутить кого-либо своим обликом.

Он в очередной раз подкинул и поймал щегольскую трость, пошёл к витрине кафе с горячей надписью «Abierto/OPEN» и осмотрел себя. Снял цилиндр, перчаткой стряхнул с него пыль, затем проверил — нет ли складок на плаще. Цилиндр, плащ за спиной, перчатки, ботинки — всё безупречно чёрного цвета за исключением белых узоров, изображающих кости. Кости ног и таза на чёрных брюках, рёбра — на водолазке, кости рук на рукавах и перчатках. Явление в таких одеждах где-нибудь в ином месте наделало бы много шума: ужаса, трепета, скандала — но не здесь. Здесь он шёл, пугая разве что попадававшихся под ноги голубей. Прохожие, которых с началом дня стало чуть больше, либо не обращали на него внимания, либо сдержанно приветствовали. Что ж в этом такого, что кто-то принарядился в El Día de los Muertos? Влюблённые в праздник горожане берегут силы к большому карнавалу и к наступлению темноты, когда начнутся гуляния и грянет с исключительной местной страстью общее веселие.

Но пока что народу немного. Ближе к центру встречается больше туристов, которых он недолюбливает. Как-то раз к нему подскочила китайская пара. «Carnival! Donnie! Yes?» — зачирикала женщина, и прежде чем он успел открыть рот и изречь нечто на всё ещё плохом английском, низкорослая китайка подскочила к нему, а её супруг моментально сделал фотографию. Фотография запечатлела, как мужчина в чёрном костюме скелета с плащом и в цилиндре стоит рядом с китайской туристкой на фоне странного футуристического здания грибовидной формы — фотография, скажем, каких миллион в глуповатом жанре туристических мемуарий. Молодой человек в «карнавальном» костюме мертвеца добавлял, конечно, экзотики. Возможно лайк в китайских соцсетях было бы больше, если бы спустя непродолжительное время мужчина с фотографии не исчез...

Исчез совсем, словно потрудились советские фотомонтажёры, проводящие очередную линию партии. Произошло это незаметно и как-то само собой.

Встреча с ним безболезненно улетучилась из их памяти. А в памяти фотокамеры остался снимок китайки и футуристически-грибовидного здания, покрытого будто пчелиными сотами бесчисленными гексагонами. Сколько их там, кто-нибудь считал?

Отпущенное ему время он ценил и не стал бы отвлекаться на подобные глупости, тем более, что находился на сей раз в другой части города. Посреди Сокало как и прежде гордо реет огромный Мексиканский флаг, «арбуз» — как величают его местные. Много

policiá, много белых туристов «гринго» — как обзывают их тут за глаза. Ещё много такси, но с пустыми карманами далеко не уедешь. В метро разве что пустят, кто будет штрафовать скелета в праздничный день?

Он уже оглядывался по сторонам — не начался ли карнавал и на какой в точности улице он проходит, как что-то случилось...

И он уже сидел на толстой ветке тысячелетнего таксодиума в тени его обильной листвы, в совсем другой части страны. Напротив сидели молодые сельские ребята: девушка и три парня. Пеоны. Судя по одежке, родом из начала прошлого столетия.

— ¿Cómo llegó hasta nosotros, señor? — девушка спросила, откуда он свалился.

— Nosotros llegamos aquí cuando aún éramos niños... — с крестьянской простотой, даже словно оправдываясь, заметил её сосед с глуповатым лицом. Слово оправдываясь, он сказал, что они лазили сюда, пока были ещё детьми.

Завязывается разговор. Квартет жалуется, что кладбище, где их похоронили после эпидемии, находилось в горах, было заброшено и сровнено с землёй для каких-то хозяйственных нужд, а родни, которая помнила о них, давно нет в царстве живых. Их помнит лишь этот таксодиум.

Как-то раз, ещё будучи детьми, они играли на солнцепёке и тайно забрались на это «древо жизни». Тот, что был грамотным, тайный сын священника, достал нож и вырезал первые буквы их имён: Эриберто, Оскар, Лукас, Андреа. Постепенно время скрыло четыре буквы под слоем коры. Но еле различимые очертания их всё ещё там, поэтому «древо жизни» их помнит, и они беззаботно качаются на нём теперь, вспоминая те немногие счастливые моменты детских игр. Вот такая история.

Неподалёку заскрежетал тормозами старенький фургон, отбродивший американские хайвэй ещё в конце восьмидесятых. Из боковой двери в пожарном темпе выскочили двое, ещё один — с водителского. Забавно, трусцой, поправляя изумительные сомбреро, они подбежали к дереву.

— ¡Mariachis! ¡Mariachis! — захлопала в ладоши девушка. Это были музыканты: гитара, гитарон и скрипка. Одеты с иголки: чёрные костюмы с вышитыми поверх белыми узорами-виньетками, широкие сомбреро. Красные галстуки музыкантов напомнили ему о юности и о том, что почти такой же когда-то грел его тонкую шею возле школы белой зимой, которую здесь мало кто сможет себе представить.

Мариачи выстроились перед деревом, началась музыка. «Volver, volver, volver», — страстно повторяли они куплет. На сердце сделалось тревожно. Вспомнилась ли ему в тот момент очередная поэтическая химера или же несостоявшаяся музыкальная карьера, но к

концу песни прозрачное лицо сделалось задумчивым. А вот соседи по дереву бесшабашно хлопали, настроение у них было совсем праздничное.

Один из мариачи, тот, что играл на скрипке, побежал к дереву. На лице как и у остальных изображён череп. Череп поверх лица — многие из живых в эти дни балуются таким гримом.

— ¡Señor del sombrero de copa, señor del sombrero de copa! — кричал он нашему герою в высокой шляпе, то бишь цилиндре, и размахивал конвертом с сообщением. — ¡Le tengo un regalo!

Придерживая одной рукой цилиндр, другой — щегольскую трость, он ловко соскочил с ветки и приземлился возле гонца, протягивающего конверт интересного вида.

— La señora le dejó dicho que desea mucho verlo. — Мариачи говорит, что сообщение и музыку анонимно передала некая сеньора.

На угольного цвета конверте написано имя адресата: Rojo. *Рóхо* — так зовут его.

Он вскрыл конверт: внутри оказалось приглашение, украшенное орнаментом из роз и черепов так же на чёрной бумаге.

«Panteon General Oaxaca. Hoy. Te esperamos, Rojo.

— М.»,

— гласила надпись внутри. Подпись под приглашением: М. — он знал от кого оно.

— ¿Por qué ahí? — спросил *Рохо*. Гонец пожал плечами. Да и правда, откуда ему знать, почему там?

— Quede bien, — поспешил распрощаться мариачи, видно было, что они с коллегами спешат.

— Espera un segundo, ¿cómo se llega allí? — задержал он гонца, дабы уточнить путь до Пантеон Дженераль.

— Vaya por la Internacional, señor, hasta llegar a un gran camino y allí espere el autobús hasta Oaxaca. — Музыкант объясняет *Рохо* путь: от таксодиума до Оахаки от силы пять километров по трассе Интернациональ. Городок у них небольшой и найти Пантеон Дженераль, куда его пригласили, труда не составит. — En cuanto llegue a la ciudad pregunte a cualquier persona, es un pueblo pequeño, todos saben donde queda.

Мариачи откланялись и в пожарном темпе поспешили в фургон. День праздничный — заказов выше крыши, особенно после наступления темноты, когда наступает время влюблённых.

Рохо помахал рукой с изображением костей своим знакомым, которые по-прежнему оставались на «древе жизни». Уселись там как обезьяны и по-видимому вовсе не планировали его покидать. До завершения празднования, конечно. Нет, чтобы прогуляться. Сложно не восхититься тому, как из семечка, упавшего здесь полторы тысячи лет назад, задолго до явления испанских гостей, проросла такая махина... И правда, «древо жизни».

Он повторил упражнение с тростью: подкинул и поймал. Вес оной — 4 кг, примерно. Прямая, из светлого дерева, в набалдашник вделана вызолоченная пуговица с армейского сюртука с красивыми цифрами: «39».

Рохо двинулся в путь. Оказавшись на трассе, он не стал дожидаться автобуса, а сразу принялся голосовать. До Оахаки было километров семь, можно дойти пешком, но солнце уже вовсю клонилось к закату, поэтому решил поспешить. Вскоре рядом с ним затормозил пикап с прицепом и кузовом, гружёным цветами. Цветочник, а рядом совсем молодая девушка с любопытными чёрными глазами, обычные с виду мексиканцы, уже разгрузили часть товара в Санта-Мария-дель-Туле и сейчас спешили на рынок Оахаки. Праздник уже подходит к концу и цветы лучше сбыть как можно быстрее.

Рохо запрыгивает в кузов пикапа.

— *¿Primera vez en México, señor?* — спрашивает из кабины цветочник.

— *Primera vez en Oaxaca*, — отвечает он. Это правда, в Оахаке он раньше не был.

Напротив него в кузове лежал огромный венок в виде креста, состоящий сплошь из *Flores para los muertos*, «цветов мёртвых» — бархатцев разных видов. В праздничные дни эти рыжие цветы в Мексике сплошь и рядом. Считается, что их аромат притягивает души покойных, а за лепестки жёлто-оранжевого бутона она цепляется, прилетев на могилу или же на специально устроенный дома алтарь, чтобы побыть с родными. Так это или же не совсем, с наступлением Ноября месяца целых два дня Мексика празднует «День Мёртвых» да так, как в иной стране не празднуется даже Новый год.

Когда-то это был праздник ацтеков, которые, не моргнув глазом, вырезали сердце на вершинах пирамид, чтобы душа принесённого в жертву отправлялась напрямик на солнце туда же, куда и души воинов. Потом приплыли завоеватели. У индейцев крест символизировал «древо жизни», у испанцев — распятие. И хоть считается, что победил последний — на деле же два южных нрава составили дикую смесь и осенний «День поминовения» превратился в *El Día de los Muertos*.

В этот день как будто бы жизнь на климтовском полотне приходит в гости к уставшей от одиночества бабушке-смерти, та как обычно улыбается — несомненно, рада её видеть. Прекрасная Розина, наконец, заключает её в объятьях, а гравюры Гольбейна в эти дни становятся особой реальностью. В иной стране её ужасаются, а здесь с Катриной, как здесь иногда называют женщину-скелета, все норвят погулять под ручку.

Мёртвые возвращаются. Живые сооружают для них алтари, укрывают их цветами, черепами и фигурками скелетов, зажигают свечи. На могилы приносят щедрые *ofrendas*: фрукты, выпивку и целые блюда — а также вещи, напоминающие душе о прежней жизни.

Вот, например, в первый день Ноября на землю прилетают маленькие ангелочки, что покинули мир ещё детьми, и родители приносят их игрушки, рисунки, сладости. Второй день — уже для всех остальных...

Как будто помимо бархатцев и календулы в мексиканском «Дне Мёртвых» было мало рыжего. Он ведь не первый русский поэт в этих краях. Когда-то сюда наведывался другой «рыжий», а ещё раньше проездом бывал даже «красный» (один ляд — *rojo*). А красный режиссёр снимал свою эпопею «¡Que viva México!».

Один из них написал танго. Другой вдохновился гравюрами в журнале, на которых скелет в бандольерах оседлал лошадь. Третий застал ещё те времена, когда в столице гробы возили прямо на трамваях. «Электрификация смерти», — таким словосочетанием описал он сие, эдакая ГоЭлэС.

Гроб в *tranvía*... *Рохо* уж не мог припомнить — читал ли он об этом. В родных краях из такой поездочки вышел бы анекдот. Кондукторша чешского вагона непременно потребовала бы оплатить билет либо как за живого, либо как *багаж* — на выбор процессии. Последнее вызвало бы скандал или мордобой в духе Зоценко. *Рохо* всегда почему-то веселили такие истории.

За пределами шоссе раскинулись поля с пожелтевшей травой, точно встречались хозяйственные домики. Далеко под плывущим караваном одиноких облачков виднелись очертания кремля гор, гораздо более внушительных, нежели те, что он привык видеть с детства. Их покрывал осыпающийся к прохладной зиме кустарник с вкраплениями деревьев у подножья, и зелёные склоны постепенно натягивали ткань «шамуа».

Одной рукой он придерживал цилиндр, другой держался за край кузова, трость положил под ноги.

Вскоре промелькнул дорожный указатель: Оахака-де-Хуарес. Пикап въехал в небольшой мексиканский город. По окраинам он застроен современно и достаточно близко, а вот ближе к центру уже начинаются мезоамериканские улочки, узкие и приземистые — обычно не выше двух этажей.

На одном из перекрёстков *Рохо* постучал по крыше и попросил остановиться:

— Gracias, patrón, desde aquí yo me encargo.

— Busque una comparsa, señor, ahí nunca es aburrido, — цветочник советует заезжему искать *компарсу*, где царит особое праздничное веселье.

Он приложил пальцы к шляпе и наклоном головы выразил благодарность и почтение. Пикап поехал дальше. К тому времени, как он добрался до городского рынка и цветочник и его дочка с заплетёнными в косу красными лентами напрочь забыли, о том, что был какой-то попутчик. Разве что девушка не досчиталась в кузове одного букета *Flor de Muerto*. Наверное, выпал по пути.

Когда пикап отчалил, он огляделся и вынул цветы из-за пазухи, где их надёжно скрывал плащ. Тринадцать бархатцев с однотоными рыжими бутонами достаточно пышными. Он достал один и заложил за ленту на полях цилиндра, наискосок. Да простят его хозяева, но цветов и раньше было не купить, а теперь и подавно — за душой ни гроша, лишь пачка «Памира» да спички.

Закурил. Подкинул и поймал трость. Людей вокруг становилось всё больше. В основном, конечно, местные, но и туристы попадаются. Не так много, как в Мехико-сити, но всё же попадаются. Праздник набирал обороты. Солнце уже коснулось на горизонте гор.

На компактных улочках центра города — яблоку негде упасть. Всюду пели, танцевали, торговали вкусностями, кондитерской экзотикой и выпечкой в форме черепов. «¡Hey, tomemos, amigo!» — подскочил к нему какой-то работяга в соломенной шляпе и протянул бутылку мескаля. *Рохо* понимающе кивнул, он схватил бутылку, запрокинул голову и влил в себя добрую четверть от халявного поила. Щедрый работяга, который сам уже был хорош, возликовал. «El esqueleto en el... sombrero de copa... es un buen augurio», — заплетаящимся языком изрёк он, что-то нечленораздельное про скелетов в шляпах и добрые приметы.

В воздух взметнулась очередная ракета.

— ¿Mariguana, señor? — предлагают ему какие-то прошаренные молодые ребята с хэдбендами. Он берёт косяк и делает пару крепких затяжек.

Скелет... Он не был единственным «скелетом» в этой ликующей массе и вовсе не бросался в глаза. Были здесь и люди в костюмах: ходячих мертвецов, демонов, маньяков из американского кинематографа, вурдалаков, гоблинов, пришельцев — кто во что горазд: маски, грим. *Рохо* повеселила девушка с окрашенными в красное волосами. Из макушки её торчала картонная сабля. Рядом с ней разговаривала по мобильнику «смертушка» с припудренным лицом, густой тушью и чёрной помадой, как и положено — в мантии и с бутафорской обёрнутой фольгой косой.

На углу стоял небольшой гробик с надписью «toc! toc!» Вокруг роились дети. Изнутри то и дело раздавались щелчки и стуки. Кто-нибудь смелый подбегал и кидал песо в небольшое отверстие. На мгновение звуки прекращались. Крышка со звоном отлетала вбок, и наружу выскакивал опутанная цепями «мумия». Дети с щенячьим восторгом бросались врассыпную. «Мертвяк» бегал за ними, затем возвращался в своё логово и снова: «Тук-тук». *Рохо* с умилением наблюдал за этой картиной. Вот он, настоящий праздник, а не та убогая американская пародия с тыквами.

Солнце практически догорело до горизонта. В тёмном небе танцевали прожекторы, будто в сорок третьем году. Над городскими крышами он различал острые макушки кипарисов. Решил, что хватит шататься в поисках халявного мескаля — игнорировать приглашение

не комильфо. У девушки в костюме оборотня он осведомился, где Panteon General. Оказалось, что всего в паре кварталов. Надо поспешить.

Возле кладбищенских ворот он встретил того самого работягу в соломенной шляпе, который поделился с *Рохо* и ещё много с кем мескалём. Тот ковылял, то и дело вытирая рукавом кладбищенскую стену, как зомби, затем остановился, посмотрел на остатки пойла в свете фонаря и на плавающего там червячка.

— Pero que bien sería morir así... — тихо бормотал он себе под нос, глядя на червяка. — sumergido en un mar de alcohol... Ojalá yo.

Рохо взял из его рук бутылку и допил последние несколько глотков. Червяк теперь лежал на дне.

— Gracias, amigo. Vete a dormir. Buenas noches.

В ответ работяга только кивнул и поплёлся в сторону собственного дома, а *Рохо* переступил порог кладбища.

«Пантеон Дженераль Оахаки-де-Хуарес» оказалось довольно большим и ухоженным кладбищем, не таким большим, как Пантеон-де-Долорес в Мехико-Сити, конечно, но более уютным.

Как и полагается — тяжёлые, высеченные из камня католические кресты с надгробными плитами, но без оградок. Могилки расположены достаточно тесно друг к другу, так что весь ландшафт напоминает тетрадный лист, обведённый рамкой вымощенных плиткой дорожек. Зато оформление у могил строго индивидуальное. Местные мастера своё дело знают, так что найти даже два одинаковых захоронения на кладбище весьма непросто. В этой пестроте попадаются и фигурки ангелов, и те же самые черепа, небольшие склепы для тех, кто побогаче, и украшенные орнаментом надгробные камни, призванные сохранить индивидуальные черты покойных. Например, на могиле заядлого чорро, может быть изображён он сам на встающем на дыбы коне. Под медленно покачивающимися кронами деревьев им всем должно спаться спокойнее. Кроме захоронений в земле на кладбище имелся мавзоль с крытой террасой, непосредственно пантеон — в нём несколько тысяч выемок для останков покойных.

В «День Мёртвых» ближе к ночи тихое, пустынное место раз в год преобразуется необыкновенным образом. Взору *Рохо* предстало нечто волшебное: бесчисленная россыпь свечей — на крестах, на могилах, в ячейках мавзолея, который ему напомнил фасад многоквартирного дома из родных мест. Хорошее сравнение для этого праздника — дом мёртвых и дом живых. В тусклом мягком освещении, обилии воска, еле уловимом его аромате становилось спокойно, и радостно, и вместе с тем лица касалась тёплая грусть.

На кладбище людно, царит во всех смыслах общее оживление. Гуляет народ: живые и мёртвые. Одни отдельно от других, почти не пересекаясь. Народу столько, что кажется, будто вышел на гульбища целый Седлец.

Внимание *Рохо* привлёк молодой парень в футболке национальной сборной по футболу и камуфляжной панаме. Он сидел на могиле отца, прямо на плите. На камне был изображён усатый человек с твёрдым подбородком и невозмутимым выражением лица, рядом были изображены марксистские символы. Парень потягивал мескаль и болтал о делах семейных, уставившись в пустоту. Перед освещённым свечами и украшенным цветами надгробным камнем стояли в ряд пять рюмок с мескалём. *Рохо* подошёл ближе и заметил, что отец сидел рядом. С помощью аромата он поднимал рюмки и выпивал одну за другой, внимательно слушая рассказы сына.

— *Nunca vi a tantas celebridades aquí,* — изрёк отец, оглядевшись. Он никогда не видел здесь «столько знаменитостей».

Сын продолжал, потом поднял бутылку в воздух. Они чокнулись. По крайней мере, один не мог видеть и слышать другого, хотя возможно ощущал его присутствие.

Над одной из могил росло странное дерево. Из земли выдавался на аршин прямой тонкий ствол, затем он делал странный изгиб, напоминая фигуру африканской женщины. А вот куст рядом напоминал уже торчащие из земли кости. Девушка в джинсах на могилке старшей сестры тихонько пела католическую молитву. Он остановился и стал внимательно слушать. Какой приятный у неё голос. Но вдруг его окликнули:

— ¡Rojo!

Он обернулся. Огибая могилы с тяжёлыми высеченными из камня крестами, к нему направляется не кто иной, как Панчо Вилья собственной персоной. В тусклом свете свечей *Рохо* различил острые кончики его усов.

— *¿Vuelves con nosotros, chico? ¡Me alegre por ti, aunque no seas mexicano, pero tampoco eres un simple gringo! ¡Amigo de Pancho Villa!* — Вилья рад видеть своего иноземного друга пусть и не мексиканца, но и «не простого гринго».

— *Me alegre por la buena compañía. Ya estoy cansado de ver como los vivos manosean a las mujeres.* — *Рохо* говорит, что рад хорошей компании и уже устал смотреть, как живые лапают баб на празднике.

— *Aprovechaste la propuesta, bien hecho. Vamos, te presentaré al presidente.* — Вилья хочет представить его президенту.

Рохо и Панчо Вилья идут по усеянному лепестками бархатцев дорожкам Пантеон Джeneralь.

— *¿Cómo es que no te mataron por segunda vez, bandido?* — *Рохо* лихо спрашивает, как такого бандита до сих пор носит земля?

Вилья насмешливо грозит пальцем.

— *¿Quién es tu señorita, Rojo?* — Вилья замечает букет у него в руках и интересуется, кто его сеньорита? — *¿No es posible que sea La Yorona?* — Сама Ла Йорона. Не иначе как.

El Día de los Muertos — гуляют бандиты и поетас. Свечи, мимо которых они проходят, колышутся едва заметно. Вилья разглагольствует и жестикулирует в своей манере:

— Ustedes en Rusia también tuvieron una guerra contra los ricos hace cien años. Una vez pensé que si volvía en cien años, Pancho Villa no reconocería México. Que este sería un país completamente diferente, no peor que los Estados Unidos, malditos sean. ¿Y ahora qué? Tumbas de soldados, tumbas de bandidos, traficantes de veneno. — Вилья рассказывает про кладбища наркоторговцев в Чиуауа. Итальянская поговорка гласит: когда игра подходит к концу, и пешка, и ферзь падают в одну и ту же коробку. В Мексике это работает иначе. Бандиты из картелей выстраивают склепы размером с хороший особняк, чуть ли не с гаражами для машин и бассейнами. Он говорит, что в его время считалось, что бедняку не может принадлежать иная земля, кроме той, в которой он лежит.

— Por eso, estos tomaron las armas y junto a Pancho Villa lucharon por la tierra para que esta le pertenezca a la gente y no para enviar drogas a los malditos gringos! — «Поэтому он брал в руки оружие и вместе с Панчо Вильей сражался за землю, чтобы она принадлежала людям, а не чтобы возить дурман проклятым гринго!» — резюмирует свой рассказ генерал.

Рохо вспомнились махновцы.

Президент Мадеро прохаживается возле склепов с зажженными свечами.

— Presidente, este es Rojo de Vtorcharmetto. — представляет Вилья заморского друга.

— ¿Dónde queda ese lugar? — уточняет президент Мадеро. Он впервые слышит про Vtorcharmetto. «Где такая земля?»

Вокруг только и разговоров о недавнем землетрясении, непрекращающейся нарковойне и о лицедее, который случайно преставился на Пасху прямо на сцене... Говорят, ошиблись узлом. Вот оказия. И несчастный предстанет теперь пред Судом в одеждах казначея. О, несчастный! Впрочем, судят там не по одежке.

Вилья встретил какого-то товарища по войне и удалился к нему. *Рохо* поднял голову и стал наблюдать, как по небу плывут бумажные фонарики: триста шестьдесят две штуки. Это души стремились теперь к океану. Души-фонарики как стая птиц мигрируют по небу, попадая иногда в свет прожекторов, а под ногами — бархатцы, хризантемы, ноготки, маленькие свечи.

Морелос и Идальго-и-Костилья сидят друг напротив друга на надгробных плитах местных. «Хозяева» плит относятся к ним с особенным почтением, угощают принесёнными им родней ofrendas: хлебом, фруктами, пульке.

Рядом с *Рохо* какой-то толстый отдавший не так давно богу душу фермер, уже изрядно пьяный от пульке заплетающимся языком указывает на них на всех пальцем:

— Señor, ¿me puede cambiar mil pesos en billetes de cincuenta?!

И зычно ржёт. На него не обращают внимания. «Разменяйте тысячу песо по пятьдесят», — глуповатая, сугубо местная шутка.

Своей компанией прогуливаются Троцкий, Серж и Франциско Морено. Троцкий о чём-то вещает товарищам, коих видит нечасто, Серж вставляет свои замечания и возражения, Франциско молчит. Его старшие русские товарищи, хоть и свершили социалистическую революцию в своей стране, но, так же как и он, не дожили до мировой, впрочем пока никто не дожил. Но Троцкий по-прежнему врёт... «De nuevo miente como Trotsky», — вспомнилось *Рохо*. Деятели замечают его и подают знак, кто рукой, кто кивком — и продолжают какую-то, по-видимому, очень важную болтовню о судьбах мира.

Тут же старик Джордж Бернард Шоу недовольно фыркает в их сторону, что с него взять?

Нелюдимый и беспокойный, мимо прошмыгнул Ани со своим свитком. И охота же таскать с собой такое чтение? Видимо, иначе никак, иначе можно потеряться. Фигурка ушепти, эдакий загробный батрак, так же остаётся при нём.

Говорят, опять не видно Хесуса Мальверде. Он вообще никогда не появлялся, хотя какие-то живые почитают его как наркосвятого, как бы чудовищно это не звучало. Кто-то говорит, что он ни разу не спускался сюда, потому как святой. Злые языки утверждают, что он ни разу не возвращался, потому как не существовал вовсе.

Опять нет ни Фриды, ни Диего. Кажется, их видел на празднике Троцкий, но очень давно. Фрида, по правде сказать, не хотела когда-либо возвращаться. Так и написала в дневнике незадолго до ухода. Может быть, дело в этом? Да, давно примечено — чаще других возвращаются те, кого в конце ждало какое-то насилие. Желание вернуться у таких превращается в непреодолимый зуд или же фантомную боль...

— *Saludos*, — вновь услышал он знакомый голос. Неподальёку, облокотившись на дерево, в его сторону смотрел капитан Фортино Самано. Широкополая шляпа, пиджак и ухмылка — всё при нём. Всё оставалось прежним с того момента как он докурив последнюю сигарету. Последнюю ли? — *¡Dame para fumar, amigo!*

Шагает прямо по надгробным плитам, старается держать равновесие, не вытаскивая рук из карманов. До последней секунды капитан повстанцев сохранил столько достоинства и самообладания, сколько смог. И теперь чурается стен, и руки по-прежнему держит в карманах, и курит так же, не стряхивая пепел.

Рохо достаёт сигарету из пачки, капитан ловит её ртом. Затем достаёт коробок спичек с изображением аэроплана.

— *¡Aeroplano! Malditos pájaros...* — Самано объясняет свою любовь к авиации, потом замечает букет под мышкой *Рохо*. — *¿Quién es tu soldadera?*

— *Solo mi musa borracha.*

Последнее звучит, словно пара пароль/отзыв: «Кто твоя солдадера?» — «Моя пьяная муза».

Капитан понимающе кивает:

— Gracias, Rojo. Nos vemos.

«Памир» почти закончился, почти всё скурил. Из двадцати штук осталось лишь две.

Он всё ещё надеялся пересечься с Мануэлем Акуньей, и где он бродит? Поймать его и заставить читать стихи. Рохо нравился их мексиканский «золотой век» после победы опять же над французами. Тем более, что с его-то родным испанским стихи из головы никому не девались, не то, что у некоторых...

Рохо замер. Группа людей проходила мимо. Их одеяния, выражение лиц, причёски — происходили из глубины времён, когда на этих землях уже рос тысячелетний таксодиум, но ещё не ступала нога европейца, когда людям вырезали сердца на вершине пирамид, дабы вернуть богам их красный сок. Ацтеки... Пятеро. Четыре война, но это только свита, потому что пятый, судя по золотой короне, крупным серьгам с перьями птиц, кольцам, ярким узорчатым одеж-дам благородных тканей — Правитель.

Рохо видел его впервые, но понял кто это.

Это Несауалькойотль, не может быть сомнений, поэт на троне! Акунья много рассказывал про него. Выражение лица царственное: возвышенно-надменное. Взгляд пронизывающе-твёрдый, когда он смотрит на тебя, но стоит ему уйти в сторону и внутри начинает читаться что-то печально-сосредоточенное, присущее уже скорее философу. В стихах и гимнах он тоже пытался постигнуть феномен жизни и двух черт, пересекая которые, душа оказывается в этом мире на какое-то время. Вторая черта волновала его особенно. Знакомая история.

Интересно, теперь-то он познал Великую Тайну? Но узнать едва ли получится. Как и предупреждали, царь всегда молчит, лишь бросая по сторонам копыя взглядов. Знает ли он испанский, никому неизвестно. Все трепещут от его вида даже по эту сторону.

«Макуатиль» при нём. Это такая дубина, утыканная лезвиями обсидиана. Кто теперь скажет, что верлибр не поэзия — рискует огрести этой штукой. Этот точно с критиками церемониться не будет. И воины вокруг него — с такими же «макуатильями» и щитами. Ацтекские воины тоже занимались в свободное от жестоких боен и не менее жестокого древнего футбола время сочинительством поэзии.

Но вот, процессия удаляется... Праздник продолжался, но развязка уже близка.

Вилья по-прежнему прохаживается по кладбищу и болтает, с кем хочет, много и в красках описывает свои похождения, всегда с бравадой, долей самолюбования, и не слишком интересуясь собеседником. Периодически он напяливает круглые очки, чтобы прочитывать что-нибудь. Эта удивительная деталь превращает его в эдакого интеллигента с бандольерами.

Неподалёку на могильной плите сидит Джоан Воллмер, рядом взад-вперёд прохаживается Харт Крейн. Там же стоят ofrendas, ко-

торыми их, по-видимому, угостили местные: бутылка текилы, дыня, бананы и хлеб. Джоан уже хорошенько поддала, а Крейн, ещё один залётный поэт, чем-то был слегка обеспокоен.

— Harold, — обратилась она к спутнику. — Llama a alguien, que tome con nosotros. — «Пригласи кого-нибудь, пусть выпьет с нами».

Здесь все гости говорят на испанском, на языке праздника El Día de los Muertos.

Джоан составила из маленьких свечей крестик. Ей потребовалось восемь штук. Подошёл *Рохо* и добавил ещё две — для косой черты. Он хотел было подарить букет бархатцев Джоан, но затем передумал — была идея получше. Зато составил им компанию, хоть и относился к этой богеме без особого пиетета.

И вновь его спрашивают, кто его сеньорита.

Мимо них проходит мариачи с гитарой. Красиво наряженный, вроде тех, что передали ему днём приглашение. Он останавливается возле одной из могил и сверяется с запиской. Час поздний, но заказ есть заказ, а музыку здесь заказывают не только живым, но и покойникам. Начинает одиноко и неспешно тревожить своими переливами гитара. Что удивительно, это фламенко, знатный гость в мезоамериканских широтах. Закончив вступление, мариачи поёт так:

El que se tenga por grande,
Que se vaya al cementerio,
Y verá lo que es el mundo...
Y verá lo que es el mundo,
Es un palmo de terreno.

Вскоре *Рохо* окончательно утомился от общества и живых, и мёртвых. Хотелось уединения. Хотелось вновь видеть более привычный облик кладбища с тишиной, покоем и ветром. Он направился в дальнюю его часть, где, казалось, не было ни души.

Какое-то время он просто бродил среди могил. Надгробия, коих, как уже упоминалось, было великое разнообразие, ранее навели его на мысль...

И как же он раньше не додумался?! Эпитафии! Они давно уже вдохновляют его. Почему бы ни устроить поэтический конкурс? Победителю будет торжественно (без единого свидетеля) вручена премия: букет из двенадцати бархатцев. Премия «Эпитафия»! Конечно, эти надписи на могилах, скорее всего, не принадлежат авторству, лежащих там, но в каком-то смысле принадлежат им теперь по иному особому праву.

Рохо живо принял за «шорт-лист». Вдохновение всецело поглотило и воодушевило его. Появилось чувство чего-то знакомого, ожили смутные воспоминания о прежней жизни, которые со временем, увы, становились всё более и более расплывчатыми.

Свечей здесь, в углу кладбища, было не так уж и много. *Рохо* подходил, садился на плиту и, вплотную приблизившись к надгроб-

бию, читал в темноте со свечкой, иногда даже водил по поверхности пальцем, как школьник. На нём по-прежнему чёрные тонкие перчатки с изображением костей, а под ними кисти до того прозрачные, что можно видеть фаланги, как и у остальных гостей праздника.

Спустя непродолжительное время шорт-лист всё же набрался. *Pохо* попытался запомнить эпитафии номинантов, как можно точнее.

Первая: «*Cálmense ramas, cálmense hojas. No despierten a mi Constanza*». Что значит: «Тише ветви, тише листья. Не будите мою Констанцу». На могиле ребёнка.

Вторая: «*Soy actor. Yo aliviaba el dolor de la gente con comedia y risas. Una persona de roles, a mendo moría — pero por primeva vez así...*» Что значит: «Я актёр. Я успокаивал боль людей комедией и смехом. Человек ролей, Я часто умирал — но так впервые...»

Третья: «*Solo queda la música*». Что значит: «Есть только музыка...»

Четвёртая: «*Cuando yo me muera enterradme si quieres en una veleta*». Лорка? «Memento!» Хорошо, тонко выбрано.

Дело за малым — выбрать.

Он остановился, задумался на секунду и подбросил трость, оставалось всего-то поймать её, но вдруг кто-то с визгом накинулся на него и повалил наземь. Что за дела такие?! Трость звонко стукнулась о вымощенную плиткой дорожку, цилиндр слетел и покатился в сторону. *Pохо* ничего не мог понять.

В мгновение ока, не дав опомниться, его оттащили в большой склеп и бросили на пол.

— ¿Quiénes son ustedes? ¿Turistas? — потирая макушку, осведомился *Pохо*. Нет, на туристов они не похожи.

— Ni un ruido, gringo. ¡O te arrepentirás! — пригрозили ему.

Его схватили четверо... Каких-то *pendejos*. Майки, шорты. Все в наколках, у одного на лице светлого места нет — какие-то узоры, у другого основательно перебит нос, третий седой с козлиной бородкой и шрамами на лбу, четвёртый — просто тупой с выбитыми зубами. Лица у всех весьма ОК. Судя по всему, какие-то новички припёрлись без приглашения.

У всех четверых на черепушках под прозрачными кожей и волосами по третьему глазу. Не то, чтобы редкое явление. У Троцкого, например, третий глаз на макушке, не слишком аккуратной формы. У Джоан Воллмер — на лбу. А у этого квартета у всех — на затылках. Остаётся гадать, кто им их проделал. Может это полицейские везли таких «красавцев» в участок и не довезли через лес. Или же какой-нибудь наркокартель, выловил их шайку киднепперов, загасил всех троих в назидание и подбросил записку с указанием, кто в доме хозяин и будет «защищать простых людей».

Пока тупой сторожит заложника, перебитый нос, седой и клеймолицый на повышенных тонах обсуждают каким образом связаться со своими *deudos* (роднёй), чтобы они связались с *deudos* пленника,

по-видимому, американцами, чтобы те перевели кругленькую сумму, чтобы они отпустили захваченную душу на волю. Клеймолицый вспомнил, что в их деревне был вуду-колдун, который занимался чем-то подобным.

Рохо слушал это и не мог поверить своим ушам. Такой отборный *idiotismo* встретишь нечасто. Неудивительно, что ребята, ещё будучи молодыми, закончили с вышебленными мозгами, видимо пользовались ими недостаточно осмотрительно. В преступности без мозгов никак, чуть поднимешь ставки и...

Как ни удивительно, всё происходящее он воспринимал, как удачно выпавшее под занавес праздника приключение. В голове крутились девяностые «лихие и курносые» в пику «хвостатым и полосатым» восьмидесятым. *Рохо* больше не может сдерживать смех.

— ¿Te causa gracia? ¿Qué hacías aquí, gringo? ¿Estabas de mercenario? ¿Mataste mexicanos? — вопрошает его тем временем тупой. Всех смущают шрамы на прозрачном лице пленника — результат несчастного случая в детстве. Им кажется, что он был солдатом или наёмником и убивал мексиканцев.

— Yo era poeta en un país lejano. Y escribía canciones para la Santa Muerte. — объясняет *Рохо*. Говорит, что был поэтом и писал песни одной знатной госпоже.

С этими словами мгновенно воцаряется тишина. Горепохитители растерянно переглядываются. Двери склепа открываются, и его выкидывают на улицу.

— ¡Adiós, no te metas en más problemas, cabro!

Приключение окончено, а вот у них все приключения впереди, когда кое-кто узнает, что на гостей праздника нападают. Да, и будет о чём Вилье рассказать, вот уж кто точно надорвётся со смеху: похищение мертвеца, родня с выкупом, колдуны вуду...

Рохо поднимается с земли и довольно ковыляет к месту непродолжительного похищения. Отряхивает цилиндр с бархатцем, подбирает трость и букет, на который напавшие на него *penpejos* умудрились наступить.

Он вспоминает, на чём остановился, перед тем, как его отвлекли. Ах да, премия «Эпитафия». Второй раз трость можно не подкидывать. Если уметь прислушиваться к сердцу — муки выбора покажутся чем-то излишним.

Concepcion Garsia Suárez (1916–1995) и надпись «Solo queda la música». Фотография, по-видимому свадебная. Он стёр пыль с камня, принёс несколько свечек, одна потухла, пришлось оживить её с помощью спичек с аэропланом. *Рохо* возложил обещанный букет из двенадцати бархатцев на плиту. Может эти *ofrendas* помогут ей вернуться в следующий раз. Могила неухоженная, остался ли у неё тут кто-нибудь? Спросить бы, что значит эта строчка. Спросить бы и у самого себя?

Кто ж мог знать, куда заведут пути? Знал бы — заблаговременно перевёл бы всё написанное на *español*. Хотя... Сколько теряется

при переводе поэзии? Восемь десятых, а то и больше. И невозможность писать прозой — самая, что ни на есть трагедия, а muerte — пожалуй это проза... Одна из жизненной триады, в которую помимо неё входят ещё поэзия и путеводная звезда... Красная ли? Под которой родился, либо та, что скребёт антенны панельных домов.

Ещё большая трагедия, неустанно пытаться вспомнить свою жизнь и с каждым разом обнаруживать, что ещё пара крупиц сгинула в небытие. Что-то забывалось: может быть, очередная поэтическая химера? Или же несостоявшаяся музыкальная карьера? Это объясняет, почему столько музыки вокруг. Он когда-то писал об уже упоминавшемся другом рыжем поэте и выразил надежду, что забудется хотя бы треть. Так и случилось. Memento некогда реально имевшей место жизненной биографии и memento поэзии неотвратимо смешивались, растворялись друг в друге, так что отличить одно от другого становилось всё сложнее. А главное, как ни силился, он не мог вспомнить, как пересёк черту.

Кажется, ещё при жизни базарная гадалка говорила ему об этом, и слова её звучали убедительно.

Кажется, это было убийство. Двое: один в сером плаще (судя по всему VV-шник) и второй в рыжей робе под нижнетагильским дождем. Вывели в чистое поле и пальнули разок, чтобы понял, чтобы трепетал, а потом — и второй, чтобы уж насовсем — из милости. Оставили на косогоре. Нет, кажется, орудием убийства была строчка про торт «Букет», после которой уже ничего нельзя было исправить.

Нет, кажись, всё было гораздо забавнее. Он ведь писал стихи, так? И нередко списывал героев с природы. И нередко убивал их потом. Иногда курьёзно, по нескольку раз. Возможно, один из таких героев во время отсидки раскрыл как-то раз толстый литературный журнал и обнаружил роковое сходство. Тут же решил по откидону вальнуть наглеца борзого, но совсем не по-лермонтовски. Подстерёг в подъезде возле входной двери и, лыбясь золотым зубьём, изрёк жеманно: «Кушай маслину, пленник муз», — достал «кулацкий» и пальнул в упор. Закурив, спокойно вышел из подъезда.

Кажется, был ещё один дешёвый уркаган, который как в фильме ужасов преследовал его повсюду с топором. Однажды убежать надоело, он вооружился, развернулся и отправился ему навстречу на глазах честного люда. Дело, видимо, свершилось худо. Его предсмертному виду возмущались и попрекали тем, что накапал на ковры кровью. И к утру на диване с больной головой это случилось. Только вскрикнула Аня.

Или же он погиб от собственной руки. От чёрного пистолета. «Маузер», «Браунинг», ТТ? Однако ж собственной дачи с лесом и речкой что-то не припомнится. Нет, не то.

Там, где это случилось, был чёрный снег? осенний ветер? холодный парк? разрушенная арка? На исходе минувшего века, помнится, он приглашал за стол всех мёртвых. Как это теперь знакомо!

В прошлое лучше на *tranvía*. Вспомнилось вот, как стоял как-то раз на остановке Сухоложской и в ожидании «пятёрки», «десятки» или «двойки», крутил самодельные нунчаки и так увлёкся, что не заметил, как из двора вырулил ментовской коробок. Двое сняли с плеч обрезанные калашаи, клацнули затворами и взяли пассажира с нунчаками на мушку. Третий мент, испуганно дыша и так же держась за ствол, дрожащим голосом попросил бросить холодное оружие и проехать с ними. Нашли до чего докопаться... Чем дело закончилось, память опять же не сохранила. Затащили ли его в мусоровоз и отвезли в обезьянник, потом в дурку? или же там же на Сухоложской перекрестили парой очередей и там же всё и закончилось? или же надели наручники, сломали нунчаки и отмудохали сапогами для профилактики? «No recuerdo».

Вспоминались картины и совсем странные и безумные. Будто расстроенные горожане собрали механического робота и нарядили в его старое пальто. И этот робот разгуливал по скверу на Титова, а кроме этого в дни памяти занимали актёра (прямо как в вечной песне американского коллектива), чтобы тот выпивал с его корешами. Пожалуй, с роботом — это перебор.

А до того были похороны на безымянном кладбище на пару с Д. или с Л. Не может такого быть! Они ж до сих пор живы, в отличие от кореша, которому не довелось вернуться с перетёрки в Туле.

Прилетал ангел смерти, цепанул крыльями последнюю листву в холодном парке и покрыл его крестями, их вечной козырной картой. Разухабистая песня разнеслась по дворам трущоб. Ехал в синее небо на газике (с ангелом, видимо). Потом был жёсткий разговор о друзьях, с коими водился. Отповедь, фрагмент которой врезался ему в память. Тем временем в его опустевший дом пришёл добрый серый волк и лил слёзы.

К тому моменту, когда его достали и приступили к переписыванию, он уже оказался в Мексике и стал русским... Нет не богом, но гостем.

Почему именно в Мексике? Потому что там, откуда он родом, расстаются навсегда... Под этим ведь тоже подразумевается *muerte*. Или, если брать шире: любой обряд перехода из одного состояния в другое: стал инженером — поэт умер, например. В осени, замёрзшем фонтане, пустырях, в фонарях, оплакивающих лето, — тоже *muerte*. Она встречалась ему много в чём, всего и не перечислишь.

Её часто представляют старухой, но она оказалась с большими чёрными очами в белых одеждах, совсем молодая девушка, которую Бог, как верят некоторые местные, отправил на землю помогать людям. Они поклоняются ей как святой и называют Санта Муэрте.

Он когда-то ходил с ней под ручку и называл именем одноклассницы, посвящал ей стихи. Она на цыпочках ходила за ним по пятам. В итоге не все его стихи оказались комплементарны. Например, он писал, что умирать — отвратительно всегда. Между тем, стре-

мился в её объятья, как другой настоящий поэт. Тот писал в письме, что любит «el arte, los niños y la muerte». И она польщённая забрала того поэта от греха подальше в лихую годину, однако ж речь сейчас не о нём...

Чтобы понять, что же всё-таки случилось с *Рохо*, понадобится небольшое лирическое отступление с простым и доходчивым примером.

Итак, поэзия — это прежде всего язык, осознанно недоступный для прямого обыденного понимания, подобно всем сакральным языкам. Истина в поэтическом языке *почти* никогда не транслируется напрямую, предпочитая витиеватые пути аллюзий и переносов. «Почти» — потому что, в каждой поэзии неизбежно наступает момент прямого лирического высказывания.

Вот, скажем, твоя творческая задача — сказать: «Один, два, три, четыре, пять, шесть». Как это выглядит?

Тебе нужно сказать «один», ты говоришь: «Но в этой бездне шепотов / Встает один, все победивший звук».

Тебе нужно сказать «два», и ты говоришь: «Моя так разгадана книга лица: / На белом, на белом — два серые дня!»

Тебе нужно сказать «три», и ты говоришь: «Опять, как в годы золотые, / Три стертых треплются шлеи».

Тебе нужно сказать «четыре», и ты говоришь: «Четыре. / Тяжелые, как удар. / "Кесарево кесарю — богу богово"».

Тебе нужно сказать «пять», и ты говоришь: п я т ь .

Потом тебе нужно сказать «шесть», и ты говоришь: «Кричит наш дух, изнемогает плоть, / Рождая орган для шестого чувства».

Когда именно в поэтическом языке настанет момент прямого лирического высказывания, может определить лишь погружённая в него человеческая душа. В вышеприведённом примере — на счёт «пять», хотя оно могло бы оказаться на любом месте. Суть в том, что избежать его становится невозможно, помимо желания автора. И если на поэтическом языке тысячью различных способов настойчиво произносить «muerte», то рано или поздно эта сущность так или иначе воплотится, но, будучи концептом особым, она не предполагает, чтобы что-либо оставалось прежним. Того, кто приносит ей дары, она заберёт именно тогда, когда сочтёт подходящим. Например, произнесёт приговор устами ребёнка: «Хлебик большая», — и явится следом. Но к тому, кто своевольно бросится в её объятья, она будет строга, ибо считает таковых нахальными глупцами...

Рохо огляделся. Вокруг столько черепов, жаль Черепахи здесь нет, раздули бы... И не только Черепом единым, жаль что El Día de los Muertos не празднуют в Питере, Роттердаме, в родных краях. Воспоминания о доме давались тяжелее всего. Страшно было бы возвращаться, и страшно хотелось ну хоть на мгновение, ну хоть одним глазком... Рядом со склепами на полке он заметил накрытую на случай дождя полиэтиленом Книгу. *Рохо* снял перчатки и взял её в

руки. Пусть библиотечный летун разрешит сей вопрос. Закрыв глаза прозрачными пальцами, под которыми виднелись фаланги, он, как Достоевский, открыл произвольную страницу и ткнул наобум. Его взору предстало «Numquam»¹, совсем рядом были «dicentes» и «arraquit». Ответ показался ему вполне однозначным.

Он уже спрашивал об этом, но всякий раз попадал именно туда.
— Nunca más... — повторил он вслух и закрыл Книгу.

Праздник подходил к концу, свечи одна за другой затухали, гости исчезали, триста шестьдесят два фонарика улетели в сторону океана по ночной глади, ещё до рассвета они будут там.

Парень в футболке национальной сборной в обнимку с бутылкой спал на могильной плите, спрятав лицо под панамой. Отца его уже не было рядом.

Возле арки, ведущей в город на высокой стене, окружавшей Пантеон Дженераля, трудился художник. *Рохо* припоминал его, кажется, его звали Паален. Стену он выбрал, как холст. Вместо красок у него были угли, мел, несколько свечей — он использовал воск и копил какие-то узоры огоньком. Кроме того, рядом с художником горел совсем маленький костерок, на котором стояла небольшая железная кружка, внутри в кипящей воде были всё те же *Flor de Muerto*, густой оранжевый краситель. Весь день, наверное, потратил... Само изображение на стене, весьма масштабное со множеством фигур и очертаний едва ли поддавалось посюстороннему пониманию. Может быть, Паален воспроизводил какую-нибудь из своих картин или же пытался изобразить нечто из виденного *по ту сторону*. Бедняга. Знает ведь, что к утру весь этот сюрреализм исчезнет, и плоскость стены вернёт себе прежний розоватый оттенок с потёртостями и трещинками. И всё равно торопится закончить свой труд. Рукописи, положим, не горят, а что же происходит с картинами?..

Пока *Рохо* наблюдал за художником, с кладбища на пустую улицу вышла скромная девушка. Та самая, что пела сестре. Понуро уставившись в асфальт и спрятав руки в карманах джинсов, она направилась домой. Он пошел следом — поздно уже, тем более что где-то поблизости может шариться четвёрка залётных *pendejos*. На сей раз его трость при нём и шнырей ожидает горячий приём, если вдруг покусятся на девушку...

Проводит её незаметно до дома и баста.

На улицах было пустынно, кое-где мусор от минувшего торжества, изредка проедет *policiá*.

Хотелось ещё послушать её пение, но девушка молчала. *Рохо* она не замечала, хотя он шёл в двух шагах, рядом. Даже не слышала, как стучит его дендистская трость. Но вот девушка зашла за ка-

¹ (лат.) «Никогда».

литку в маленьком дворике между двухэтажными домами, в одном из которых ещё горел свет. *Рохо* остался на улице, не рискнул переступить порог человеческого жилья.

Он отправился в горы, двигаясь теперь всё быстрее и быстрее. А ведь утром этот далёкий мексиканский город снова проснётся и будет жить как прежде, а человеческая душа сбросит эти лишние кости и вновь станет невесомой и тонкой, способной прошмыгнуть сквозь венец уховёртки.

С вершины гор, окружающих Оахаку, городские огни напоминают всё те же свечи. Как их не задувает ветер, колышущий кустарники и травы? *Рохо* достаёт из пачки «Памира» последнюю, прикуривает от спички, делая руки домиком. Потом смотрит на изображение на пачке, его разбирает смех, как того генерала повстанцев, перемотанного бандольерами. Сминает пачку и бросает её под ноги. Вот так, под занавес этого *retablo*, дым летит прочь, вослед за ним — и пепел. Он готовится ещё раз повторить упражнение с тростью. Нет!.. Не надо точек над «ё»! ¡No es necesario!

Во тьме ночи появляются очертания поднимающегося в гору человека. Он приближается к *Рохо*. Это Харт Крейн. Идёт медленно, пинает камни. Спустя какое-то время со стороны города появляется ещё один. Это Мануэль Акунья. На пути к вершине он огибает кустарники, часто оглядывается на город. Когда все трое оказываются рядом, облака расступаются, и оттуда выныривает «Летучий голландец». Капитан Лаперуз, сбрасывая канатную лестницу, произносит длинную тираду из самых отборных сквернословий французской маринистки. Суть её — указание проклятым плебейм немедля подняться на борт.

Рохо медленно забирается последним. Капитан продолжает кричать и материться по-французски, корабль, скрипя всем, чем можно, висит в воздухе. С цилиндром и тростью не так просто забраться вверх. От порыва ветра выскальзывает бархатец с полей его шляпы. Он падает вниз, на траву и остаётся там.

Конец Августа — осень 2017 г.



Анастасия АНДРЕЕВА

/ Брюссель /

* * *

*Хорошо гулять по небу,
что за небо! что за ним?*
Л. Аронзон

это — наше с тобой,
и не надо ждать лучших времен.
отдадим ключи и успеем на трехчасовой,
заберемся наверх и будем считать сквозь сон:
солнце, залив, сверчок, сосна, зверобой.
поезд в лето с разбега нырнет, ободрав бока
о бетонные стены туннеля, и вспыхнет река,
и расправит ласточка небо острым крылом,
и по этому небу мы будем гулять босиком

* * *

и чтобы там ни говорили, чего бы там ни обещали,
сегодня рыбы наловили и угощали нас лещами.
сидели за столом все вместе, кто говорил, кто втихомолку.
звонило солнце в колокольчик, и тучи шла головолонка.
не нужно было торопиться, неважно, что совсем чужие.
играли над водой зарницы, кружили чокнуто стрижи, и
мелькали в воздухе вечернем стрекоз лучистые качели.
и нам казалось, что иного мы никогда и не хотели

* * *

сирень подстригает отрок неместный,
нервно дрожат кудрявые кроны,
птицы же в поиске нового места
топчутся по перилам балконным.

кофе остывший, несрочные письма,
вещи в дорогу складывать рано.
кошка постигла азы даосизма
и левитирует над диваном.
так начинался мой день в понедельник,
в пятницу начинается так же.
лето, затишье, живу как отшельник,
иногда как бездельник даже

* * *

против течения улиц встали дома-корабли,
ветер гонит над площадью волны осенние,
солнце от холода прячется у деревьев внутри
и превращает их в золото на мгновение.

черные птицы ищут в опавшей листве-чешуе.
что они ищут, о чем их дневная работа?
день разгорается, по-детски радуясь мне,
будто и я в этом мире нужна для чего-то

* * *

солнце над головой кружится голова
от бессонницы даже не снится покой
а из земли бьет ключом изумруд-трава
треплет цветущие вишни ветер хмельной
город восторженно падает в синеву
неба которое плещется через край
если тебя сейчас вспомню то позову
но и тогда ты промолчи не отвечай

* * *

от ливня спрятавшись на остановке
автобус жду о вечном размышляя
вблизи мадам авоськами неловко
жонглирует и с ней собачка злая

старик отряхивая тюбетейку
с надеждой изучает расписание
целуются подростки на скамейке
непостижима сущность мироздания



Руслан ОМАРОВ

/ Париж /

ТЕЛЕЦ И КУЗИНА

Моя взбалмошная кузина держала небольшой шутовской двор из поклонников: функционеров ВЛКСМ, доцентов партийной школы и молодых аппаратчиков Минкульта. По средам она делала приемы в просторных дядиных апартаментах. Бывало, ангажировались на эти суарэ и бродячие сказители, и храбрые паладины хозяйственных битв, и мрачные пророки-диссиденты. Встречались и просто лихие авантюристы, прибитые к берегам сестриногo тщеславия беспорядочной тектоникой советского андеграунда. Нравы там царили декадентские, в речах допускалась вольность, граничащая с безрассудством. Сама кузина выходила к гостям в изысканных нарядах, один другого откровенней, а то и вовсе обходилась без них. Родители, разумеется, запрещали мне бывать у нее, и я, разумеется же, не пропущал ни единого вечера.

В мою тринадцатую весну заезжий кавказский княжич, пылкий студент-романтик, обласканный кузиной, пал беспомощной жертвой ее колдовских чар и признался ей в своих чувствах в таком катрене:

Лезвием, лезвием слепо безжалостным
 Вскрыто мне сердце — как время — гремящее!
 Век мой исчерпан тобою... Осталось
 Тонкой свечой догорать — Настоящее...

Гости отвели взгляды от бледного чтеца и обратили лица к хозяйке. Она полулежала в экседре на софе и слушала невнимательно, листая томик Монтескье.

— Ах, Николая, — сказала кузина, — размер вы украли у Мандельштама, а образность, должно быть, у Блока. Или наоборот? Неважно, потому что стихи ваши глупы и беспомощны. Но я прощаю вас, плут!

От щек несчастного можно было прикуривать, он стушевался и скрылся среди гостей. Мне стало жалко его.

— Это, право, скучно, — беспечно продолжила кузина. — Развлеките же меня чем-нибудь новым, товарищи! Неужели во всей империи не случилось в эти дни ничего, достойного просвещенной беседы?

— О, блистательная донна, — немедленно откликнулся кто-то, — известно ли вам, что в Энском животноводческом объединении на апрельские календы — в прошлое новолуние — родился телец, обликом удивительно похожий на Ленина?

— Нет, — оживилась кузина, и все зашептались. — Расскажите же!

— Сударыня, это святая правда, — вступил в разговор полковник-генштабист, сидевший у ее ног. — Белая холмогорка понесла от золотистого быка и разродилась наместни. Действительно, телец своими чертами напоминает молодого Ильича! Авгурьы из аппарата ЦК уже были там и засвидетельствовали волшебное знамение. Политбюро толкует его в том смысле, что в эту пятилетку нас ожидает окончательное торжество ленинских принципов в научной организации труда и культурном развитии масс. Поэтому на Пленуме готовятся провозгласить новую эру в социалистическом строительстве.

— Сие есть небесная примета вырождения марксизма, — буркнул бородач, равно близкий и к Московской Хельсинкской Группе, и к Пятому управлению КГБ. — Наши предки гадали по полетам птиц и по Книгам Сивиллы, а не по рождению богомерзких уродцев. Режим прогнал изнутри!

— Ах, товарищи, — прошептал инструктор горкома, — предсказано ведь было еще Горьковским Старцем, что на восьмую декаду явится Телец, отмеченный печатю, и оный будет означать глад и разруху!

Некоторые, услышав его, украдкой скрестили пальцы.

— Все это вздор, — задумалась кузина. — Впрочем, вот что! Я желаю взглянуть на этого тельца. Мне кажется, услышав стук его сердца, я обрету некое тайное знание и силы повелевать историческими стихиями. Итак, товарищи...

Она привстала на своей софе и показала жемчужные зубки. Глаза ее загорелись, кузина уже воображала себя новой Медеей. Всем здесь знаком был этот взгляд!

— Тому, кто отведет меня к тельцу и оставит меня с ним наедине, я позволю провести со мной ночь там, тогда и так, как он сам того пожелает!

Мгновенно звенящая тишина воцарилась в салоне. Брошены были карты, забыты интриги. Чья-то рука не донесла флакон с ядом до чужого бокала. Десятки повлажневших мужских глаз сосредоточились на хозяйке.

— Телец уже отнесен к номенклатуре ЦК, — осторожно заметил полковник, — и переведен на режимный объект при святилище Маркса Теоретика. Будет воистину сложно проникнуть туда... даже вам, моя госпожа!

— Вы слышали меня! — нахмурилась кузина.

Уходя оттуда, я вновь встретился с Николая. Князь стоял на лестничной площадке, темный и молчаливый, словно призрак мщения. Он взял меня за плечи и поднял в воздух.

— Ваша кузина... — сказал Николай, — посмеялась надо мной. Знайте же, что я теперь покидаю этот дом! Но я еще вернусь сюда, клянусь Мавзолеем, и вернусь не один!

Его глаза были, как два черных агата, полных предсмертной решимости. Я уже испугался, что он переломает мне кости, но вмешался вдруг малозаметный человечек в дешевом костюме, с самого утра сидевший здесь на подоконнике с бутербродом и рацией:

— Князь, поставьте мальчика на место, иначе начнется война, и сотни благородных коммунистов по обе стороны Кавказского Хребта сложат в ней свои партбилеты. Подумайте о своей семье. Неужели вы этого хотите?

— А-ах! — поэт стиснул в зубах костяшки пальцев. — Будь по-вашему! Передайте ей лишь, что сердце мое разбито, и... вот это письмо!



*Рисунок
автора*

Он сунул мне клочок бумаги и убежал, грохоча каблучками. Взревел мотор такси.

— Дайте мне записку, молодой господин, — ласково попросил человечек с рацией. — Я сам вручу ее хозяйке дома.

Прошло четыре дня. Полковник-генштабист каким-то невыслышим образом добился для кузины разрешения посетить подземный храм. Он явился к ней, светясь погонями и аксельбантами. Чтобы не смущать трудящихся, снаряжен был скромный кортеж из пяти черных автомобилей. Ранним воскресным утром немногие приглашенные тронулись в путь. В древнем сосновом бору на границе двух областей поднялись для нас три шлагбаума. У самого бункера, однако, кортеж был остановлен взволнованными жрецами из идеологического отдела ЦК:

— Несчастье! Несчастье!

— Что случилось? — побелел полковник.

— О, несчастье! Боги Диалектической Триады разгневались на нас! — причитали жрецы, взмахивая рукавами. — Ночью неизвестный проник на объект, вступил в неравный бой с охраной и похитил Тельца. Его догнали, но в перестрелке погибло и священное животное! Тьма и разорение! Тьма и разорение!

— Тьма над Домом Константина-Августа! — злорадно хмыкнул бородач из Хельсинкской Группы. — Зрю конец Старой Империи! Грядет истинный Мессия!

Под реликтовой сосной, помнившей еще языческие времена, сложен был трехэтажный погребальный костер. Кузина, опираясь на трясущуюся полковничью руку, поднялась посмотреть на мертвое животное.

— Что за нелепость! Он вовсе не похож на Ильича, — разочарованно сказала она.

Мне стало любопытно — я встал на цыпочки и выглянул из-за плеч взрослых. Пегий теленок завернут был в кремлевский кумач, а рядом, на атласной подушечке, горел одинокий Орден Трудового Красного Знамени, посмертно присвоенный ему Президиумом Верховного Совета. Кожа на морде срослась неровной складкой, образовав подобие человеческого лица, но ничего ленинского в этих гротескных чертах, конечно, не было. Скорее, оно напоминало образ плачущего ребенка.

— А кто же похититель? — поинтересовалась кузина.

Полковник наклонился к ее уху и зашептал.

— Николя-я... — протянула она грустно. — Oh mon Dieu, quel imbécile!¹ И что за жалкий, бессмысленный жест? Если бы я только знала... Однако, приключение наше не удалось, товарищи, и мне снова скучно. Поедемте теперь же кататься на озера!

УЧЕНИК ЕВРАЗИЙЦА

В отличие от моего отца (англофила и насмешливого картезианца), мой дядя был вдохновенным поклонником евразийства и суетливым мистиком. Втайне он называл себя учеником Савицкого и Гумилева. В своих инспекционных поездках вдоль Байкало-Амурской Магистрали дядя не столько направлял энтузиазм стройотрядов, сколько изучал миграцию и столкновение языков, разорял археологические стоянки, спаивал племена и стада и выводил новые доказательства тысячелетней цивилизационной общности народов Азии и Сибири. С этой платформы он намеревался однажды разбудить Россию и спросонья указать ей путь к

¹ Боже мой, что за глупец! (фр.)

завоеванию Индии. Естественно, он верстал свои теории под марксистско-ленинские постулаты о дружбе народов, потому что в те времена подобная ахиня хотя и снисходительно допускалась, но все-таки не поощрялась. Время еще не пришло... Одно лишь угнетало его — с годами и солями в суставах он терял юнармейский задор, и некому было поддержать его на скользком пути культурно-расового единения обоих полушарий.

На слете комсомольских активистов в одном областном центре, куда занесли дядю крутые маршруты великого строительства, он — из президиума — разглядел в первых рядах слушателей молодого агнца с огромными васильковыми глазами и пригласил того на трибуну, чтобы насладиться его голосом. Юноша (секретарь студячейки) заговорил о громадном трудовом подъеме молодежи и руководящей роли Партии, но все эти заклинания не особенно интересовали дядю. Он с евразийской точки зрения отметил высоту его скул, разлет бровей, пшеничный цвет волос, детскую округлость рта и пунцовость щек, понял, что видит перед собой будущего ученика и наперсника, и велел своим референтам выкрасть оратора из общежития СМУ под покровом таежной ночи. Случилось несколько трагикомических интермедий, один из референтов оказался легко ранен лопатой, а другой потерял в потасовке финскую дубленку, золотой зуб и удостоверение, но на аэродроме дядю ждал вертолет, так что эта романтическая история окончилась вполне мирно. Погони не было, ибо юноша внезапно оказался круглым сиротой.

В том же году дядя ввязался в кровопролитную войну под коврами ЦК ВЛКСМ, но ошибся в выборе сторон. В жестокой аппаратной битве он потерял трех своих заместителей, переходящее Красное Знамя, бросил остатки армии, пьяного сюзерена, жену и любовницу и бежал в отпуск, в провинцию, с крошечным отрядом верных ему людей. Отец принял его довольно радушно, поселив в нашем городском доме. В гостевом флигеле — потому что дядя всерьез опасался быть задушенным в обкомовской гостинице вражескими агентами (видимо, тайными противниками евразийства).

Во флигеле дядя встрепенулся, сменил итальянский галстук на французскую рубашку поло, отпустил русую бородку и с окающим акцентом открыто заговорил об этногенезе ариев и вековом противостоянии с евроатлантическим сионизмом. Слушать его мне — в тринадцать-то лет — было невыносимо скучно! Стоял месяц май, я торопился согласиться с его громоздкой аксиоматикой и поскорее оказаться в бассейне, где вода с музыкальным плеском билась о перламутровый бортик и куда наша южная сирень роняла в нее пахучие жемчужно-розовые соцветия. Мне было абсолютно все равно, победят ли арии сионоатлантистов или сионоатлантисты ариев (отец давно убедил меня быть снисходительным к тому, что теперь называется «геополитикой»), но я не решался сказать об этом прямо.

Вместо этого я вдумчиво кивал в ответ на дядины аргументы, снабжая эти кивки вежливыми репликами, чтобы у него не возникало впечатления, что он говорит с манекеном.

Однажды вечером я столкнулся с дядиным амантом. Он взял его с собой, но из странной застенчивости не позволял тому гулять днем. Когда же сгущались сумерки и сад окунался в вязкую тишину, хрупкая полудетская фигура отделялась от глыбы тени, означавшей гостевой флигель, и скользила по узкой дорожке, подобно призрак Ганимеда, замученного Юпитером. Евразийство было ненасытно, но иногда позволяло краткие передышки! Поэтому мы и встретились посередине бассейна. Он был старше меня лет на семь, но казался значительно моложе. В глазах у него давно поселилась обреченность, он знал, что дядя никогда не отпустит его. За несколько вечеров мы подружились, и я стеснительно предложил ему:

— У меня есть карманные деньги. Вам хватит на билет и первое время. Я проведу вас через котельную, там нет охраны... Бегите!

— Увы, я не могу, — сложив руки на бортике бассейна, отвечал он, напряженно слушая, как дядя в экзальтации барабанит блюзы по клавишам рояля в музыкальном павильоне. — Я благодарен вам! Вы единственный, кто вообще меня заметил. Но ваш дядя великий человек! Он одинокий вождь будущего возрождения России, вы просто этого еще не понимаете! Когда вы станете старше... Нет! Когда Родина стряхнет вериги интернационализма...

— Но ведь вы сами говорили — он заставляет вас делать ужасные вещи! — я откинул со лба мокрую прядь волос и непонимающе нахмурился. — Наконец, вспомните, что вы еврей! Клянусь помидором, я не понимаю. Он ведь махровый нацист! Да к тому же непреходимый идиот! Послушайте, он даже не может попасть в такт!

— Пусть так... — загадочно улыбался этот добросовестный пленник «людей длинной воли». — Я никогда не брошу его!

Он действительно не бросил дядю. Дядя сам бросил его в депутатском зале, возвращаясь в Москву через Киев, чтобы сдаться на милость победителям. Бабушка обещала ему покровительство и добилась индульгенции в ЦК.

Но в тот полулетний вечер, когда мы говорили, я, изучая его глаза, подумал, насколько любовь уродует человеческое сознание, и поклонялся себе больше никогда ни в кого не влюбляться.

Разумеется, не прошло и пары месяцев, как я нарушил и это свое обещание.

ЛУНА И ГЕРТРУДА

Четвертый теткин муж напоминал поднятого гончими злого кабана в цивильном пиджаке с наградными планками. Он утробно урчал, роняя с клыков хрустальные капли слюны. Моя ветреная тетка рассеянно взъерошила ему на затылке ежик седой шерсти и огляде-

ла собрание гостей. Гости ждали начала мистерии. Всем было немного тревожно, потому что в этот знойный летний вечер он собирался сожрать Луну.

Наконец теткин муж по-звериному задвигал челюстью и вонзил в желтое лунное тело зеркальный нож. Официанты зазвенели десертными тарелками, мои лампасоносные кузены встали, а дамы томно зашептались. Луна распахнула свои внутренности: пять слоев миндального бисквита, пропитанного баварским муссом и коньяком, филиппинский кокос, чернослив и орехи, политые глазурью — с детально воспроизведенными кратерами, морями и заливами. В самой ее серединке, в Mare Imbrium¹, в окружении горной гряды самоцветно искрился засахаренным имбирем и марципанами Орден Ленина. Виножник торжества, рыча, потянулся было к нему, но тетка властно ударила его по мохнатым пальцам серебряной кулинарной лопаткой.

Вообще-то теткин муж должны были наградить званием Героя Соцтруда (этот угрюмый честолюбец давно мечтал о третьей золотой звезде) но он проштрафился. КБ, что он возглавлял, то ли перепутало первую ступень со второй, то ли утопило в океане ценную спутниковую антенну, то ли составило программу телеметрии на древнешумерском языке. Словом, старт лунной ракеты вовремя не состоялся, и в ожидании его, не приходя в сознание, скоропостижно скончался куратор программы из Политбюро. Новый куратор был моложе — ему едва сровнялось девяносто лет — так что горячая лимфа, медленно струящаяся по его венам, еще требовала показательных жертв и децимации. По его мстительной воле теткинному мужу вручили всего лишь Орден Ленина (правда, в золоте и бриллиантах). Да к тому же еще и назидательно пустили под нож целый тираж почтовых марок с его кабаньим профилем, одухотворенным космической думой. Впрочем, гости снисходительно улыбались — необходимыми салонными двусмысленностями по адресу хозяина банкета они успели обменяться за аперитивом.

Мне же все это было безразлично. В тот июньский вечер я здорово страдал — жали новые замшевые туфли. Кажется, австрийские. Когда мы их мерили с мамой в магазине, они идеально подходили по ноге, а сейчас, спустя две недели, вцепились в пятки, будто пыточные испанские сапожки.

— Ну, ма-ам... — ныл я всю дорогу до теткиной дачи, но мама была непреклонна:

— Что за барство! Гонять машину за пятьдесят километров, чтобы ваша светлость переобулись. Стыдись, ты же мужчина, в конце концов!

Она, конечно, преувеличивала. От нашего городского дома до этого богемного дачного поселка было километров двадцать от силы.

¹ Море Дождей (лат.) — лунное море, расположенное в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны.

Полчаса обернуться туда и обратно, а шофер, что у нас служил, прекрасно водил новую «Волгу»! Однако мама требовала послушания, и я смирился.

Настроение у меня вместе с тем было мрачное, и больше всего я ждал удобного момента, чтобы деликатно выскользнуть из-за стола и оказаться в саду, где-нибудь подальше от хмельных родственников с их приторной ласковостью. Сидевший справа от меня сухонький генерал, похожий на хитрого Суворова, наклонился ко мне и взволнованно спросил:

— Ну, а вы, молодой человек, тоже, наверное, мечтаете когда-нибудь оказаться... там?

Это «там» он выговорил с придыханием и указал столовым ножом на середину стола. К этому времени от Луны уже почти ничего не осталось, лишь несколько ломтей торта сиротливо вздымались на метровом фарфоровом блюде среди липкого коньячного моря. Вокруг сосредоточенно жевали. Я представил себе, как одиноко мечусь по мертвой глазурной полусфере в неуклюжем скафандре, уворачиваясь от ножей и вилок, и покачал головой:

— Знаете, не очень... Вы извините, я, пожалуй, пойду!

В саду у тетки три гипсовых грации сторожили небольшой пруд, весь в дымчатой пене цветущих розовых кустов. У мраморных ступеней сидела девочка, чуть старше меня, и водила по поверхности воды кончиком ивовой ветки. Я скинул надоевшие туфли, закатал брюки и приблизился к ней.

— Вы позволите тут с вами посидеть?

— Сделайте одолжение,— промурлыкала девочка.

С наслаждением окунув ноги в воду, я заболтал ими, гоня острую волну к середине прудика. В нем отражались звезды и стоящая, не бисквитная, Луна. Млечный путь торжественно дрейфовал над нами, забегая хвостом за пушистое сонное облако. Девочка оправила плиссированную юбку и мечтательно взглянула на него. Я уже набрался смелости спросить у нее, как ее зовут, как вдруг она задумчиво и напевно проговорила:

— Как вы полагаете, будет у нас с американцами атомная война?

— Мне кажется, не будет,— неуверенно ответил я, тоже оглядев звездный свод.

— Ах, вы непременно должны это узнать,— вздохнула она. — Мне они ничего не говорят. А ведь в мире сейчас так беспокойно. Неужели вы сами не боитесь?

Я посоветовался с собой и твердо кивнул:

— Ни капельки!

В этот момент послышался прерывистый писк. Не сговариваясь, мы завертели головами. Худенький генерал, приглашавший меня на Луну, как цапля вышагивал вокруг пруда в сопровождении адъютанта с подносом. Время от времени он останавливался,

брал с подноса искристую рюмку водки, опрокидывал ее в рот и издавал этот тревожный сигнал. Аdjютант почтительно придерживал его под локоть.

— Что он делает? — прошептал я.

— Играет в искусственный спутник, — пояснила девочка таким же теплым шепотом, приблизившись ко мне щекой. — Это мой дедушка. Он уже старенький, не обращайтесь внимания. Он сейчас круг сделает и спать пойдет.

Лунная тропинка, потревоженная волной, пробежала к ее босоножкам, и она подтянула колени, положив на них кукольный подбродок. Странное волнение охватило меня. Мне захотелось взять ее за руку и пообещать ей, что никогда-никогда ни одна атомная бомба не упадет в этот волшебный пруд, вокруг которого движется, старчески попискивая, по вечной орбите ее дедушка, и где в бархатной темноте плывут созвездия — Лиры, Кассиопеи и Змееносца.

— Гер-р-ртруда! — взревел вдруг в кустах теткин муж. С чудовищным стоном и хрустом он проломился сквозь розы и вбежал на середину пруда. Он пропахал воду и поднял перед собой стену брызг, безжалостно ломая тихую звездную карту. На лице его обозначалось отчаяние, из щек торчали шипы. Он размахивал квадратной бутылкой коньяку, как гранатой. — Гер-р-ртруда, где ты?! Мне плохо!

Он звал тетку. Старенький генерал в панике сошел со своей спутниковой орбиты и по длинной глассаде устремился прочь. Два растрепанных офицера выскочили вслед за мокрым орденосцем:

— Товарищ конструктор!

— Гер-р-ртруда! — вскричал он и на четвереньках ринулся в ночь, скача, как вепрь. Гравий кричал и скрипел под его копытами. Офицеры схватились за головы. Охотиться на него, насколько я знал, в таком состоянии можно было всю ночь, он умел носиться по садовым дорожкам с торпедным фанатизмом.

— Дети, — спросил, тяжело дыша, один из офицеров, — вы тут фуражку не видели?

Я пяткой подтолкнул к нему фуражку, в которой билась маленькая янтарная рыбка. Эту рыбку лейтенант бережно выловил, отпустил в пруд и побежал вслед за товарищем.

— Хотите торт? — робко спросил я девочку. — Только я тут немножко отъел... Совсем кусочек, а так он целый.

— Мерси, — улыбнулась она, и мы, наконец, встретились глазами...

Артюр РЕМБО

/ 1854–1891 /

Перевод Анатолия Добровича



Набредя на упоминание «Пьяного корабля» Артюра Рембо в одной из книг, я прикинул, что давно не видел этих стихов, и нашел их в поисковике. Французского я не знаю ни в каком приближении. Передо мной оказались пользующийся доверием специалистов подстрочник Э. Ю. Ермакова и 18 (!) вариантов поэтического перевода стихотворения на русский. Несмотря на участие в этом труде поэтов первой величины, переводы, как мне кажется, не вполне удались. Они удивили меня не только степенью произвола по отношению к исходному тексту (если сверяться с подстрочником), но и чрезмерной напыщенностью тона.

В самом деле. «Когда, спускавшийся по Рекам Безразличья, Я от бичевников в конце концов ушел» — передает начало стихотворения Леонид Мартынов, но откуда он взял эти «реки Безразличья»? И этот «уход от бичевников»?..

Чаще всего переводчики прибегают к александрийскому ямбу, традиционно задающему стихам известную высокопарность. Я отыскал в youtube исполнение этой вещи французским актером и нашел, что ее размер в такой же (или даже большей) мере соответствует анапесту в русской силлаботонической системе.

И правда, из переводивших «Пьяный корабль» четыре автора избрали анапест (П.Г. Антокольский, Д.Г. Бродский, А.С. Големба, Е.В. Головин). Предпочел для перевода этот размер и я. Мне, к сожалению, не ведомо, высокопарен ли Артюр Рембо в оригинале, а если и так, согласуется ли его стилистика с паттернами французской поэзии, которые были приняты в его время.

Но в любом случае, по-моему, есть смысл в том, чтобы еще раз попытаться осуществить перевод знаменитого стихотворения — перевод, претендующий на большую близость к подстрочнику и, по возможности, выводящий текст из сферы патетической декламации.

Впрочем, по правде говоря, я не исключаю, что такая декламация как раз и соответствует стилистике А. Рембо. Го-

тов также предположить, что близость к подстрочнику в данном случае менее важна, чем передача пышности и причудливости словоупотребления.

«Осовременивается» ли таким переводом знаменитый француз, открывший новую эпоху в поэзии? Возможно, но такой ли уж это грех? Вдобавок, по своему складу, я избегаю эпатажного самопредъявления, между тем как склонность к нему зачастую сочетается у художников с артистизмом высочайшего толка.

Но раз так — не представил ли я читателю некий вариант «Рембо для бедных»? Мне хотелось бы удостоиться оценки тех, кто по уровню компетенции имеет на нее право. Как бы то ни было, проделать вслед за поэтом его незабываемое путешествие было для меня истинным наслаждением.

Анатолий Добрович

ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

Понеслась, поскакала река подо мною!
Краснокожие люди под грохот и гам
тех, кто судно моё волочил бечевою,
взявши в плен, к расписным приковали столбам.

Упиваюсь теперь своевольем и риском,
оставляя команду в индейском плену,
о фламандском зерне и о хлопке английском
не заботясь ничуть, по теченью плыву.

Я бежал, а река бесновалась, плескалась,
тупоумна, как дети голодной зимой.
И любой полуостров, сорвавшийся в хаос,
отщеплялся от суши и нёсся за мной.

Славословьями грозы гремели мне в уши.
Я, как пробка, плясал десять долгих ночей
по волнам, переносчикам всех утонувших,
безразличен к призывам прибрежных огней.

Вот и вброшен я в море! пучинам на милость!
И скорлупка еловая в пене седой,
от вина и блевотины славно отмылась,
словно яблочной плотью, зеленой водой.

И теперь я в поэме, в мерцании млечном
пены, лунной лазури и звёзд на плаву,
где порой в изумленье своем бесконечном,
колыхаясь, усопший глядит в синеву.

Где безумье и медленных ритмов качанье,
синью полдня окрасив небес глубину,
крепче спирта, мощнее, чем арфы звучанье,
переполнили брагой любви рыжину.

Знаю трещины молний и дикое море,
видел всё: ураган от небес до земли,
голубиною стаей взлетающие зори,
россыпь тайн, от которых вы взор отвели.

Видел таинства солнца, что в море садится,
фиолетовый цвет придавая волнам,
и вращались валы, как огромные плиты,
и всплывали сюжеты аттических драм.

Поцелуями море до глаз покрывая,
грезил я о снегах, испускавших лучи,
и несслыханных соков стремнина живая
побуждала светиться поющих в ночи.

Зыбь кидалась на рифы в истерике хлева,
и еще я не знал, своеволием пьян,
что способна стопами пресветлая дева
по одышливой морде лупить океан!

Задевая флориды, сдвигая преграды,
я мешал леопарда пылающий взгляд
с кожей, содранной с пленных! я упряжью радуг
ограничивал бег малахитовых стад!

Мне встречался в болотах, где грязь и гниенье,
разложившийся в зарослях левиафан.
В центре штилей мне вод открывалось паденье
в ненасытно отверстую пасть — в океан.

Видел медное небо и мутные мели,
где клопы пожирают чудовищных змей,
что обвили стволы с ароматами прели,
с перекрученной бурями формой ветвей.

Показать бы мне детям блуждания эти
среди поющих сциен, золоченых дорад.
Пронеслись предо мной в виде пышных соцветий
все явления мира, сойдясь на парад.

Помню моря страданье, его утомленье...
Если был я к смиренью по-женски готов,
море с плачем бросало меня на колени,
облепляли присосками тени цветов.

Был я остров плавучий, где яростны споры
злобных птиц белоглазых; смывал их помёт.
Хрупкий путь мой тянулся в морские просторы,
где усопших валило спиною вперед.

Но, навечно затерянный в бухтах, как в космах,
занесенный стихией, куда занесёт,
я, корабль, чей разрушенный бурями остов
не спасет ни ганзейский, ни пушечный флот;

я, ушедший в туман, что, как луч, фиолетов,
пробивающий стены ударом словес,
на себе испытанный (приманка поэтов!)
и лишайники солнца, и струпья небес;

электричеством лун возбужден и замаран,
я, с кем плавают строем морские коньки,
между тем как июль беспощадным ударом
бросил небо в воронку и рвет на куски;

Я, чей слух в отдаленнейшем водовороте
увязал; кто сумел бы расслышать вытьё
подзывающих течкой самца бегемотих, —
о Европе грущу, о причалах её!

В небесах мириады мерцающих капищ
окликали пловца, что сумел превозмочь
бездну ночи вселенской — не там ли ты прячешь
стаи птиц золотых, о грядущая мощь?

Но довольно мне плакать! и луны, и солнца
мне горьки, я парами любви опьянён.
Разломайся мой киль! — и судьба понесётся
в океан, в никуда, в переключку времён!

Мне нужна не Европа причалов парадных,
а лишь лужа весной, по которой, грустя,
запускает, как бабочка, хрупкий кораблик
никогда не выдавшее моря дитя.

Я ли, в лезвиях моря плясавший, как пробка,
в чьей крови своенравия терпкий настой,
восприму этот мир перевозчиков хлопка,
эти флаги, огни и кильватерный строй!

май 2018

Сергей КАТУКОВ

/ Москва /



СМОТРИТЕЛЬ ТИШИНЫ

Дед Никита жил на отшибе. На высоком весёлом пригорке в девятнадцатом веке здесь была дворянская усадьба. Потом большевики свезли сюда со всей округи недобитые пережитки царского времени и организовали музей крепостничества и старорежимного быта. В перестройку двухэтажную усадьбу обратили в дачу председателя облсовета, а Никита Ильич, совмещая должность музейного смотрителя, стал сторожить этот тихий, полулесной домик, сказочно преображавшийся на уикенды в партийный шалман.

Дед Никита знал: здесь клеймёное, колдовское место. На закате Союза председатель соседнего колхоза, дородный, смурной казнокрад, семьянин и взяточник, после бутылки коньяка потерял человеческий облик, приставал к поварихе, рассеял китайский сервиз в пыль, обратился в свинью и бежал в лес. «Малиновые братки», собравшись здесь на новогоднее политбюро, делили общак подмятой под себя конкурирующей группировки, в результате прокуратура ещё полмесяца собирала по лесам разбитые, обезумевшие остатки честного собрания. В разгар пьяного дележа они, чернея и тлея, с воплями выбежали из дому и больше их никто не видел.

Металлургический олигарх, купив это место в конце девяностых, спешно вывез сюда московское имущество. Несколько квартир и два обанкротившихся банка. Через месяц нагрывшая прокуратура тщательно ощупала каждую из десяти комнат, перебрала по камешку подвалы и дореволюционную брусчатку дворика, но ничего не нашла. Включая самого олигарха, который, по слухам, спонсировал разработку телепортации в одном захудалом НИИ и, наверное, добился-таки своего: проткнул пространство и сбежал в параллельные государства.

И только дед Никита оставался самим собой, знал каждый закуток и молчал в тихую седую бороду, даже когда федеральный сле-

дователь, ведший дело, лукаво угощал его тосканским вином двухсотлетней выдержки, закупоренным во времена Мадзини, Леопарди и Паганини.

По ночам он просыпался и чутко прислушивался, как в окрестностях усадьбы бродит сонный зверь — мохнатое, чёрно-бурое пятно, тонконогое ходит олень, переступая через кусты, как лесная кошка забирается на чердак и сворачивается в клубок среди сборов ароматных трав, постеленных там в сельскохозяйственные шестидесятые. Слышал дождь, который казался ему ливнем из золотых монет, звеневших по камню дворика, слышал костяной постук первых снежинок по стеклу, слышал осеннее голошение ветров, а в самую глубокую ночь, до того мёртвую и вымороженную, что весь мир кажется колодцем, вытянутым округ своего дна — луны, — в это время дед Никита слышал шевеление камней в земле и воздушное сообщение подземелий между собой — звук, который никаким словом обозначить нельзя, похожий на шевелящиеся всхлипы губ. Тогда он вспоминал, что это, должно быть, время потихоньку перекладывает сокровища, спрятанные в колодце за дальним флигелем. И что сам он вряд ли человек, потому что имел служебное существование: он сторожевой замок прежних хозяев, сложивших во время революционного пожара на пустое дно пещер, прежде водоносных, свои княжеские сокровища.

И в эту ночь он тоже что-то услышал. Но ничего из того, что ему было знакомо. Он лежал в тёмной кровати под лестницей и, сосредоточенно закрыв глаза, мысленно обходил этот звук со всех сторон. Но звук испугался, сделал ложное движение, чтобы отвлечь, а сам впитался в землю. Наутро дед Никита узнает, что это было. А сейчас прислушаться, как за десять далёких вёрст на пристани плещется вода у свай: тихо так, ласково так. Лодки, словно спящие коровы, сбились стадом у берега. Луна завалилась в подушки облаков. Он воображает — хлоп мятной водочки и ничком в воображаемое сено. Спааать.

Верно, это был звук начала зимы. Дед Никита знал, что планета, по его представлениям, пересекая календарные границы, может задеть вехи времен. Или это был один из тех странных и неповторимых звуков, которые астрономы с переляху считают загадочными сигналами из космоса, может быть, даже посланиями от давно исчезнувших цивилизаций.

С утра сторож походил, потоптался по двору, разглядывая первый снег. Он стелился очень тихо и легко, нанесенный на поверхность планеты с неподвластной человеческой руке ровностью. Нигде не было следов звука. Если нет следа, решил сторож, значит, нет воплощённой в материю причины, значит, это бесплотный звук, значит, это знак.

К обеду снег растаял и из ближайшей деревни на старом пьяном грузовичке приполз староватый и пьяноватый Евсеенко.

— Слышь, чё, — сказал тот в привычной ухмыляющейся манере. — Через два дня к тебе экскурсия.

Дед Никита кивнул.

— Слышь, чё, — продолжал Евсеенко, — ты бы хоть телефон себе провёл. А то к те мотаться. Или мобильный. Если чё.

Дед Никита махнул рукой: мол, проводили уже, а потом отрезали. Сам что ли не знаешь?

— Слышь, чё, — Евсеенко криво ухмыльнулся и сказал, ради чего ехал: — Ну ты хоть отсыпь на бензин тогда.

Дед Никита знал, что Евсеенко уже заплатили за поездку, и надо ему было не на бензин, а на водку. Постоял вниз головой и пошёл к дому.

— Всё. Музей закрыт. На ремонт. Ничего не будет.

Евсеенко открыл рот, растопырился в позу «вот те на!», а потом матерно завыл, залезая в кабину: «Ууу, ёёё!..»

К вечеру, заштриховав небо в ученический подмалёвок, уже три часа шёл неумелый, начинающий снег. Дед Никита выпил чаю, посматривая в окно, закутался поглубже в мысли и стал ждать.

Первым пришёл раскосый китайчонок в императорском халате. За ним, застыв в поклоне, следовала процессия чиновников в тёмно-синих сюртуках. Перед собой они несли пышные кардинальского цвета подушечки. Он потребовал вернуть сервиз, подарок тогдашним хозяевам поместья от китайского императора. Никита Ильич хотел заметить, не тот ли это самый, который расшиб председатель колхоза. Китайчонок сел на подушечку побольше, подложенную под него и, воспарив на ней, стал ждать ответа. «Приходите завтра, — сказал, пыхтя чубуком, смотритель, — я обдумаю ваше предложение и постараюсь чем-нибудь помочь». Тут же гром оборвал его слова, молния ударила в чубук, а маленький китаец и смотритель обернулись воинами, стоящими посреди степи. Дождь хлестал по доспехам, и в руках у каждого поблёскивало обнажённое серебро меча. Со скоростью молнии сделал выпад китаец, но смотритель парировал ещё быстрее, на опережение, словно предвидел его. Удар был такой силы, что смотритель, не отрывая ног от земли, отскочил в другой конец степи, оставив перед собой сухую полосу на земле и камнях. Воин ментально приблизился по этой полосе, но смотритель успел провести перед собой черту, и видение исчезло. За окном шумела гроза, снег превратился в ливень, и подступал сырой, дрожащий отрез утра.

В ту секунду, когда дед Никита прикрыл глаз и капля дождя коснулась стекла, и следующую за ней, когда капли уже не было, он испытал короткий сон. На жёлтом облаке ему явился ужасный кардинал с жукообразным телом в коричневых хитиновых доспехах, с шеей, длинной, подобно гусенице, каждый сегмент которой был

обернут лепестком розы, а из сердцевины смотрела сонная черепашня мордочка в старушечьем капоре и очках. Черепашка погрозила пальцем и, улыбаясь, исчезла.

Всё-таки ему не давал покоя тот ночной звук, мягкий, впитанный землёй. Сторож натянул глубокие, словно рукава, сапоги, плащ с капюшоном и пошёл посмотреть колодец. Возле него в сумеречной зыби рассвета кружил звериный след.

— Дядя, огоньку не найдётся? — раздалось сзади. Сторож, не оглядываясь, прыгнул вперёд, прячась на другой стороне каменного кольца колодца. Тот, кто это сказал, был связан с мохнатым, чёрно-бурым, который выходил зимой подышать человеческим запахом.

Косматый говорящий зверь сидел вразвалку и медвежьими глазами смотрел на его шею. Большой ленивый тигр с маленькой мордочкой домашней кошки. На изгибах звериного тела бархатно рассыпались по шерсти свежие чёрные полоски.

— Разве ты не знаешь, что у меня больше нет *огня*? — раздражённо сказал смотритель, жалея, что не захватил посох. Этот зверь будет поопаснее вчерашнего императорского посла. — Факел с *огнём* остался внутри. И с тех пор горит там. Я его больше не видел.

— Пойди и принеси мне *огнь*, — сказал зверь басом.

Огонь был ключом ко всему. Если поднести его к глазам, станут видны все ходы и лазы, все заколдованные дорожки, запрятанные под свинцовыми щитами входы в колодезные подземелья. Голос зверя был прекрасным, как гром, который усыплял его в детстве. И сейчас мог лишить воли и мыслей.

— Я не знаю, как туда спуститься, — пытаюсь дышать ровнее, говорил смотритель.

— А ты садись мне на плечи, и мы вместе пойдём искать *огнь*, — ласковым, соблазнительным голосом произнёс зверь, словно это была не речь, а симфоническое вступление, в которой певучие виолончели, тихие фаготы и разговорчивые скрипки звучали одновременно.

Смотритель обдумывал и тянул:

— Пожалуй... мне надо захватить в доме перчатки... против *огня*. — И пожалел, что сказал больше, чем надо, пожалел, что заговорил, что с волнением слушал мощный, прекрасный голос зверя. «Теперь он будет знать, о чём я думаю».

Прежде чем зверь с лёгкостью перекрыл прыжком высоту колодца и настиг его, смотритель всё-таки успел нырнуть в сапоги и оказался на самом дне колодца.

«Рано или поздно это должно было случиться, — думал он, проходя мимо рядов с запечатанными сундуками. — И давно же я здесь не был...» Вот они, те самые звуки, которые он слушал в самый тихий час. Колокольчики ювелирного золота, щебетанье испанской

меди, снежное поскрипывание серебряных украшений и шёпот столового серебра. Твёрдое рубиновое отстукивание такта, и прелестное пение алмаза.

Он уже почти не узнавал полуобрушенные проходы, факел давно погас, и он долго-долго искал лестницу, которая вывела его, наконец, к плите, над которой когда-то был камин.

Первым делом Никита Ильич отыскал книгу по толкованию звуков, знаков и голосов. На странице с выпуклым изображением красного дракона из Поднебесной он прочитал: *«Как приходит весна, Дракон стремглав летит в небо. И от этого рождается гром и молния. К лету он ищет горы или море, спускается и живёт там семь своих лет, что по земному счислению три круга человеческой жизни. Потом возвратится он на землю, прикоснется к ней тихим, неузнаваемым, беззвучным как бы звуком, с которым движутся губы. И если время выпало на зиму, Дракон ищет высохший и глубокий же и длинный колодец, особенно если в нём, бывает, хранятся сокровища, чтобы переждать там зиму. Он принимает видимость ребёнка или старика, или домашнего животного, или <...> Выманивают драконов из колодца на нюхательный табак, которым <...> Старые же драконы падают на землю с небес. И когда уже совсем не могут взлететь, идут искушать людей разным страхом».*

В тот же момент в библиотеку заскочил суетливый хорёк. Он метался между стульями, и смотритель прочитал его быстрые мысли:

«Добрый человек, — думал хорёк на человеческом языке, — мне всего лишь надо где-то укрыться на зиму. Будь так любезен подарить мне вход в одно из твоих подземелий, где тепло, где земля согревает семена и я мог бы выпасться от своей великой бессонницы».

«Думаешь, Дракон, я не знаю, что ты хочешь меня обмануть? — думал в ответ смотритель. — Что тебе нужны сокровища, это я давно знаю. А ведь холодна сырая темнота колодца. Разве это тебе нужно? Я для того и смотритель здесь, чтобы тебя не пускать».

«Пожалуйста, дай мне пожить в твоих любезных подземельях, покажи вход в колодец, — хитрил хорёк, — а весной я подарю тебе бесценной своей чешуи. На неё ты купишь земли и крестьян, ты сядешь мне на плечи, и вместе мы пойдём на императора и победим императора. И дай мне *огнь* из подземелья, чтобы я мог согреться от зимы».

Смотритель пригнулся и бросился бежать в кладовку, где хранился посох. Хорёк пересёк его путь и кинулся под ноги, взобрался по сапогу на локоть и уже хотел вцепиться в горло, но был отброшен в стену. Вместо того, чтобы отскочить, как подобает мягкому, пушистому зверьку, он ударился в неё с такой силой, что дом зашатался и, ломая комнаты и потолок, извиваясь пунцовым хвостом и с чудовищной ловкостью переставляя лапы, как гибкий, тугой холст, в доме стал разворачиваться Дракон. Смотритель завращал посохом над

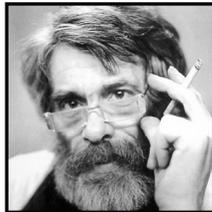
головой, словно ветряная мельница, и, искря по его телу, несколько раз чиркнул чудовище. Там, где посох прикоснулся к Дракону, чудовище как бы таяло, суживалось: лапы скручивались в лапки, гребни — в бородавки, но рядом с уменьшенным тут же выросло новое, в полную величину. Смотритель бросил посох прямо в усатую, огненную морду зверя и под падающими балками стремглав рванул в кухню. Драконья голова задёргалась, осела внутрь, и уродливое тело с грохотом упало набок. Но через мгновение зверь вскочил, замотал обезглавленной шеей, развинчивая из неё новую гривастую морду, которая под своей тяжестью гнулась к полу, и в этот же миг в слизистые, болотистые ноздри ему полетели разорванные кубики нюхательного табака.

— Всего-то делов... — проговорил дед Никита, дрожа от пронизывающего ледяного ветра. Дом лежал вокруг, полностью разрушенный, размётанный по всему двору. Каменный забор раскидало, словно после пушечного обстрела. В руках Никита Ильич держал свинцовую галошу, горловину которой он только что запечатал на костре. В ней поместилось всё, что осталось от Дракона — одурманенный табаком хорёк.

Извиваясь и вздуваясь на жёстких линиях ветра, колыхалась линиялая пустая оболочка древнего, одряхлевшего дракона. Каменный колодец обрушился. И смотритель, обнимая галошу, присел на сохранившееся крыльцо. Дождь перестал, в мире, словно коромысло, раскачивалась тишина, земля прислушивалась и засыпала. Смотритель сидел тихо-тихо, достав из-за воротника похожую на ветку дудочку. Он продул её и стал поигрывать большую круглую мелодию: масляно лоснящийся шар, малиновый бок, фиолетовый передок, ловил её в сачок баночки, ставил перевёрнутой на порог и так сидел целый вечер, слушая, как она переливается внутри, под стеклом, светясь, словно пойманная в ведёрко луна.

Виктор КРИВУЛИН

/ 1944–2001 /



С Виктором Кривулиным я познакомился летом 1966 г.

Буквально на следующий день нашего знакомства он предложил мне покататься на лодке. Я согласился, и с того дня в течение нескольких первых лет знакомства мы с ним виделись почти каждый день. А бывало и среди ночи он звонил и предлагал послушать только что написанные стихи.

Летом 1968 года я привёз Виктора в гости к моей маме в город Ивано-Франковск, что на Западной Украине. Купались, плавали, ездили в горы Карпаты. Виктор научил меня играть в карточную игру «Up and Down», в которую мы довольно часто с увлечением стали играть.

Результаты игры записывали в общей тетрадке в клеточку. Как-то раз Кривулин предложил мне записать его поэму «Путешествие через Комарово», которую он мне надиктует. Я согласился и в этой тетрадочке стал записывать его поэму своим корявым почерком. Где-то в середине четвёртой части Виктор решил сам дописать своё произведение. То ли почерк мой его достал, то ли писал я медленно. Во всяком случае, получилась счастливейшая возможность иметь теперь уникальную рукопись хотя бы части его поэмы. С грехом пополам мы её отпечатали на моей разбитой машинке. Только совсем недавно мне удалось извлечь эту его поэму и много других стихов Виктора Кривулина из моего скромного архива.

Вот такая краткая история обретения поэмы «Путешествие через Комарово».

*Владимир Кривошеев,
20.02.2018*

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ КОМАРОВО

Пролог

Всю ночь пишу легко и торопливо
и плещет за фанерной стенкой
ночной тугой прибой залива
с полутрагическим оттенком.

Природа, мудрая природа
вокруг Приморского шоссе,
толпятся сосны в темноте,
но может статья, смысла нет
в тревожной смутной маете,
и, может быть, моим стихам
в эпоху общего упадка
сгореть, как нежным мотылькам
в круг электрической лампадки,
и, может быть, уже давно
живое тело русского стиха
лежит как мрачное бревно,
волной качаемо слегка.

Ещё и гимна не играли,
но шло к тому
и скрип калитки,
и слабый звук разрыва нитки
(то насекомые сгорали)
и стук часов, что на руке,
а главное — за стенкой дачной
залив в ритмической тоске,
то заходясь, то затихая,
шумит прерывисто и гулко
и дышит ночь, как твердь живая,
насторожив прямое ухо.

Так это виделось подряд
четыре ночи в Комарово,
как звери чуткие стоят,
стоял залив с глазами вровень.
Два глаза смотрят на меня,
два круглых топовых огня,

спокойный ветер и вдали
в прожекторе запретной зоны
военные немые корабли
так тяжелы и невесомы.

Часть I

А утром (если утром
можно назвать 11 часов)
я просыпался злым и смутным
среди жары и голосов,
что копошились ветром пляжа
и думал: «Всё на свете — лажа...»

Я выхожу, проснувшись, на крыльцо
и щурюсь, солнышку подставив
тупое, сонное лицо
и голова моя пустая
звенит пронзительно и тонко,
а с пляжа слышен плач ребёнка,
которого в который раз
в залив купаться не пускают,
а он стоит, прищуря глаз
и гладь манит его морская.

А вот ко мне, полуодетому,
спешит приятель городской,
в душе снедаемый тоской,
весёлый видимо поэтому.
«Ты завтракал? Тогда, надеюсь,
ты не откажешься компанию составить?
Вот только я совсем оденусь,
в осколок зеркала уставясь...»
И мы под разный разговор
сидели, а потом пошли из дому,
ну да, приятель мой с каких-то школьных пор.

Как мы тогда читали в пыльном скверике
финал Вальпургиевой ночи
поочередно, как в истерике,
сбиваясь, путаясь, крича,
как бы пророча,
плыла над нами тень брандмауэра,
огромных серых стен без окон,
сужающихся кверху в мареве
индустриального Востока.

Трамвай звенел. Не час ли «пик»
мы здесь на лавочке сидели,
глаза от мира отлепив,
войдя в прекрасные идеи
в старинном перевоплощенье,
романтиком любезным брошен,
он рядом был, грызя печенье
и дурно думая о Боге.
Но в наших мыслях не было дурного.
Поэтому вернёмся в Комарово.

Мы шли меж редких ровных сосен
в перенасыщенных сосновой тишиной,
так было жарко, что как будто скоро осень,
сезонная жара, июльский синий зной
и всё молчало, может быть,
мне было жарко потому,
что я хотел поговорить,
не зная, хочется ль ему.
А он, как сам потом признался,
страдая от жары, не знал,
хочу ли выслушать его
со всей серьёзностью, без смеха,
который в этом случае помеха.
Мы шли. И всё вокруг знакомо:
три старые литфондовские дома —
один из них, что посредине,
весь был зелёный, словно в тине
и дверь была забита накрепко.

Часть II

Я думаю, что эти дни
начала марта от шестого,
до похорон десятого числа
во мне остались мёртвыми как слово
«Ахматова навеки умерла». И умерла.
То был нервозный март, упругий снег,
звонки знакомых, мысли,
оставшиеся мёртвыми в домах,
где обсуждали эту смерть
и думали о жизни.
Я тоже говорил.
стараясь скорбеть и сокрушаться,
но внутри
так было всё равно, что хоть умри,

так было стыдно. Время оставалось
до похорон. Я говорил и слушал.
И в воздухе накуренном болела голова
И было пусто в животе, и пёрли в уши
свои же незнакомые слова.
Я говорил: «Ахматова жива.
Она была последней в той плеяде,
которая жива, куда жив язык.
А нам у них учиться, глядя,
как мир по-новому возник,
нам продолжать». Но пафос мой,
казалось, весь на то направлен,
чтобы я сам был им подавлен
и верил, приходя домой,
что продолжаю путь поэта
по розыску добра и света.
Тогда я чувствовал себя надёжей русского сознания.

Но в этот день в собор Никольский
пришёл к 12-ти часам
интеллигенции московской
и ленинградской цвет и хлам.
И до начала панихиды
наверное за полчаса
весь тёмный зал, битком набитый,
стоял, качаясь как леса
вокруг прижатого пространства,
где в оцинкованном гробу
она лежала с бликом красным
на жёлтом аккуратном лбу.
Толпа качалась возле гроба
и напирала на передних,
и бабий голос Гумилёва
кричал, что он её наследник,
чтоб расступились, дали место...
Жужжала камера кино,
чтоб знало радостное детство,
что было в мире так давно.
Метался магний молодой
и, сквозь тяжёлое дыхание,
колеблясь, плыл над головой
тяжёлый свет, насыщенный стихами.
Как мне рассказывали после,
у входа в церковь, на ступенях,
два спекулянта были возле
трагически ходячих денег.

Они поштучно, как лампадки,
из чемоданчиков спортивных
распродавали по двадцатке
её последний сборник.

А в церкви было душно, тесно,
качаясь, двигалась толпа,
рывками обтекая бездну,
свинцовый гроб, родных, попа
и оператора кино,
которому всегда темно
(он за колонну уцепился и повис
из будущего глядя вниз).

Часть III

Я под ноги смотрел
на шерсть лесной земли
и вспоминал. Но так или иначе,
а мы давно уже прошли
зелёные писательские дачи.
И всё молчало, даже ветер стих,
осыпались иголки сосен
и я сказал, не слыша слов своих:
«Так жарко, что как будто скоро осень».
И он, приятель мой, обрадовавшись этим,
мне тихо, с благодарностью ответил:
«А тут совсем прекрасная погода,
притом немного всякого народа.
Пожить бы у тебя хотя б с неделю
и в одиночестве обдумывать идею
о сне и творчестве, о тайной связи их».
Когда мы, очередь заняв,
стояли у стальных перил,
к столовой летней прислоняясь,
и в перегревшийся брезент
был слышен грохот стульев и посуды.
Отвратный запах пищи плыл оттуда,
минуя лёгкие столы,
смешавшись, только тронет ветер,
с прелестным запахом смолы.
«Ну, хорошо, — подумав, я ответил,
ты приезжай, пожалуй, я устрою,
чтоб ты пожил недельку ближе к морю.
Нет, супа не хочу, бери одно второе».
Мы ели, как едят не торопясь,
сухую, перепревшую картошку

с колючей мясой, чтобы ей пропасть
туда, откуда вышла. Прямо в ложку
печальная и тихая забралась
живая муха, спутница стола,
которой жить — единственная радость,
пока случайно вдруг не умерла.
Этимология: на бабочках и мухе,
мы получаем знание о духе.
Гудя крылами, в воздухе висит он...
Но мы, едва допив тягучий
Густой и розовый кисель,
подумали: что будет лучше
уйти куда-нибудь отсель,
и мы отправились, наевшись и напившись,
туда, к заливу, где песчаный пляж
лежал, меж сосен развалившись —
послеполуденный пейзаж.
Сияла Финского залива
чешуйчатая полоса.
Но время здесь текло неторопливо —
Был первый час, быть может — полчаса.
Прямая дачная дорога
вдали упёршись в даль морскую,
вела нас медленно и строго
вдоль тонких колышков забора.
Верхушки красных сосен,
Когда-то корабельная сосна,
дрожали, тень лиловую отбросив.
И я спросил о связи творчества и сна.

Переход от части III к части IV

Давным-давно, тому уж сорок лет,
австрийский врач, еврей немецкой школы,
психоанализ произвёл на свет
и сон, и творчество связав с проблемой пола.
Его труды в двадцатые года
печатались на русском языке,
потом их запретили, как всегда
и под замок закрыли в закутке,
в железной комнате, где был пожарный кран,
вахтёр в углу и вывеска «Спецхран».
И мы узнали из десятых рук,
что некий Зигмунд Фрейд, рисуя круг,
и сон, и творчество связал с проблемой пола.
Наука двинулась вперёд
и сладок был запретный плод.

Часть IV

На Моховой, в обычном жёлтом доме,
в квартиру на четвёртом этаже,
по грязной лестнице (едва коснись ладонью
перил — и перепачкался уже),
минуя орфографию подъезда,
кривой разгул народного стиха,
облезлых кошек, прыгающих в бездну,
вдали — рояль, расстроенный слегка,
минуя перепуганных жильцов
с кошёлкой, полной свежих огурцов,
я поднимался, ничего не замечая,
к любимой девушке всего на чашку чая.
Звонок — и вот в печальном свете коридора
она стоит как некая Ленора
в небрежном ситцевом халате,
ещё храня тепло кровати.
Она гасила свет и смутной тенью
скользила, только двери приоткрыв.
Я погружался весь в переплетенье
колёс велосипедных и корыт,
гремело что-то, падало, катилось
и думал я, что мне всё это снилось.
(Как думает писатель о герое,
когда, разумный замысел расстроив,
его герой, как семя отделяясь,
между вещами нашими находит
для нас несуществующую связь.)
Всё падало, гремело, но в проходе
полоска света падала, вилась, —
там в комнате горел настольный свет.
Сообразуемый с моим тогдашним вкусом,
там Сарасате пламенный концерт
был переполнен чувством и искусством.

(Теперь я предпочёл бы слушать Баха,
иль чембало готического танца —
вот музыка, где нет ни тени страха,
ни страсти театрального испанца,
вот музыка, где нет конца движенью.)
Я брёл по коридору смутной тенью
и сослепу ударился тогда
об острый выступ тёмной двери в кухню.
Журчала музыкой охрипшая вода,
весь мир, казалось, чуточку — и рухнет...

Но в комнате горел настольный свет,
стоял проигрыватель старенький на стуле,
вращался чёрный диск
и мне в ответ на «Здравствуйте!»
так ласково кивнули,
что я забыл блуждание впотьмах,
синяк на лбу и свой недавний страх.

То был больной, безрадостный роман,
как в осень безнадёжная погода,
как в чёрном Таллинне чахоточный туман,
когда не ясно, что чему причина —
упадок духа или частые осадки,
так наше положение любимых.
С природой, пребывающей в упадке
торжественность больная листопада
в старинном парке, уцелевшем чудом,
когда есть тень душевного распада,
с начала века зревшая под спудом —
таков был наш роман.
Скорее тень классических романов.

Но мы тогда любили только Блока.
Его портрет висел на Моховой,
над нашей жизнью поднятый высоко,
как лёгкий ореол над головой.
Мела метель эпохи символистской
в моей душе и близился рассвет,
и дворница здесь где-то близко
мела панель душе моей в ответ,
мела метлой легко и равномерно,
а я глядел с тоской нелицемерной
как низкая заря застряла меж домами
и было двадцать лет моей прекрасной даме.

А знал бы я тогда, что Моховая
совсем не улица — но женщина живая,
не область безотчётного томленья —
но юность, обернувшаяся тенью,
что в комнате, чей глаз полуоткрыт,
настольный свет внимательно горит...
И я гляжу сквозь наши отраженья,
сквозь чёрное оконное стекло
на город крыш, застывший без движенья,
на шпиль коммерческий, висящий тяжело
над жестяным убогим потолком,

на город мой под низким потолком,
на лампочку с железным козырьком...
И в бледном зареве (то свет настольной лампы,
преобразясь на небе невысоком,
окрасил высь ночную в бледный свет) —
и в бледном зареве твой ленинградский дом
пропитан запахом любви и вырождения,
где сморщенные наши отраженья
дрожат, переливаясь на стекле...
Там бледное пятно твоей зелёной блузки,
там волосы мои врастают в темноту,
там рыбий запах секса петербургский,
линяющий канал — и на мосту
толпятся тени из литературы,
свершая полуночные амуры.
А знал бы я тогда, что Моховая
по вечерам притихла, вымирая,
что женщины в оранжевых квартирах
ещё не прожили тридцатые года
и снится им ещё убитый Киров,
мужья и брата, жившие тогда.

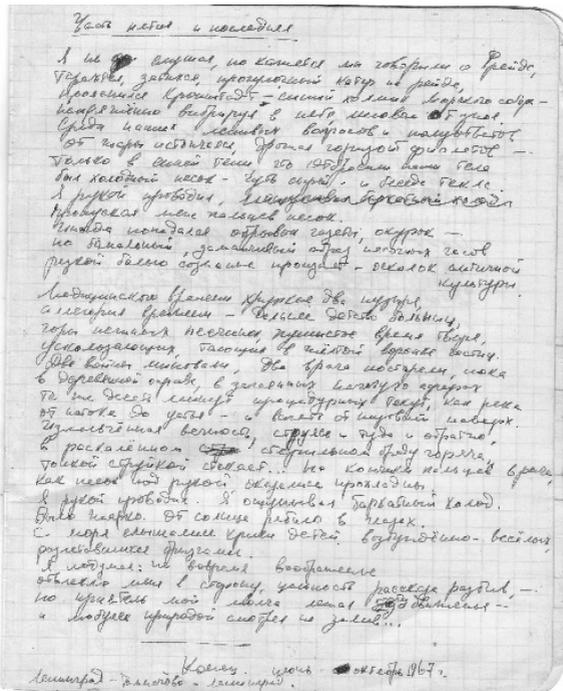
Есть комнаты, где женщины одни,
по вечерам включив настольный свет,
сядут в угол где-нибудь в тени
на оттоманках тех тридцатых лет
и ждут единственных, последних дочерей
в качающемся свете фонарей,
есть комнаты, где дочери похожи
на матерей, но только помоложе.
Там среди мужчин семейного альбома
одно лицо почти всегда знакомо,
хотя и знаешь ведь наверняка,
что не встречался с этим человеком —
но этот хмурый взгляд издалика,
рисунок губ, подчёркнутый слегка
и волосы, густые чересчур —
на постаревшем снимке предвоенном.
Черты лица поражены гниением,
ещё до объявления войны
на скулах пятна синие видны,
в глазах — остановившееся время
(крылатое присталинское племя).
Когда в дощатом фотопавильоне
на трёх ногах сверкнёт лиловый глаз —
вся наша жизнь, как ларчик на ладони

с тугим щелчком раскроется для нас,
чтоб на клочке стандартного картона
когда-нибудь филолог различил
причину жизни, шишку Аполлона
иль тайный комплекс, недостатки неких сил
или биенье смерти в некой складке,
случайно обозначенной у рта,
когда дела как будто и в порядке,
да странная в сознание пустота:
над пасмурным прудом с осклизлыми краями
вы наклонились и не усоjali...

Когда две женщины живут помногу лет
в одной и той же комнате, под вечер
они молчат. Настольный тихий свет
всё тяжелей ложится им на плечи,
шуршат страницы белых сонных книг,
покуда не уснёт одна из них,
та, что моложе... Том Ромен Роллана
сползает потихонечку с дивана,
тяжёлым переплётом шевелит,
как влажный женский рот, полуоткрыт.
А та, что старше, смотрит, узнавая
черты мужчины, знавшего её,
рисунок губ знакомый, звон трамвая,
двадцатилетней скорби остриё,
металл пронзительный, звоночки дней двойных...
Покуда не уснёт одна из них.
А та, что старше, плача и зевая,
постель готовит мягкую, сухую,
где спит, как женщина без мужа, Моховая,
проснуться в одиночестве рискуя...
И я стою под окнами любимой,
и гаснет божий свет в её окне,
и ангел, романтически-незримый,
держась в тени, спешит на помощь мне,
хватает за руку — и мы бежим по лужам
к последнему троллейбусу поспеть...
И счастлив я, что хоть кому-то нужен,
хотя б не целиком, хотя б на треть,
на робкую попытку восьмистишья,
где скрытый секс шевелится как мышь.

Часть V и последняя

Я не слушал, но кажется, мы говорили о Фрейде,
 тарактел, затихая, прогулочный катер на рейде,
 прояснился Кронштадт — синий холмик Морского собора —
 напряжённо вибрируя в небе, лиловом от зноя.
 Среди наших ленивых вопросов и полуответов
 от жары истончаясь, дрожал горизонт, фиолетов —
 только в синей тени, что отбросили наши тела,
 был холодный песок — чуть сырой — и беседа текла.
 Я рукой проводил, пропуская меж пальцев песок.
 Иногда попадался обрывок газеты, окурок —
 но банальный, заманчивый образ песочных часов
 резкой болью сознание пронзает — осколок античной культуры.
 Медицинского времени хрупкие два пузыря,
 аллегория времени — дальше детство больниц,



горы нежных песчинок, пушистое время творя,
ускользающих, тающих в жёлтой воронке частиц.
Две войны миновали, два врача постарели, пока
в деревянной оправе, в запаянных наглухо сферах
те же десять минут процедурных текут, как река,
от истока до устья — и вспять от низовий наверх.
Измельчённая вечность, струясь и туда и обратно,
в раскалённом стерильном бреду горяча,
тонкой струйкой стекает... Но кончики пальцев врача,
как песок под рукой, оказались прохладны.
Я рукой проводил. Я ощупывал бархатный холод.
Было жарко. От солнца рябило в глазах.
С моря слышались крики детей, возбуждённо-весёлых,
разлетающихся брызгами.
Я подумал: «Не вовремя воображенье
отвлекло меня в сторону, цельность рассказа разбив...»
Но приятель мой молча лежал без движенья
и любуясь природой, смотрел на залив...

Ленинград — Толмачёво — Ленинград, июнь — октябрь 1967 г.



Михаил ТАРКОВСКИЙ

/ с. Бахта, Красноярский край /

ТАНЯ

У Тани была чистая кожа, копешка пушистых волос и щедрая улыбка, от которой прищуривались глаза и получалось выражение, будто она совершенно все понимает. Если добавить сюда мое одинокое существование, подчас изнурительную красоту Енисея и будни покоса, становится ясным, почему я так стремился в Селиваниху. Таню я увидел, когда приехал к тете Наде пилить обещанные дрова. Пилил я под угором на песочке тети-Надиной пилой. Стартер был без резиновой ручки, с примотанной вместо нее железячкой. Я ссадил ею палец, и когда заматывал его кусочком изоленты, неизвестно откуда возникла вдруг стройная девушка в ярко-синей майке. Увидев мое занятие и не дав возразить, она убежала и тут же вернулась с бинтом и пузырьком перекиси водорода. Вид у меня был не самый подходящий для знакомства: мокрый от пота чуб, засаленная куртка, сизые руки и полные опилок отвороты сапог. Я наблюдал за бирюзовым жучком, ползущим по ее загорелому предплечью, а она старательно перевязывала мне палец, отфыркиваясь от комаров и болтая, как со старым знакомым. Пахло от нее какой-то ароматной комариной мазью. Она пошутила насчет моих рук, что-то вроде: «С такими руками только к женщине и подходить», и убежала по своим экспедиционным делам, а я допилил и поехал домой в Бахту. Когда я отпихивался от берега, на угоре появилась фигурка в синей майке и помахала рукой. Я не удержался и, отъезжая, заложил крутой вираж, вывернув из-под борта валик упругой воды с белым гребешком.

Пел за спиной мотор, несся мимо каменистый берег с островерхим ельником, светило солнце и всю дорогу в серебристых брызгах у кормы стояла, как приятное воспоминание, маленькая радуга.

На покосе я думал о Тане и грешил перед товарищами, желая дождя, чтоб отменились работы и можно было мчаться в Селиваниху допиливать дрова. Догадливые друзья посмеивались. Дождя все не было. Мы поставили сено, взяли за силос. Запомнился последний день. Я стоял с вилами под зеленым душем в телеге, тря-

сущейся за трактором, вдыхал пряный травяной ветер, и меня всего распирало от нетерпения, потому что назавтра начиналась свободная жизнь — ничего уже не маячило впереди, кроме охоты, и я ехал в Селиваниху.

Таня еще спала, когда чисто-чисто пропел звук над Енисеем, когда застрекотала пила, выпустив синее облачко, и было поначалу неловко за этот шум, будто я пилю не листованный кряж, а первую осеннюю тишину, еще в виде пробы натянутую над полузаброшенной деревней.

Жилым выглядел только тети-Надин дом с синими наличниками, крашенными охрой сенями и с выкошенной вокруг травой. Три брусовых дома, построенные экспедицией, стояли среди зарослей крапивы и иван-чая казенными кубами. Заведя небольшой красный трактор, стоявший на бугре с поленом под колесом, и проезжая кухню, я увидел Таню. Она стояла на крыльце и поливала из ковшика пучок укропа. Я щегольски тормознул, вылез из кабины, поздоровался и спросил воды. Она протянула мне ковш, локтем отерев комара со лба, и, улыбнувшись, предложила пообедать. У меня вовсю колотилось сердце, но я сдержанно ответил, что обедать мне шибко некогда, но что чаю попью, если угостят. В кухне никого не было, кроме нас с Таней.

Мы разговорились, Таня что-то спрашивала, об охоте, о моих друзьях, о Енисее. Умиляла городская неточность ее речи. «Дрова, Таня, не рубят, а колют», — все хотелось мне ее исправить. И еще очень хотелось вытереть локоть, который она испачкала в саже, возясь с печкой.

Потом, уже сидя в тракторе, я все продолжал улыбаться, чувствуя, что не ошибся в своих предчувствиях, что наконец возникло между мной и этой почти незнакомой девушкой нечто необъяснимое, зыбкое, как те осинки в сизой струе выхлопа, но одновременно реальное и очень созвучное происходящему в природе и во мне. Я думал о том, как повезу это нечто вместе с капканами и прочей прозой на длинной деревянной лодке по притихшей сентябрьской Бахте и как славно будет вспоминать Танину улыбку, ежась от ветра и правя в просвет расступающихся мысов.

Я сел на чурку и достал папиросу. Впереди лежало серебряное, в насечках ветерка, блюдо Енисея. На той стороне за темным забором ельника синела невыразимо осенней, глубокой синевой волнистая даль тайги. Всегда почему-то кажется, что осень не возникает здесь, на месте, а именно *приходит* в виде какого-то голубоватого воздуха особого качества, в котором все начинает желтеть, жухнуть, табуниться, а у человека, наряду с растущей физической бодростью, открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости к природе. И хочется, покоряясь ее тихой воле, взобраться на самый высокий яр, встать на колени, и глядя в морскую даль Енисея, благодарить небо за эту посланную Богом тоску, за каждый лист кривой

березки, скоро требующей столько любви и прощения в своей нищете. И долго будет укладываться в душе поминальная, в желток с луком, пестрота берегов и огненная трещина в базальтово-серой туче, заложившей север, пока ранним утром глухой удар весла в тумане не поднимет на крыло первое стихотворение.

Глядя в глаза, на вытянутой руке, с каким-то плясовым шиком старинного гостеприимства поднесла мне тетя Надя стопку мутного спирта, протараторив: «На-ка, на-ка, на-ка, сла-Богу, все вывез, спасибо тебе, рыбку закусывай...» — и я еще раз порадовался бодрости этой маленькой старухи, не устающей окружать свою одинокую жизнь узором такой поэзии, которая никаким поэтам и не снилась. Вечно ей что-то чудилось, мерещилось... Как-то я строил ей новые сени и жил у нее. Был тоже август, но мы спали в пологих, все не решаясь снять их. Перед сном тетя Надя долго устраивалась, зевала, а потом вдруг рассказывала про страшного приснившегося ей мужика с лицом, заросшим речной травой, которого она не испугалась, а спросила только, когда он вошел: «Кто вы такие?», про эвенков, приехавших зимой на оленях с котом на веревочке, про тайменя, такого большого, что когда его подтащили к лунке, она, будучи еще девчонкой («папа зывой был»), подумала, что там «лосадь», или уже совсем анекдот про знакомую из славящегося непролазной грязью Верхнеимбатска, якобы писавшую в письме: «Надя, я не могу в Имбатске зыть: у меня ноги короткие, я с мостков оборвусь и в грязь уйду». Говорилось все это журчащим, полудетским голосом, задумчивым, как куриная песенка на склоне лета. Перед встречей с Таней мне приснилось, будто я украл из больницы фарфоровую кружку, и тетя Надя сказала, что значит будет мне «кака-то прибавка».

Когда после четвертой стопки я понял, что уже не смогу не попросить у Тани адреса, тетя Надя вдруг, что-то вспомнив, вытащила из-за пупырчатого стекла буфета коробку и извлекла из нее желтую, вчетверо сложенную газетку с моими стихами,.. и через минуту я уже выбежал на крыльцо в раздувающийся ветер, в шорох травы и плеск Енисея, в музыку, плывущую с проходящей самоходки, не в силах удержать теплую слякоть счастья в глазах и все повторяя про себя четыре слова: «Моводец, Миса, хоросо составил!»

Адреса Таня не дала. Она посмотрела куда-то в сторону и сказала трезво-манерным голосом: «Зачем тебе адрес?» и еще что-то добавила насчет флирта, который с ней «не пройдет». Убитый наповал таким поворотом дела, словечком «флирт», так не шедшим ко всему окружающему, я спустился под угор, мусоля в кармане так и не понадобившийся карандаш и поехал домой. По серой волне, сжимаемая опостылевший штурвал с отбитой эмалью и спрашивая: «Ну что ей стоило? Ведь я и не написал бы никогда»...

Обида на Таню постепенно прошла. Я даже убедил себя, что сам испортил все своей жадностью — денек-то действительно был

редкий. Так вот живешь-живешь, увязая в заботах и ничего не замечая вокруг, и вдруг осенним днем, когда виден каждый куст на другом берегу и прохладные облака почти не дают тени, сдвинется что-то в мире, и сольются в один светлый ветер девичья улыбка, тети-Надины драгоценные слова, плывущая над Енисеем музыка, и, просквозив душу, исчезнут, но уже навсегда ясно, что не что-то иное, а именно такие, изредка сходящиеся, створы и ведут тебя по жизни.

ЛЕДОХОД

1

Первый муж тети Нади погиб на войне. Дочка умерла. Деревню разорили во времена укрупнения: хотели целиком переселить в соседнюю Бахту, но никто не согласился, и все разъехались кто куда. Тетя Надя вопреки всему осталась. Второго мужа на ее глазах убило молнией в лодке по дороге с покоса.

В деревню, разрушенную, заросшую лопухами и крапивой, стала летом приезжать зоологическая экспедиция. Поселился постоянный сотрудник с семьей, тетя Надя уже зимовала не одна.

Все большое и опасное у этой маленькой безбровой старушки с птичьим лицом называлось «оказией». Плотоматка (буксир с плотом) прошла близко — «самолов бы не зацепила. Сто ты — такая оказия!» «Щуки в сеть залезли — такие оказии! А сетка тонкая, как лезвие — всю изнахратили». Рыбачила она всю жизнь, девчонкой, когда отец болел, военными зимами, не жалея рук, в бабьей бригаде, и сейчас, хотя уже «самолов не ложила», а ставила только сеть под коргой, которую каждое утро проверяла на гребях... Туда пробиралась, не спеша, вдоль самого берега, а вниз летела по течению на размеренных махах. О рыбалке у нее были свои особые представления. Кто-то спросил ее, как правильно вывесить груза для плавной сети, на что она ответила: «Делай полегче, а потом в веревку песочек набьется и в аккурат будет». В рыбаках тетя Надя ценила хваткость и смелость, умела радоваться за других и не любила ленивых, вялых и трусливых людей («Колька моводец. А Ленюка никудысний, не сиверный»).

Зимой тетя Надя настораживала отцовский путик и ходила в тайгу проверять капканы с рюкзаком и ружьем, с посохом в руках, на маленьких камусных лыжах, в игрушечных, почти круглых бродешках, в теплых штанах, фуфайке и огромных рукавицах.

С приезжими у тети Нади установились свои отношения. Студентки посещали «колоритную» старушку, угощавшую их «вареньями и оладьями», дивились ее жизнестойкости, писали под диктовку письма сестре Прасковье в Ялуторовск, а зимой слали посылки и открытки. Тетю Надю это очень трогало, она отвечала: «Сизу пису од-

на как палец», и посылала кедровые орешки в мешочке, копченую стерлядку или баночку варенья. Девушки обращались к ней за советами в щекотливых делах. Тетя Надя учила: «Своим умом зыви. Музык — он улична собака».

Студенты мужского пола с удовольствием пили у нее бражку, закусывали жареной рыбкой, что было неплохо после дежурных макарон с редкой тушенкой, и за глаза посмеивались над «бабкой», которая не выговаривает букву «ш» и по праздникам подводит брови углем.

У тети Нади было много знакомых, но постоянно ее посещали «сродный брат» Митрофан Акимыч и Петя Петров. Митрофан — крепкий и статный старик с плаксивым голосом, всегда ездивший на новом моторе. Завидев подрулившего гостя, тетя Надя выбегала из дома и кричала ему с угора, а он кричал ей снизу, и так они перекликались, пока он не подымался, потом обнимались и шли в избу. Выпив, Митрофан становился невозможно суетливым, бегал, кричал, здоровался со всеми подряд двумя руками, спрашивал, как здорово и ребятишки, кричал, указывая на бабку: «А это сестра моя, под обхватной кедрой родилась...» — всплакивал, тут же, махнув рукой, смеялся, а когда уезжал, просил кого-нибудь завести ему мотор. Когда это делали, он влезал в лодку, хватал румпель, включал реверс и уносился на страшной скорости, размашисто крутанув указательным пальцем у лица и приложив его к губам: мол, погуляли и молчок.

Петя Петров был отличным, но насквозь запойным мужиком. С Севера он привез жену-селькупку. Они работали на почте на пару и пили тоже на пару, по поводу чего в Бахте острили: «Вот красота-то! Все пьют — все довольны. Чем не счастье?» Петя любил общение, говорил с жаром, рассказывая истории, которые, по-видимому сам и сочинял. Любимое выражение у него было «море»: «Рыбы там, веришь ли, мор-р-рэ». Раз мы приехали к тете Наде с Петей, Петя вскоре набрался, мы стали его грузить в лодку, под его же руководством, но не удержали. Он соскользнул вниз головой в воду у берега, уткнулся лысиной в гальку, и хоть его тут же подняли, мне на всю жизнь запомнились глядящие сквозь прозрачную енисейскую водицу серые глаза и медленно шевелящиеся пряди редких волос.

Изредка к тете Наде приезжала погостить баба Таня, древняя сумароковская националка. Из вещей у нее была только длинная удочка и банка с червями. Говорила она хриплым голосом и все время проводила под угором, таская ельчиков, которыми тетя Надя кормила кошек. Кроме кошек, тетя Надя еще держала петуха с двумя курицами, собак и лошадь Белку.

В Селиванихе от прежних построек остались только заросшие крапивой ямы да гнилые оклады, но тетя Надя упрямо называла все прежними именами: интернат, звероферма, будановский дом, магазин, пекарня...

Тетя Надя любила угощать. Проходишь мимо ее дома, она выскочит на крыльцо с блюдцем и кричит:

«Миса-а-а! Пстой-ка, я тебя блинками угощу!» К праздникам она относилась серьезно, за несколько дней готовилась, стряпала, прибиралась в избе, приводила себя в порядок. Когда подходили гости, выскакивала на крыльцо в черной юбке, красной кофте, в крупных бусах и цветастом платке и выкрикивала специальным высоким голосом: «Милости просим, дорогие гости, все готово!» Усаживала за стол, угощала, следила, чтоб у всех было налито, носилась с закусками, подавала кому полотенце, кому воду, и никогда не ставила себе стула, возмущаясь: «Удди! Я хозяйка». Потом, когда по ее плану было пора, вдруг запевала частушки, вроде:

Поп с печки упал
Со всего размаху.
Зубы выбил, хрен сломал,
Разорвал рубаху!

Потом доходила очередь до песен, их она знала «морэ».

Тети-Надин дом приходил в негодность, разваливался, садился, напоминая тонущий корабль, и жить в нем становилось опасно. После долгих разговоров начальник предложил срубить новый дом за счет экспедиции с условием, что он перейдет в собственность станции, а тетя Надя просто будет жить в нем до конца своих дней. Тетя Надя долго думала, решала, сомневалась, а потом согласилась, потому что деваться ей было некуда. Дом строил бич Боря. Тетя Надя заботилась об одном: чтобы все в новом доме было как в старом. Чтоб перегородка на том же месте, и чтоб русская печка такая же. Когда все было почти готово, она выбежала с банкой синей краски и покрасила наличники, а потом нарисовала на них белые цветочки с листьями: «Гля-ка, как я окошки украсила». Потом она расставила в прежнем порядке мебель: буфет, кровать, стол, стулья, постелила половики, повесила на стены все то, что висело на стенах прежнего дома: ковер с оленями, календари, плакаты, фотографии, растопыренный глухариный хвост, шкурку летяги, ленточки, колокольчики, чьи-то подарки в пакетах, и когда я приехал проведать тетю Надю, было полное ощущение, что это ее старый дом — так сумела она перенести сюда всю прежнюю обстановку. Так же глядел с фотографии убитый молнией Мартимьян Палыч, так же пахло от плиты горелым рыбьим жиром и так же свисал с полки кошачий хвост.

Хорошо было заезжать к тете Наде после охоты. Промчишься, развернешься, заглушишь «буран» у крыльца, а она уже кричит из избы: «Заходи, заходи, дома я». И даже если она совсем тебя и не ждала, она все равно защебечет: «А я как чувствовала! Как чувствовала! А Петенька-то, Петенька, с утра ревет лихоматом! А коски-то, коски с ума сосли! Снимай, снимай, снимай, сто т-ты — мороз такой!

На печку лозы. А у меня как раз хлеб свежий. Ну, садись рассказывай, как там жизнь у вас, как промыслили? Ну и слава Богу, слава Богу. А я тозе поохотилась. Гля, каку крысу в капкан добыла — цельный ондатр. Красота! Сейчас осниму, а летом туристам — возьмут как милые. О-о-х, и смех, и грех... А у меня день розденье скоро, Юра посулился быть. Приезжайте с Толиком. В тайгу? А-а-а... Ну, сто делать, надо, надо...»

Юра работал бакенщиком. В навигацию, проверяя бакена и створы, он часто заезжал к тете Наде и, косясь на стол, рассказывал, как в Бахте «рыбнадзоры припутали Ванюшку Деревянного» или как медведь опять разобрал створы у Соснового ручья, а она восклицала: «Ты сказы! От падина!» и наливала ему крепкой, закрашенной жженым сахаром браги.

Настал день рожденья, тете Наде исполнялось семьдесят пять лет. Она встала ни свет ни заря, затопила печки, бросилась подметать, готовить стол, сбегала пригласить заведующего Колю с женой, вернулась, снова принялась хлопотать, гадая, придет Юра один или с дочкой, и прислушиваясь ко всем звукам, доносящимся с улицы. Собаки залают, самолет пролетит, она выбежит на крыльцо с биноклем, глядит на Енисей: что там за точка, не Юра ли едет, нет — торосинка это или куст, кажется. Ладно, к обедуту точно должен быть. Проходит день, настает вечер. Нет Юры. На столе тарелочки с закусками: брусника, грибки, соленая черемша, печеная налимыя икра, копченая селедка, блины, свежий хлеб, компот в банке. Приходят Коля с женой, приносят подарок:

— Что, нет Юры?

— Зду, зду. Все глаза проглядела. Во сне видала — долзон приехать. Петенька-то с утра, сто ты! Токо гром делат! А коски-то, коски! Ну, проходите, проходите!

Уже темно, и ясно, что Юры не будет, тетя Надя говорит:

— Ну, значит, дела, дела у него. Я давеча карты разлозыла — казенный дом выходит. Или «буран» сломался. Теперь уж с утра здать будем.

Так три дня тетя Надя и держала накрытый стол, выбегала на угор с биноклем, но так и не доехал до нее Юра, гулявший у соседа.

2

На угоре напротив тети-Надиного дома стоял кожаный диванчик с катера, у крыльца лежал коврик из распоротой бурановской гусеницы. Летом тетя Надя ставила рядом с диванчиком железную печку для готовки.

Душными июльскими днями с синей мглой над ровным Енисеем бабка в штанах, чтобы не ел комар, все что-то варила на печке, а у дымокура подергивала шкурой и обмахивалась хвостом серая кобыла. («Ты сказы — Белку совсем заздрали!»).

Белку тетя Надя любила особой любовью. Это была старая, но еще здоровая лошадь, оставшаяся без работы, когда в Селиванихе появился «буран». Тетя Надя упрямо продолжала ставить сено, любые разговоры о том, чтобы продать Белку, воспринимала как оскорбление и очень оживилась, когда сломался «буран» и пришлось запрягать Белку, чтобы привезти из Бахты продукты к Новому году. Как-то раз летом Белка потерялась, и тетя Надя плакала:

— Манила ее, манила. Нету-ка нигде. Наверно, медведь задрал.

Белка нашлась. Шли годы. Тетя Надя старела. Все трудней становилось ходить за Белкой, ставить сено. «Все-таки придется Белку в Бахту сдать, — привыкала бабка к этой мысли, — там она хоть работать будет, а то у меня-то совсем застоялась». В Бахте на конях возили сено с Сарчихи и Банного острова, хлеб из пекарни в магазин и воду по домам. Наконец, тетя Надя решилась. За Белкой приехали с вечера на деревянной лодке с загородкой из жердей, а ранним утром ее погрузили и повезли в Бахту. Я встретил их по пути на рыбалку и несколько раз оглядывался. Подымался туман, расплывались и ломались очертания берегов, лодки видно не было, и казалось, что над Енисеем висит в воздухе конь.

Как-то раз сдавали мы рыбу на звероферму. Спускали в ледник тяжелые мокрые мешки. В леднике было темно и холодно, хлюпала под ногами вода. Вдруг моя нога наткнулась на что-то большое и скользкое. Это была Белкина голова. Тете Наде я ничего не сказал, и она до сих пор думает, что ее Белка возит в Бахте воду.

3

Есть такой обычай, когда тронется Енисей, зачерпнуть из него воды. Ледохода все ждут, как праздника. Тетя Надя внимательно следит за каждым шагом весны. То «плисочка прилетела», то «гуси за островом гогочут, и сердце заходится»... «Анисей-то, гля-ка, подняло совсем, однако, завтра к обеду уйдет». Но медленно дело делается. Прибывает вода, растут забереги, трещины пересекают лед, и все никак не сдвинется он с места. Но наконец, в один прекрасный день раздается громкий, как выстрел, хлопок, проносится табунок уток, и вот пополз огромный Енисей с опостылевшим потемневшим льдом, с вытаявшими дорогами, с тычкой у проруби, появляется длинная трещина с блестящей водой, с грохотом и хрустом лезет лед на берега, и вот уже тетя Надя, что-то звонко выкрикивая и крестясь, бежит с ведерком под угор, кланяется Батюшке-Анисею в пояс. Дожила...

ВАСЬКА

1

Первое, что услышал Васька, просыпаясь, был шелест дождя по крыше избушки. «Значит, за глухарями не поедем», — подумал он, чувствуя, как отпадает всякая охота подыматься.

Было поздно. Николай давно вставший и попивший чаю, сидел на нарах, сопя и куря папиросу, и прикручивал цепочки к капканам.

— ...Сорок пять... Ну и как спали, Василий Матвеевич? — проговорил он, швырнув в кучу последний капкан.

«Мог бы разбудить, если так недоволен», — подумал Васька и, кивнув на покрытое каплями окно, спросил неизвестно зачем:

— Давно сыпет?

— Ешь давай, — ответил Николай, — да поедем сеть смотреть.

Снег, так радовавший Ваську, наполовину стаял и оставался только в складках мха. У безжизненного кострища мокро блестела банка. Вода стояла в собачьем тазу, висела мелкими шариками в кедровых иголках. На открывшуюся дверь вяло шевельнулся серый хвост под навесом.

Чуть забелело в низких тучах, от ожившего ветра полилось с деревьев крупными каплями, закричала с елки кедровка. Но когда Николай с Васькой спустились к Бахте по скользким чугунным камням, снова потемнело, и засипел по воде было притихший дождик. Николай отвязал от кустов веревку, и лодка, грохоча, сползла в воду, оставив на камнях белые блестики.

— Заводи иди, — поеживаясь, буркнул Николай; чувствовалось, что ему неохота ни шевелиться, ни к чему-либо прикасаться. В сеть попали три большие щуки и таймень. Николай застрелил его из тозовки. Когда ехали назад, дождь усилился, и Ваську, сидевшего за мотором, больно било по глазам.

Обсушившись, Васька решил пройтись по дороге, которую ему отвел Николай в этом месте. Но едва он поднялся в хребет, пробрел по редкому кедрачу с пяток капканов и вышел, шурша снегом, к болотцу с красным мхом, всыпал такой дождь, что ему ничего не оставалось, как вернуться обратно.

— Ну и охота мокнуть было? — усмехнулся Николай, все вопросы начинавший с «ну и». Васька поел жареного тайменя с картошкой, попил чаю и, смастерив на чурке станочек из толстой проволоки, принялся вертеть цепочки для капканов. Николай, всегда делавший то же самое плоскогубцами, посмеивался: мол, давай-давай, мастер, посмотрим, что из твоего мастерства через месяц выйдет.

Быстро стемнело. Николай заправил лампы, долго протирал стекла газетой, подрезал ржавыми ножницами фитили. Разгорелось пламя, и сразу сжалось, почернев, синее окно. Николай прикурил от лампы, улегся и, не глядя, достал с полки журнал.

Васька в калошах на босу ногу вышел на улицу, помешал остывающий на лабазке собачий корм, вернулся, лег на нары — и затосковал. Дождь убил в нем всю прежнюю бодрость — бодрость от новых забот, от легкого морозца, стоявшего целую неделю, пока они развозили продукты по избушкам. Он чувствовал себя совершенно размокшим и бессильным. Все его удручало. От шуточек Николая становилось неловко, он не знал, как на них отвечать: обижаться не хотелось, а остроумно огрызаться он не решался, да и не умел. Все меньше нравился и сам Николай, который, казалось, без конца напоминал, что он здесь хозяин и что у него со всем вокруг, начиная от ведра в избушке и кончая порогами Бахты, свои старые отношения. Ваське казалось, что даже вещи напарника смотрят на него с превосходством, особенно полка, туго и аккуратно набитая пачками пулек, махорки, папирос. Казалось, что если Николай сажает его за свой мотор, то непременно для того, чтобы Васька видел, как хорошо тот у него работает. Казалось, что Николай все время ищет повода придраться, что если нарезать хлеб толсто, он скажет: «Оковалков напал», а тонко — «Ково настриг — окошко видать», и поэтому старался резать как бы средне и вообще избегал что-либо делать первым.

Васька уже не мог остановиться. Раздражало лицо Николая, сухое, с русой бородкой, с выпуклыми желтоватыми глазами, которые, когда тот жевал, прикрывались крупными веками в веснушках, и одно из них двигалось вверх-вниз в такт челюстям. Все больше не нравились его избушки, маленькие и низкие. Васька пощупал шишку на лбу, поглядел на балку и представил, что сказал бы отец по этому поводу: наверное, что-нибудь вроде: «Лесу пожалел, а головы нет». Не нравилось Ваське и их устройство: везде одинаково — стол у окна и по бокам нары. Особенно раздражала Ваську эта избушка, срубленная почему-то на крутом склоне и покосившаяся сразу в двух направлениях, так, что когдаходишь, сначала получаешь дверью по спине, а потом танцуешь на кривом полу, чтобы не завалиться на печку.

Закрыв глаза, Васька стал представлять себе Бахту, по которой они подымались с грузом несколько дней. Она казалась широкой и неприветливой, с бесконечными камнями, косами, скалами в косой кирпичик и сеткой облетелых лиственниц по берегам. Васька содрогнулся, вспомнив неуместное веселье беляков в пороге, стук мотора о камни и тугое стекло слива, сквозь которое просвечивает зеленое ребро каменной плиты. Потом он стал думать о названиях, которые уже совсем никуда не годились: Бедная речка, Холодный ручей или еще того лучше: Хигами, Гикке и Ядокта, которую Николай,

надо отдать ему должное, удачно переименовал в Ягодку. То ли дело Верхняя речка, Андроновский лужок, Алешкин ручей! И Васька с невозможной тоской вспомнил деревню, Енисей, озера на левой стороне, где они весновали с отцом; вспомнил майское солнце, земляные берега Сарчихи, из которой по виске можно попасть в длинное озеро, вспомнил большую избушку в остроконечном чернолесье и горьковатый запах тальников, дрожащих под напором течения и прозрачно-слоистых, оттого что каждый уровень воды оставляет на них свою полоску ила.

Раз поймали они в сеть огромного карася, поразившего Ваську своей сказочностью: темно-золотой, с копейку, чешуей и человечесьсамодовольным выражением выпученных глаз и приоткрытого рта. А раз Васька, пробираясь ранним утром на ветке, долбленной лодке, по затопленному ельнику, услышал совсем рядом, впереди, нежный, колокольнзвонкий клик. Он выехал из чащи и увидел на абсолютно зеркальном озере двух лебедей, которые, когда он подплыл ближе, завертели желтоклювыми головками и поднялись, медленно отделившись от своих отражений и оставив на воде две рассыпающиеся дорожки. Сделав круг на фоне ельника, они набрали высоту и, перекликаясь, пролетели над Васькой, деревянно и тоже как-то сказочно двигая выгнутыми крыльями.

Однажды отец уехал в деревню сдавать рыбу и задержался на сутки. Васька, прождав ночь, отправился смотреть сети и так увлекся, что опомнился только вечером в отяжелевшей от рыбы ветке, когда, еле ворочая веслом, въезжал по виске в озеро — прямо в серебряное небо, где над перевернутым облаком висела в воздухе обоюдоострая стена пихтача с еле заметной линией берега посередине, с двумя половинками лодки и двумя изогнутыми струями синего дыма. У костра на тропинке, уходящей в воду, сидел отец и мешал в большой чашке сметану с мелко нарезанной черемшой.

Ту ночь, светлую и короткую, Васька запомнил на всю жизнь. Отец полулежал на боку, глядя сквозь остывающий костер на дрожащую воду, одной рукой подперев голову, а другой обняв привалившегося к нему Ваську. Никогда он не видел отца таким задумчивым, никогда рука его не лежала на Васькином плече так хорошо и никогда он не испытывал такого счастья. И такой усталости, которая продолжала укачивать его, как ветка, и он, уже закрыв глаза, все выпутывал из бесконечной сети серебристых, пахнущих огурцом сигов. Отец отнес Ваську в избушку, сходил на берег прибрать хлеб и, когда сам укладывался, заметил, прикручивая фитиль, как дернулась рука спящего Васьки с распухшими красными пальцами.

Летом отец утонул. Как это произошло, никто не узнал, нашли только прибившуюся к острову и полную песку лодку. Васька остался вдвоем с бабушкой: мать умерла, когда он был еще совсем маленьким.

2

Прошло три месяца с того самого дождя. Ясным морозным днем Васька подходил по белому полотну Нимы к дальней избушке, стоящей на устье незамерзающего ручья в светлом и просторном листовничнике. Утро было очень холодным. Пар выходил изо рта плотной струей и с шелестом рассеивался.

Низко над рекой пролетел, скрипя крыльями и косясь на избушку, ворон. Были видны заиндевелые ворсинки у его ноздрей. На ворона некстати взлаял кобель-первоосенок и тут же замолк, пряча глаза. Ваську все это очень позабавило, одарив на весь день хорошим настроением. Мороз не давал мешкать и он часов за пять управился с дорогой. Попало три соболя. Искрился снег, густо синели тени, тянулся за лыжами сахарный ступенчатый след. До избушки не хватало нескольких капканов, и Васька, скатываясь по звонким кустам на реку, с удовольствием подумал: «Все хорошо будет — в следующем году доставлю».

В одном месте на припорошенный лед вылилась вода и застыла кристаллами. Слетелись толстые красные клесты и грызли эти зеленые звезды своими похожими на испорченные ножницы клювами. Они старательно наклоняли головы, прижимали их ко льду, и была в их движениях какая-то смешная ухватистость.

Серебрились на еще светлом небе тонкие, изогнутые, как рога, ветви листовниц. Полоска пара висела над промоиной. За мысом открывался длинный плес и над ним — сопка с припудренной вершиной.

Бочка у избушки, чурка с воткнутым две недели назад топором — все было засыпано пухлым голубым снегом. Васька не спеша освободил ноги из юкс, снял тозовку, привадник, понягу, согнувшись, вошел в ледяной сумрак и, прежде чем затопить печку, стукнул по трубе поленом. В ответ с шорохом проехал кусок снега. Потом он, не расслабляясь, надел лыжи и притащил из поленницы несколько листовяжных чурок, которые кололись на рыжие волокнистые поленья, казалось, еще до того, как их коснется топор. Потом спустился с ведром к промоине у ручья. Края затягивались ледком, сквозь темную парящую воду виднелось дно в камнях. Шурша, развернулась отколота льдинка, и Ваську еще раз уморила эта зимняя живучесть речек и ручьев, в любой мороз продолжающих таинственно побулькивать. Подымаясь обратно к избушке, Васька с одобрением уставшего человека прислушивался к гулким щелчкам, к нарастающему реву в высокой трубе, из которой вслед за густым дымом начинал вырываться прозрачный расплавленный воздух, иссеченный искрами.

Смеркалось, уходило в открытое небо последнее тепло. С резким, каким-то особо отчетливым морозным шелестом шумел по камням ручей. Избушка нагрелась, светилась печка рубиновой красно-

той, плавилась в кастрюле льдышка глухариного супа. Васька развел соболей, снял азам, заиндевший изнутри по швам, растянул его на гвоздях за печкой, потом, несмотря на почти невыносимую пустоту в животе, еще некоторое время терпеливо разувался и принялся за еду, только когда аккуратно висели на своих местах бродни, перехваченные бабушкиными цветными вязочками, пакульки и портянки. После чая он поставил на печку собачий корм и, откинувшись на нары, замер, переживая блаженство этого долгожданного мига.

Ровно горела лампа. Чуть покачивалась под чисто вытертой лувкой стекла золотая корона пламени. Всегда есть в подобном свете что-то старинное, торжественное и очень отвечающее атмосфере той непередаваемой праведности, которая сопровождает одинокую жизнь охотника. В эти минуты Ваську охватывала такая волна любви ко всему окружающему, что по сравнению с ней долгие часы усталости, холода и неудач не значили ничего. Он смотрел на смуглые стены избушки и восхищался, как ладно срублен угол, как плотно заходит одно бревно за другое, как просто и красиво висят портянки на затертой до блеска перекладине под потолком. И росла в нем безотчетная гордость за свою жизнь, за это нескончаемое чередование тяжелого и чудного, за ощущение правоты, которое дается лишь тем, кто погружен в самую сердцевину бытия.

3

С Николаем они встречались редко, раз или два в месяц, чаще всего в главной избушке, заранее рассчитывая время, чтобы прийти в один день. Когда этот день наступал, Васька, волнуясь еще с вечера, вставал намного раньше обычного и, подходя краем Бахты к знакомой ложбине, издали высматривал полоску лыжни на снегу или столб дыма среди пестрого от кухты леса. Но обычно он приходил первым и, таская на нарточках дрова для бани, то и дело прислушивался и выбегал на высокий угор в надежде увидеть вдали у мыса три шевелящиеся точки. Потом возвращался в избушку и, томясь ожиданием, пил чай, крутил приемник и вдруг вскакивал от громкого лая, без шапки выныривал на улицу и, отбиваясь от собачьих приветствий, слышал далекое и мерное шуршанье лыж.

Вскоре появлялся Николай, весь белый, с белой бородой, с березовой лопаткой под мышкой и кровавой белкой у пояса, с сосульками на усах и улыбкой, еле раздвигающей застывшие губы.

Иногда они менялись ролями, и как было приятно, до темноты провозившись с соболем, застрявшим после выстрела в толстой и лохматой кедре, подходить по свежей лыжне к светящемуся окну и видеть, как бьется во тьме рыжий хвост пламени над трубой. Валит пар из приоткрытой двери, рябчики скворчат на сковородке, а из рации, к большому удовольствию сытого и разомлевшего Николая,

доносится пискляво-игрушечный разговор какого-нибудь «Тринадцатого» с «Перевальной», обсуждающих способы ремонта «дырива-того» ведра.

Раз на другой день после такой встречи, возвращаясь с дороги, Васька увидел напарника на крыше, скидывающего лопатой скрипучие кубы снега. Он было кинулся помогать, но Николай раздраженно осадил его: мол, мог бы и сам давно догадаться, что крыши здесь никто перекрывать за него не будет. У Васьки одеревенели губы от обиды, и он ушел в избушку пить чай, сразу показавшийся безвкусным, хоть он и мечтал о нем весь день. Впредь он стал еще более внимательным. Заметив, что Николай всегда, уходя, оставляет с избытком мелко наколотых дров, он стал оставлять еще больше и еще мельче наколотых, и между ними даже завязалось что-то вроде игры с возрастающими ставками, из которой Васька вышел победителем. Николай, видя Васькину покладистость и отдавая должное его упорству в охоте, раз от раза становился доброжелательней и словоохотливей. На Новый год они просидели до пяти утра. Николай, первым вспомнив случай со снегом на крышах, признался, что «после сам переживал» и что «наверно, язык не отсох бы все добром объяснить, а не реветь попусту». Он усидел почти бутылку спирта, и Васька потом долго вспоминал истории про непутевых напарников, которых у Николая была целая коллекция и которые, хоть и стоили друг друга, но изводили его по-разному.

Был один, Борька, все приговаривавший во время сборов: «Тайга — это тебе не водку трескать». Залетали они в тот год на вертолете. Николай разделил груз на две части: с одной высадил на главной избушке Борьку, а с другой полетел на Ягодку, откуда тот должен был забрать его на лодке. Но шло время, а Борька все не появлялся. Николай забеспокоился, пошел к напарнику сам, шел два дня, промок до нитки, перебираясь через Хигами, и обнаружил в теплой избушке невредимого Борьку, храпящего среди пустых бутылок. «Хоть бы глоток, подлец, оставил», — подумал Николай, а кончилось все просто: на другой день он помог Борьке стащить на воду старую деревянную лодку, и тот послушно отбыл на ней в деревню.

Однажды Николай чуть не погиб от аппендицита. Рация, как обычно, была на Холодном, а прихватило его совсем в другой стороне. Он ковлял оттуда несколько дней, пришел ночью и чудом застал на связи охотника из соседнего поселка.

Вылетел вертолет, Николай пошел его встречать на Бахту, и его нашли в снегу без сознания с тускло горящим фонариком в руке.

В каждой избушке у Николая висело по школьной тетрадке. В такой тетрадке красивым почерком было записано, что такого-то числа охотник Шляхов пришел с Холодного (не видал ни следушка), а такого-то ушел на Ягодку, мороз столько-то градусов. Но особо запомнил Васька другую запись. Она кончалась словами: «...пишу стоя на коленях жалко мало пожил».

Постепенно Васька начал понимать, что за желчностью Николая стоит вовсе не какая-то вредность характера, а обычное недоверие битого жизнью человека. Он с облегчением чувствовал, что этого недоверия остается между ними все меньше и меньше. Особенно по-тепело на душе у Васьки, когда в одной из избушек появилась сделанная руками Николая крутилка для цепочек.

В отношениях с людьми Ваську все больше удивляла обманчивость внешнего впечатления. Он всегда с интересом слушал разговоры по радиостанции и даже придумал игру: представлять себе по голосам разных охотников, а потом сверяться у Николая. Часто все выходило совсем не так, как он думал, и придурковатый заикающийся «Еловый» оказывался лучшим охотником района, а бойко и грамотно баящий «Захребетный» — последним болтуном, лентяем и посмешищем целого поселка. Был еще некто «Пятнадцатый». Говорил он резким недовольным голосом с причавкиванием, и казалось, что его вечно отрывают от пожирания чего-то вкусного. Ваське не нравился его авторитетный тон и привычка делать всем замечания. У «Пятнадцатого» была большая семья, и он без конца с нею беседовал, то и дело прерываясь и требуя, чтобы ему не мешали и не «забивали» эфир пустяковыми разговорами. Охотился он с сыном. Сын, как и Васька, был на охоте первый раз. У сына этого был такой же голос, как и у отца, звали его тоже Геней, и Васька поначалу их даже путал, потому что Гена-сын тоже причавкивал и хорохорился не хуже отца, как бы давая этим понять, что он хоть и молодой, но тоже «Пятнадцатый».

Однажды Васька пришел настолько голодным, что первым делом, не дожидаясь, пока оттает ужин, сжевал брикет сухого киселя со снегом. После этого он подкрепился двумя чашками борща, а перед сном умял сковородку риса с глухарятиной. Под утро он проснулся от нестерпимой рези в животе и весь день провалялся на нарах. Оказалось, что младший Гена тоже заболел и, пользуясь затишьем, до обеда проговорил с молодой женой, причем сначала по привычке продолжал изображать «Пятнадцатого», а потом неожиданно пролепетал, что «соскучился ужасно», и Васька, которого и так не покидало ощущение, что он подслушивает, совсем смутился и выключил рацию.

4

Бабушка жила в Васькиных мыслях постоянно. Маленькая, легкая, как соенок, мягкая от надетых на нее платков и фуфаек, пахнущая прелым тряпьем, рыбьим жиром и картошкой, она и на расстоянии преследовала его своей заботой. Теперь, после долгой разлуки, Васька принимал эту заботу без раздражения и всякий раз улыбался, вспоминая, как навязчиво-неловко охраняла она его от водки или как перед отъездом донимала советами («Бахта станет — по льду не ходи»).

Но чаще он думал о ней с благодарностью и тревогой, представляя, как она, кряхтя, колет дрова, как возит с Енисея воду на рыжем кобеле и как темным утром тащится с фонариком в контору узнать, «нет ли от Васи чего».

Еще вспоминал он ветреный день их отъезда. Накатывала на обледенелую гальку холодная и наглая волна. Мокрый Николай, ругаясь, отпихивал от берега перегруженную лодку, ветер срывал брезент с груза, а вспотевший Васька бегал за отвязавшейся собакой. И когда бабушка в десятый раз закричала, ударяя на «я»: «Вася-я-я! Ты рукавицы взял?» — он проорал ей в ответ что-то настолько резкое и грубое, что и теперь, вспоминая, краснел от стыда.

И чтобы заглушить этот стыд, Васька изо всех сил думал о том, как отдохнет бабушка, когда он вернется, как хорошо они с ней живут, теперь, когда он такой взрослый и сильный, и что в следующий раз он обязательно наколет ей дров на всю зиму.

Под конец охоты уже очень хотелось домой, но когда настало последнее утро, когда прибирали в избушке, выкидывали ошалевшим собакам остатки рыбы, стало вдруг страшно грустно и обидно за это вот-вот опустеющее жилье, за открытую лыжню, по которой он вчера пришел и которая ему больше никогда не понадобится, за прибавляющийся день и солнечную погоду, которая будет теперь стоять впустую. Но в следующую минуту засосало под ложечкой от радостного волнения и пробежал по ногам зуд предстоящей дороги.

Недалеко от деревни они в последний раз ночевали в избушке. Ее хозяин, молодой парень, уже отохотился и ушел домой, оставив на гвоздике в цветастом мешочке домашнее печенье — «стряпанное». Васька, как ни сдерживался, сгрыз добрую половину вкусного стряпанного и, отвалясь на нары, уснул мертвым сном. Под утро посреди какого-то путаного сна его разбудил Николай. Трещала печка, чуть синело окно, верещала рация. Странно бодрый Николай внимательно посмотрел на Ваську и, как бы решившись на что-то, выдохнув воздух, сказал:

— Вот что, Василий. Сейчас с деревней разговаривал. Бабушка твоя умерла.

Будто лопнул лед под Васькой, и от обдавшего холода он проснулся уже по-настоящему и, оглядевшись, сначала не мог понять, почему так механически-мерно сопит Николай и так равнодушно-недвижен еле тлеющий фитиль лампы. Пережитое во сне было настолько сильным, что он, лежа с открытыми глазами, чувствовал, как все продолжает тонуть, цепenea в пробирающем до костей холоде, — будто он снова бесконечно маленький и беспомощный, будто не бывало никогда ни морозной радости на сердце, ни тридцати вычесанных соболей в поняге, а есть только извечный, оголенный сном, страх одинокой потерянной души. Васька затопил печку. Она загудела, и все сдвинулось с мертвой точки, затикали часы на столе, пошевелился Николай, завозились собаки за дверью...

Настал день, а страх все не отпускал. Он был с Васькой все время, пока они шли по уже хорошо накатанной дороге, и когда их встретили у зверофермы, и когда они тряслись в нарте на едком дыму выхлопа мимо заваленных снегом домов, мимо собак, лай которых тонул в реве мотора и оставались от него лишь нелепо дергающиеся головы с открывающимися пастьями. А потом показался дом на угоре, и на крыльце стояла бабушка в красном платке и фуфайке, с охапкой дров, и, когда гул стих, она все что-то искала сморщенным лицом у него на груди, а он гладил ее по вздрагивающей стеганой спине и говорил не своими губами: «Ну, будет, будет...», а над огромным Енисеем гнал ветер синюю пыль и ехало по зубчатому горизонту сплюснутое сказочное солнце.

ОСЕНЬ

1

Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, все уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается..

Тук-тук.

— Да-да!

— Здравствуй, Галь.

— Здравствуй, Миш.

— Как дела?

— Помаленьку

— Мужик где?

— В мастерской.

Тук-тук.

— Да-да!

— Здорово, Петрух.

— Здорово.

— Как дела?

— Помаленьку.

— Так-так.

— А что хотел?

— Да вот, в тайгу собираюсь — крышечку ищу.

— От бачка?

— От бачка. — Была у меня крышечка, да Вовке отдал — он в тайгу собирается.

Проходишь по раскисшей от дождей деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь, как пес, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трех-литровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:

— Плюнь ты, Миха, на эту крышку. Дерни-ка лучше браженции.

Дернешь браженции, и сразу оживет и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведет золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И сама собой придет в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылочку да зайду к Толян».

— Молодец, что зашел, — обрадуется Толян, — а то эти сборы уже в печенках сидят. Обожди — рыбы принесу.

Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селедкой, поговоришь о том о сем, о делах, которые как ни старайся — все на последний день останутся, глядь — давно уж темно и домой пора.

— Не забудь, — скажет Толян, поднимаясь, — фуфайку. В прошлый раз оставил.

— Вот голова дырявая. Столько дней в старой хожу. Спокойной ночи.

Возьмешь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту. Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьешь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дому, раздумывая, к кому бы направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет — крышечку от бачка.

2

В ту пору весь год у меня проходил в заботах: то лес несет — грех не поймать, то надо избушку срубить, то мужикам с сеном помочь. И я всегда с надеждой ждал осени, чтобы добраться до книг. Из города мне прислали их целую кучу, часть я отобрал в тайгу и уложил в большой, с железными уголками, ящик. Были там книги по философии, по истории, чужой, взятый под честное слово Бердяев, Марсель Пруст, Хлебников, Леонид Андреев и многое другое, в частности — прекрасно изданный сборник стихов Бухалова с автографом. В том же ящике лежало еще кое-что из ценных, более прозаических вещей: пульки для тозовки, батарейки, приемник. «Что ни говори, собрание своеобразное», — посмеивался я, гадая, вытерпит ли, к примеру, глянцевитый Набоков соседство запасных портянок, и с нетерпением представлял, как в какой-нибудь дождливый день с раскисшим снегом и неприятно теплым ветром залягу на нары и нащупаю на отяжелевшей полке корешок, как потяну его, и при этом соскользнет и свалится на меня соседняя книга, потом еще одна или две, и как я не спеша выберу какую-нибудь одну, небольшую, в крепком переплете, и открою первую страницу.

Осень шла хорошо. После дождей, на руку нам поднявших воду в Бахте, установилась ясная погода с задумчивым и студеным северным ветерком, с ночной коркой на лужах и застывшей грязью в ледяных стрелках. Утро отъезда выдалось холодным и таким туман-

ным, что едва видны были камни на берегу. Долго подходила, тарактя, невидимая самоходка, наконец гуднула и отдала якорь, громыхнув цепью.

Прибежал Толян, сказал, когда ждать трактор. Лицо его было озабоченным — в последние дни все не ладилось. То пошел дождь, едва начали смолить лодку, то выключили свет, когда собрались подварить отвалившийся ус к ограждению для мотора.

Пришел трактор с саями, мы погузили на них мешки, ящики, бочки и в последний раз прокатились по дороге. При выезде из очередной ямки, по края заполненной булькающей жижей, чуть не упала бочка с бензином, которую Толян удержал, вскрикнув: «Куда-постой!»

И вот на берегу уже чистого от тумана Енисея стоят возле горы груза несколько человек, скулят привязанные собаки, а на воде чуть покачиваются две длинные, остроносые, черные, как головешки, деревянные лодки. Вот и все. А дальше — лиловый дымок за мотором, длинная коса и поворот. А за поворотом минеральной синь бахтинской воды, рябь бегущей гальки под бортом и внезапно остановившийся Толян. Подъезжаешь к нему тихо и осторожно, чтобы не утопить сидящую по самые борта лодку, так тихо, что слышен отдельный стукоток каждого поршня, вопросительно киваешь, а он кричит:

— Да заглуши ты его! — и достает из рюкзака бутылку спирта. И появляется кружка, пахнущий пекарней белый хлеб, рыжая стерлядка в газете, и тепло из желудка расходится по всему телу, перерастая в ощущение ровной и долгожданной свободы. Вот дрогнули в глазах и окрепли с новой силой и прелестью кастрюлька с инструментами, коренастая фигура напарника, рыжая лиственница на берегу, и уже получили собаки по шершавой стерляжьей шкурке, и далеко по синей воде угоняет ветер кораблик скомканной газеты.

Ехать долго. Заночуешь где-нибудь у Ганькина порога. Утром встанешь, выйдешь из избушки: падает лист с березки, свистит рябчик. С угора как на ладони виден порог в черных точках камней. Река большая, вид у нее пустынный из-за широких паберег, покрытых жухлой заиндевелой травой.

С каждым поворотом сильнее уклон. Дно видно почти везде — вода очень прозрачная. В зависимости от глубины она имеет разный цвет. По широким мелким перекатам течет крученой дымчатой пленкой, под порогами бродит по кругу черным стеклом. Поверхность глубокого плеса даже в пасмурный день зеркальная, но, свесившись за борт, сквозь зыбкий иллюминатор своего отражения увидишь в зеленой мгле плиту с трещиной и яркий обломок березы. Помню, поставили мы сеть в одиннадцатиметровой яме, в тени одного скалистого закуртка, и, подъехав проверить, были по ражены зрелищем: далеко внизу, чудно искаженные зеленоватой водой, под круглыми, как монеты, берестяными поплавками, висел десяток в гамачном оцепенении замерших сучар.

Погода нас продолжала баловать. По утрам на галечные косы вылетали глухари и, неподвижно выгнув шеи, следили за приближающимися лодками. Встречались стаи уже торопящихся на юг уток: крохалей и гоголей. Образовавшийся за семь сезонов охоты Толян называл глухарей петрашевцами, а гоголей — Николаями Васильевичами.

Был хороший момент: Толян, пройдя, или, как говорят, «подняв», шивёры, лихо сшиб налетевшего Николая Васильевича, а я, идя сзади, так же лихо поймал его почти в сливе, едва не зацепив мотором мрачный камень с развевающейся зеленой бородой.

Надо заметить, что катание по порогам перестает быть захватывающим занятием, как только в лодке вместо чьей-нибудь любознательной племянницы оказывается тонна вашего собственного груза, который желательно довести до участка и не вывалить в какой-нибудь верхний слив Косого порога.

Подъезжая к порогу, издали видишь: там что-то происходит. Кажется, будто отчаянно машут впереди чем-то белым. Привстав из-за груды мешков, глядишь на приближающуюся ослепительную кашу и сбавляешь обороты. Лодка переваливается через волны, ходят борта, как живые. Вот налегаешь на румпель, сопротивляясь большому водовороту, вот огибаешь грозный хвост слива с высокими стоячими волнами и зависаешь под защитой треугольного камня в голубой газированной воде. Вот врезаешься в струю и медленно ползешь по ней, пока, наконец, не оказываешься со всех сторон окруженным озверевшей водой. Вот мотор громко взрывает, хватив воздуха, лодку начинает сносить назад, но ты сбрасываешь газ и, вцепив винт в воду, снова, озираясь, двигаешься вверх, вот морщишься от резкого удара — откидывается мотор, и пока он, огрызаясь, ползет по камню, начинает заваливаться нос, но все обходится, и ты, надав газу, успеваешь выровнять лодку, а впереди уже видны две горбатые глыбы, клин упругой воды между ними и масляная гладь плеса.

По плесу во всю ширь медленно плывет рыжая лиственничная хвоя. Плавно спускаются к каменистым берегам пестрые осенние склоны, и вот место, где когда-то передо мной предстала картина, которая и в старости будет волновать меня до озноба: в синеватом воздухе мыс с нависшей елью и далекая нежно-желтая сопка...

Уже нос лодки поравнялся с верхними глыбами, как вдруг из общего рева выпал звук работающего мотора, и стало тихо, хоть порог и грохотал во всю мощь. Лихорадочно дергая шнур, я успел заметить и запомнить, как лодка, теряя скорость, на долю мгновения застыла на месте и как дохнуло от этой заминки потусторонним холлодом. В тот же миг меня понесло обратно; кажется, я успел только поднять мотор, и развернувшуюся лодку со всего маху шархнуло середкой о камень. Помню, как она валится набок, как летят за борт веером инструменты вместе с кастрюлькой, как выпрыгивает

бочка с бензином, бачок, мешки, и вот уже лодка, колыхаясь, сидит на камне с остатками груза, полная воды, а я вишу снаружи на борту и одной рукой отчерпываю воду уцелевшим ведром. Помню, как, упершись ногами в камень, помогаю ей сняться, как запрыгиваю, как все отчерпываю ее этим новым и блестящим ведром и как выносит меня из порога навстречу Толяну. Толян одной рукой держит румпель, другой пытается остановить пляшущую у его борта бочку а сам кричит:

— Все поймал, только сундук утонул!

Мне повезло. О более высокий камень лодку сломало бы пополам, а так она просто скинула лишнее и с моей помощью сошла на воду. Тогда я об этом не думал. Хотя уцелело все: и оружие, и пила, и лыжи, и остальные ящики, а из хлеба получились отличные сухари, сладкие от пропитавшего их сахара, потеря сундука с книгами была для меня настоящим горем. Лучше бы какой-нибудь рис утонул, думал я и отчетливо видел не занятый обработкой пушнины вечер после неудачной охоты, когда все дела переделаны, сторожки для кулемок заготовлены на несколько лет вперед, все надоело и хочется только одного — живого человеческого слова. Кроме потери книг, удручал еще и сам позор приключившегося: вроде бы столько лет хожу по Бахте, и вдруг такая промашка. И хотя с виду я был не виноват (сам заглох, дармоед железный!), совесть моя была не чиста: слышал же я пятьюдесятью километрами ниже короткий перебой с горючим, но подкачал грушей и успокоился, вместо того чтобы потратить пять минут и вытащить из насоса плитку рыжей краски от бачка, доставившую столько хлопот ни в чем не повинному Толяну и отравившую мне всю осень.

Пережив такое начало охоты, я, в ожидании следующих бед, по семь раз все отмерял, без конца стучал по деревянному и сыпал соль через левое плечо. Толян дал мне приемник, батареек и еще кое-что взамен утонувшего вместе с книгами. Предложил даже взять журналов, но я отказался: не судьба — так не судьба. Мы расстались на берегу у его последней избушки хмурым утром, когда повеяло не сильным, но каким-то сплошным и нештучным холодом. Пожелали друг другу удачи и пожали руки. Много вкладывается в такое рукопожатие. Пока я отпихивался, заводил мотор, Толян стоял на берегу, а когда заработал винт, махнул рукой и пошел в гору.

Шиверá в устье Тынепа выглядела как серебристая грохочущая дорога с синим хребтом над колючим хвойным берегом. Я поднял ее без приключений. Весь путь томили меня недобрые предчувствия: вдруг медведь разорил лабаз, избушка сгорела или экспедишник топор уволок. Добрался под вечер, ткнулся в красный плитняк берега, при вязал лодку за камень и поднялся к избушке. Собаки вели себя спокойно. Дверь была открыта и подперта лопатой, как я и оставил ее весной. Топор лежал под крышей рядом с тазом. Я зашел внутрь. Все было на месте: лампа, связка стекол под потолком, чайник с

трубкой бересты на ручке, ложка, блесна на гвоздике. Я заглянул на полку: коробка с лекарствами, пульки в пачках. Рядом с пульками лежал Пушкин: стихи, сказки, пьесы и «Повести Белкина» — все в одном старом, без обложки, томе. Как я забыл о нем!

Наутро я взял чайник и пошел по бруснику. Накрапывал дождь. Из-под тучи тянуло холодком. Я брел по-над Тынепом краем леса. Вниз к воде уходил крутой яр из красного сыпучего камня. В ясную погоду отсюда видна гора с косою вершиной. Я собирал в закопченный чайник темную бруснику и вспоминал, как впервые сюда приехал и как обживал эту тайгу, как строил первую избушку и какое древнее и сильное чувство испытывал, глядя на обрастающий стенами квадрат сырого мха.

Кобель поднял с брусничника глухаря, усевшегося на лиственницу. Я добыл его, повесил на березку, вставив головой в развилку, а когда возвращался обратно, все его плотное пепельное перо было в серебряных каплях.

В далеком детстве мы гостили с бабушкой в Кинешме у тетки, и я хорошо помню, как ранним утром по набережной над Волгой нес мужик на руках, словно спящего ребенка, огромного убитого глухаря... Прадед жил в Шуе и держал псовую охоту, бабушка много рассказывала о его собаках, о кожаных бродовых сапогах, о тетеревах с красными от ягоды клювами и заволжских брусничниках. Из всего этого еще давным-давно и помимо моей воли возникли и остались со мною на всю жизнь окутанный дремучей тайной природы образ России и восхищение людьми, прикоснувшимися к этой тайне.

Помню, еще в первый год охоты не покидало меня ощущение, что я чему-то служу, хоть сам и не знаю чему. Шагая по Бахте на лыжах, обвешанный снаряжением, с понягой, с топориком за поясом, с лопаткой в руке, я представлял себя рыцарем. В мороз на бровях, усах и бороде нарастал куржак и закрывал лицо, как забрало. Когда я спускался из избушки по воду, длинная пешня с плоским лезвием представлялась мне копьем, а заросшая льдом прорубь — веком огромного богатыря, которого я, подобно Руслану, будил уколами копья, до тех пор пока не открывалось темное подрагивающее око, живой хрусталик которого я уносил с кусочком льда в обмерзшем ведре...

Возвращаясь, я гадал, что бы подумал Пушкин, глядя из-за деревьев на мутный просвет Тынепа, на блестящую от дождя крышу избушки, на чайник брусники в моей руке. Мне хотелось сказать ему, чтобы он не волновался, что я буду как могу служить России, что если и не придумаю о ней ничего нового, то хотя бы постараюсь защитить то старое, что всегда со мной и без чего жизнь не имеет смысла.

Дождь стихал. «Разъяснивает, — говорил я сам с собой, таская веревочной петлей дрова из поленницы, — завтра утренняя будет, поеду на Майгушашу, не забыть капканы — в ручье висят». Запалив

костер и присев возле него на ящик, я позвал Алтуса. Он вильнул хвостом, подбежал рысцой и бухнулся рядом. Я положил ладонь ему на голову:

— Ну что, Серый, отпустишь меня когда-нибудь о Енисее книжку написать?

* * *

А может быть, природа — самый простой язык, на котором небо разговаривает с людьми? Может быть, нам не хватает душевной щедрости на любовь к ней, и потому она часто видится нам равнодушной или враждебной? Она кажется нам наивной и бессмысленной, потому что, быть может, мы сами ищем смысла вовсе не там, где надо: все стараемся чем-то от кого-то отличиться, и все сердимся, что никак не выходит. Может, потому и презираем ее: мол, как можно так повторяться из года в год — что сами стыдимся в себе вечного и гонимся за преходящим? Может, потому пугаемся, глядя, как она столько раз умирает, что к своей смерти относимся неправильно? И обижаемся на нее зря — тогда, когда забываем о главном: что она любит труд, терпение и не переносит жадности с верхоглядством. Что она, как дикая яблонька из сказки «Гуси-лебеди», говорит торпливому человеку:

— Хочешь получить от меня подарок — съешь сначала моего кислого яблочка...

Вот попробовал ты ее кислого яблочка, и словно чудо произошло — уже не страшно, что иголки плывут, а тебя больше нет. Плывите, мои золотые, плывите, да напоминайте нашим детям: кто служит вечной красоте, не стыдится повторений.

Андрей ГУЩИН

/ Киев /



* * *

По белому, неверному, весеннему,
по тонкому, как искромётный лёд,
листу бумаги кистью акварельною
на ощупь продвигаешься вперёд.

Не ровен час исчезнет вдохновение,
и тушь зальёт навязчивую явь.
Но, видимо, по щучьему велению
ты, покачнувшись, сможешь устоять.

* * *

Разбей мне сердце. Пусть осколком
грудь оцарапает легонько.
И может быть, тогда поймёшь,
что всякий человек есть ложь,

и невозможно жизнь устроить
без тошной неотложной боли.
Тогда уж лучше в тишине
лежать на белой простыне.

ПОЕЗД НА БАРСЕЛОНУ

Из Фигейроса в Барселону
отправляется поезд сонный.
Дан последний свисток к отходу.
Отступает толпа народа.

Сальвадора приют радушный
уплывает, как змей воздушный.
Сюрреальных небес распятие
раскрывает свои объятия.

* * *

В народной памяти провалы
и в сперме термы Каракаллы.
Народ загнали за Можай,
ему прошедшего не жаль.

Он катится себе колбаской
по иллюзорной Малой Спасской,
по исчезающей Косой,
полубезумный и босой.

* * *

Поодиночке, парами
в коробке черепной
знакомые кошмары
проходят предо мной.

Как скворушка в скворечнике,
синица в кулачке —
так хворые, увечные
теснятся в мозжечке.

По свету горе мыкая,
срываешься на крик,
на клёкот, на курлыканье —
заоблачный язык.

* * *

В небес заглядываешь линзу —
в ней то, что сверху, то и снизу,
как утверждалось Трисмегистом,
а ты — как заяц в поле чистом —

на тёмном фоне белый-белый,
такой косой, такой несмелый.
Петляй, не прекращая бег,
пока не выпал первый снег.

Евсей ЦЕЙТЛИН

/ Чикаго /



ЭМИГРАЦИЯ КАК СОН

Из дневников этих лет

Еще толком не проснувшись, считаю дни. В августе — пять, в сентябре — тридцать... Перестая заниматься этой арифметикой в конце второго месяца. Теперь считаю неделями. Кажется, так считают детей — неродившихся или только появившихся на свет. Через четыре дня — «годовщина»: ровно три месяца, как мы в Чикаго. Пытаюсь понять: много это или мало? (Нояб., 1996)

*

Боль пронзает неутомимо. Возвращается — как схватки у рожениц, вгрызается, не делает перерыва. Иногда я хочу погрузиться в нее, приспособиться, оступеть — не могу. Разумеется, боль не покидает меня и ночью, только во сне я чувствую ее как бы издалека. С этой болью проходит месяц моего прощания с Литвой и полтора месяца в Чикаго. В Вильнюсе мне безрезультатно пробуют помочь врачи скорой помощи. Наконец, в США боль побеждают обычные пилюли, которые я покупаю в магазине Walgreens. Говорят мудрецы: языком боли нас о чем-то предупреждает Всевышний.

*

Есть распространенное измерение эмиграции. Английский язык. Наша жизнь с ним и — в нем.

Учитель английского — поляк. Приехал в Америку в детстве, сейчас ему тридцать семь. Откуда я знаю? Он сказал это сам. Еще рассказал:

о своей жене, которая младше его на пять лет, врач, зарабатывает в три раза больше, чем М., и это — предмет его гордости;

о своих любовницах, girlfriends, которые были до жены, хотя и она являлась таковой в течение нескольких лет;

о вкусах и антипатиях жены — больше всего она ненавидит дурной запах изо рта, а любит make love, «заниматься любовью»;

о причинах их ссор; вот постоянная: М., когда совершает в туалете пи-пи (это учитель произносит по-русски), поднимает, чтобы не забрызгать, крышку унитаза; возвращаясь с работы, жена торопливо садится прямо на холодную фаянсовую поверхность, испуганно вскакивает, кричит...

Думаю иногда: а есть ли у М. жена? Может, все это только прием — педагогический прием, чтобы активизировать восприятие его прекрасной английской речи.

Он сидит посреди комнаты, вытянув ноги. Может на виду у всей группы, не прерывая рассказ, завязать шнурок на ботинке или почесать любое место своего похожего на тюленья тела. Говорит, поглядывая незаметно на часы. Я много раз проверял: он не пропустил ни одной минуты — обрывает беседу едва ли не на полуслове, чтобы ровно в три часа сказать:

— Break. Перерыв.

Нет, он не халтурщик — виртуоз своего дела. И ему, как любому мастеру, доставляет удовольствие, когда я говорю ему об этом. «Is it true? Это правда?» — переспрашивает М.

Особенно виртуозен он был в самом начале занятий. Пел песни, изображал то какого-нибудь зверя, то различные типы американцев... Очень виртуозно М. скрывает и то, что, по-видимому, прекрасно знает русский язык.

В классе обычно десять-двенадцать человек. Столы поставлены полукругом. Никаких учебников. Никакой грамматики. Каждый день М. раздает нам размноженные на ксероксе листочки. Это материал для размышлений. Надо представить себя банкиром, который решает, можно ли выделить кому-то заем. Или членом комиссии, делающей выбор — какие школьные программы сократить, а какие оставить. Или... На листочках — исходные данные. «Завтра мы все это и обсудим».

Ровно без пятнадцати пять М. закрывает рот и выходит из класса. В холодный день набрасывает себе на плечи яркий свитерок. Идти ему недалеко — до стоянки, где притулилась его белая Тойота-камри.

Я так никогда и не узнаю, куда же он едет. (Янв., 1997)

*

«Промежуток». Название статьи Юрия Тынянова о русской поэзии начала двадцатых годов прошлого века. «Промежуток» — лучше об эмиграции не скажешь. А эмигрант — человек в промежутке.

*

Эмиграция или иммиграция? Ненужный спор. Любая энциклопедия объяснит: эмигрант — это тот, кто покидает родину; имми-

грант — человек, уже приехавший в другую страну. Почему мне по-особому интересны эмигранты? Их судьбы неизменно таят в себе трагедию (или хотя бы драму). Они уехали из России (или из любого другого государства бывшего СССР), а в Америку так и не попали. Они — «в промежутке». Навсегда?

*

Оправданием эмиграции озабочены, конечно, сами эмигранты. Оправдания эти в разные годы разные. Сейчас они, как правило, ориентированы не на «верх» — на «низ» человека. Уже никто не только не скажет — даже не подумает: «Мы не в изгнании, мы в послании». Убедительнее то, что с простодушным цинизмом написал в начале двухтысячных один чикагский журналист. *Возьмите кусок свежего бородинского хлеба, намажьте его вологодским маслом, положите сверху докторскую колбаску... Вы еще не забыли про свою ностальгию по родине? (2005, авг.)*

*

Великий «искатель истины» Георгий Гурджиев не сомневался: человек — это машина. Существо, живущее механически и погруженное в дурман сна. Опыты Гурджиева, которые потрясали и притягивали интеллектуалов Европы, преследовали одну цель: пробуждение человека от «сна наяву».

Эмиграция, конечно, пробуждает наше спящее сознание. Еще бы! По словам Дины Рубиной, в которых нет преувеличения, эмиграция — это «харакири. И твои кишки шлепаются на асфальт».

Хотя сама по себе эмиграция тоже является сном.

*

Радостные рассуждения ученых: «*Переезд улучшает память*. В течение жизни человек в среднем переезжает около 5 раз. Исследования показали, что это очень тяжелое испытание (тяжелее, чем развод). Однако ученые из Университета Нью-Гэмпшира установили: у переезда есть, как минимум, один плюс. Он помогает запоминать то, что с нами происходит». (Сообщения информагенств в августе 2016 г.)

*

...Будто споря с этими доводами науки, неторопливо идет на встречу мне по Devon Avenue в Чикаго странная пара. Она — высокая, сухощавая, похожая на осеннее дерево с облетевшими листьями. Он — пухлый, неестественно краснощекий, едва достает ей до плеча. Заметив меня издалека, они улыбаются. Прошлой осенью в Хот-Спрингсе — горном курорте на юге Америки — мы часто гуляли по старому, как бы нависшему над городком, парку. Юрий, когда-то, как и я, преподававший в вузе (его лекции, случалось, приезжа-

ли послушать поклонники из других городов), был теперь застенчив и молчалив. Самую длинную фразу он произнес в начале знакомства: «Можете звать меня по имени, мы ведь встретились на Западе, где к отчеству не привыкли, не правда ли?».

Не сразу я понял: его уже давно сразил Альцгеймер. Но вместе с женой они умело скрывали это. На мои вопросы о кафедрах литературы в Молдавии отвечает Фира. А Юрий печально и ласково подкивает.

Однажды, когда он задремал на лавочке, опьяненный резким горным воздухом, Фира шепотом поведала их историю. Альцгеймер напал на ее мужа внезапно и побеждает, не церемонясь. *Слава Богу, мы уже здесь, в Чикаго, где будущее не так страшит. Слава Богу, он не стал агрессивным, хотя об этом предупреждал врач. Слава Богу, Юрочка не совсем растерял интеллект.* И он даже придумал объяснение своего беспамьяства: «Большинство писателей, возвращая минувшее, оживляют его, смакуют свои воспоминания. А мне не хочется вспоминать. Мое прошлое пропитано тоской».

*

«Эмиграция — болезнь», — записываю в блокнот. И забываю подумать о главном: долго ли длится эта болезнь? Разумеется, вариантов несколько. Читая книгу знаменитого основателя гештальт-терапии Фредерика Перлза, встречаю его напоминание: болезнь — незаконченная ситуация; она «может завершиться выздоровлением, смертью или перестройкой организма».

*

Русскоязычные общины в городах США становятся приютами стариков. Массовая эмиграция из России давно закончилась. Утихли животрепещущие споры в газетах и на радио о том, сколько приехало с нами агентов КГБ; кто же все-таки написал «Тихий Дон»; кем был Георгий Жуков — спасителем России или «мясником», бездушно посылающим солдат на верную смерть. Вчерашние, не терпимые друг к другу спорщики мирно встречаются сегодня у кабинета уролога, в круизе на Багамы или в «детском садике» для стариков. (дек. 2017)

*

Человеческие судьбы, в эмиграции едва погруженные в быт, обнажены. Эмиграция подчеркивает их изломанность, странность, часто — загадку.

*

На той же Devon Avenue, долгие годы дававшей приют русской эмиграции в Чикаго, прислонившись к стене продуктового магазина, стоит человек, вид которого отталкивает и — одновременно — при-

тягивает прохожих. Сам о себе он говорит: работаю нищим. Сколько лет ему — решить непросто: от сорока до шестидесяти. Во всяком случае, в его сизой, клочками, бороде я не разглядел седины. Вместо левой ноги у него — протез, который не скрыт, как бывает, брюками. Самое примечательное на его лице — глаза: они большие или кажутся такими, потому что человек смотрит на вас твердо и пристально, почти не отводя взор.

За много лет мы не сказали друг другу и нескольких слов. Но я знаю его имя: Илюша. Мягкое, теплое имя это, кажется, неудачно взято им на прокат. Многие американские нищие протягивают за подающим банку или коробочку, где уже лежат, словно упрекая прохожих, доллары, звенят монеты. А этот безногий только смотрит на вас, просвечивая насквозь, и вы сами, без приглашения достаете кошелек.

Однажды зимой встретил Илюшу в приемной врача. Он уже выходил из дверей, однако, узнав меня, задержался. Уверенно спросил: «Не подбросите до работы?» Ехать всего минут пять, конечно, идти Илюше трудно: обжигающий зимний ветер в Чикаго сбивает с ног даже здоровых людей. Он молча сидит рядом со мной в машине, отвернувшись к окну — будто впервые увидел улицу, где прошли десятилетия его жизни. Разумеется, Илюшу нисколько не смущает зловонный запах, исходящий от его неизменной, в любую погоду, серой куртки.

Мне говорили: когда-то он окончил философский факультет МГУ. Философский факультет? — мысленно, с усмешкой, переспрашиваю я. И сразу вспоминаю сентиментальные романы позапрошлого века. Я не сомневаюсь, что услышал одну из легенд эмиграции, которая любит творить мифы. Но потом Т., знающий всех и все, поклялся, что в самом деле видел у Илюши диплом МГУ.

Что привело его в Чикаго и заставило выбрать древнюю профессию? Часто я порывался поговорить с Илюшей. Но каждый раз меня останавливал его жесткий, не пускающий к себе, как дверной засов, взгляд.

*

Анатолий Симонович Либерман, знаменитый лингвист, профессор Миннесотского университета говорит по телефону:

— Наша прошлая советская жизнь поразительно нас усредняла. Поколение, как горох из стручка. По выражению моей жены, все мы похожи, словно серые штаны пожарника. Встречаясь, сразу узнаем друг друга. Одни и те же цитаты, мысли, воспоминания.

В самом деле, узнаю *своих* всюду. Узнаю безошибочно страх: его большинство из нас старается скрыть. Это единственный багаж эмигранта, который, увы, нельзя потерять или оставить в камере хранения.

Страх — одна из главных тем моей книги «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти. Из дневников этих лет» (1996). Пять лет я слушаю исповедь умирающего литовско-еврейского драматурга и критика й. Пять лет «на самом краешке жизни» й мы вместе пытаемся реконструировать его многочисленные страхи. И разобраться, наконец, в них. Кстати, страхи закончились для й только вместе со смертью.

*

Позавчера, после работы, гуляю в парке около дома. Говорю по мобильному телефону. Вдруг слышу — голос с сильным акцентом: «Как это приятно — красивая русская речь...» Немолодая женщина. Спрашиваю: «Вы из России?» — «Нет, из Латвии. А здесь почти тридцать лет. И скучаю по русскому языку...» — ?! — «Я вообще люблю изучать языки. Сейчас знаю пять, учу шестой — японский... Поеду скоро в Японию на стажировку». Она рассказывает о себе еще. Не слишком значительные подробности, не слишком ясна даже ее профессия (что-то связанное с нетрадиционной медициной)... Расстаемся через несколько минут. Она предлагает обменяться номерами телефонов.

И вскоре в самом деле звонит: «У меня к вам просьба. Если мы встретимся случайно в каком-то общественном месте, сделайте вид, что меня не знаете...» Повторяет это несколько раз. Успокаиваю ее. Даю слово молчать. И ни о чем не спрашиваю. Мне не хочется идти вглубь ее страхов.

*

Когда-то я стал записывать сны евреев. Начинался Исход из страны красных фараонов. Миллионы людей исчезали, словно растворялись в истории и времени. Мне казалось: именно через сны, можно понять трагическую и запутанную историю советского еврейства. Сколько бы мы сегодня ни пытались прочесть ее, многое так и остается догадкой. Может быть, хотя бы сны, рассуждал я, способны что-нибудь прояснить. И то, о чем люди раньше не могли говорить. И то, что уже забыли. И то, что до сих пор прячут — даже от самих себя. (Некоторые эти записи вошли в мою книгу «Послевкусие сна. Из дневников этих лет», 2012 — Е.Ц.).

Ну а что же сны эмигрантов? Вот повторяющиеся, а значит — самые важные, по утверждению психологов: «Сидим в самолете, уже прилетев в Нью-Йорк. Однако нас не приглашают на выход. Кто-то говорит: поступила команда лететь назад. Возмущенные крики взрослых, плач детей. В конце концов, слава Богу, все разрешилось». Этот «страшный сон» — с небольшими вариациями — мне рассказывают человек десять.

*

Интервью с теми, кто мучается в эмиграции бессонницей: просыпается в три часа ночи и не спит до утра. Говорят, что в это время небеса хотят сообщить тебе нечто важное.

Тоже типичный ответ: «Люблю лежать в темноте с закрытыми глазами. Стараюсь увидеть себя со стороны. С годами стал относиться к себе как к постороннему. Спрашиваю: есть ли хоть какой-то смысл в жизни этого человека? И можно ли переменить его судьбу?»

*

Больше двадцати лет я редактирую русскоязычный ежемесячник в Чикаго. Изданий такого типа в Америке немало: что-то среднее между газетой и журналом. О том, «как я был редактором», можно написать книгу. Жаль, что такая книга давно написана. (См. записки Марка Твена или повести Дины Рубиной).

*

Электронные письма от Владлена Ф. таят в себе неожиданность. Он — тоже философ, один из многочисленных «философов» русскоязычной общины. Идеи В.Ф. всегда поражают меня. Вот и сегодняшнее его предложение, на которое он хочет обязательно получить ответ из редакции:

«Известно, что в обществе немало лесбиянок и гомосексуалистов. Как правило, у них нет детей. Однако нельзя бесхозяйственно относиться к этому биологическому материалу. Почему бы не способствовать тому, чтобы бисексуалы оплодотворяли лесбиянок? Эти женщины таким образом обретут жизненную гармонию. А мы получим огромный прирост населения. Кстати, гомосексуалов надо постепенно — с помощью достижений науки — переводить в ряды бисексуалов». (6 ноябр, 2017)

*

В новом издании дневниковой книги Юрия Олеши, которая раньше называлась «Ни дня без строчки», а сейчас — пересоставленная и дополненная — вышла под названием «Книга прощания», читаю: «Человеческая судьба, одинокая судьба человека (...) наиболее необходимая поколениям тема. Мировые произведения построены на ней. Лучшее, что было написано за последние годы, — книга Ремарка. Чем-то перекликается она с другой книгой одинокой судьбы — с «Голодом» Гамсуна. Теперь обращаюсь я к своей судьбе и вижу: одиночество. Пусть в эпоху наибольшего движения масс возникнет книга об одиночестве».

Одиночество, как и пошлость, — символ эмиграции. (Авг., 2000)

*

Прихожу в редакцию в разное время — в девять, в десять, одиннадцать утра. Мне некуда спешить: могу работать из дома. А Борис неприкаянно сидит в приемной, ждет. Мне стыдно, каждый раз извиняюсь перед ним. Хотя ни в чем не виноват: в Америке полагается заранее договариваться о встрече, никто здесь, как в России, не заходит «на огонек».

«Что нового?» — говорю я. И заранее знаю ответ: «Простите, мне не хватает общения». Борис — неплохой поэт. Прошу его почитать старые стихи, расспрашиваю о Таджикистане, где он когда-то жил и печатался. Что еще я могу сделать для него?

*

Старики-эмигранты (те, кому восемьдесят и больше) — типичные советские люди. Совсем редки их прозренья, как у Бориса З., который со вздохом заключает свое письмо: «Коммунистическая идея прекрасна! Надо только стараться, чтобы она никогда не осуществилась».

*

Еще одна дискуссия об эмиграции: «Счастливы ли вы в США?». Светлана П. возмущается: «Я приехала сюда и выучила английский не для того, чтобы мыть чужие дома...» Ей отвечает Инна М.: «Светлана была бы, конечно, права, если бы не говорила по-английски, как большинство наших стариков: *Твоя моя вчера придет...*»

Самоценки *наших* всегда прекрасно завышены.

*

Потоком идут в редакцию книги. Привычно недоумеваю: почему, едва попав в эмиграцию, многие хотят стать писателями? И — немедленно «берутся за перо», то есть осваивают компьютер.

Человек здесь теряет профессию (она часто уже никому не нужна). А в душе между тем — безошибочное ощущение: у тебя есть уникальный опыт жизни, о котором надо обязательно рассказать.

Увы, писать книги — тоже профессия. 99,9 процентов книг, выпущенных в эмиграции, — бесцветная продукция графоманов.

*

Эмиграция как идея и как реальность — разные вещи.

Как идея эмиграция замечательна: она выявляет для литератора суть многих вещей — в частности, его подлинное призвание.

Увы, реальность эмиграции — нечто иное. Грубое. Циничное. Резкое. Подчеркивающее ненужность творчества.

*

Русский литератор, конечно, попадает в число эмигрантов. Не имеет значения то, знает ли он английский. Он думает и пишет по-русски.

Он — в промежутке. Не поэтому ли многие литераторы в эмиграции переполнены тревогой и раздражением? На кого? На Россию, где их когда-то не оценили, а сейчас все так же не замечает критика. На антисемитов (в той же России, хотя государственного антисемитизма там давно нет). На американских бюрократов. В конце концов, на себя. На свою судьбу. Рано или поздно понимают бессмысленность этого чувства. Смиряются или только делают вид?

Суть такого состояния сформулировал Ф. Перлз: тревога — разрыв, напряжение между «сейчас» и «тогда».

*

Умерла талантливая поэтесса Алла Т. Ее статьи о писателях эмиграции пропитаны злобой. Бумеранг? Как она не понимала этого? Конечно, поняла. Но поздно. Смертельно больная, звонила людям, на которых недавно выливали ушаты грязи. Просила простить.

*

«Здравствуй, брат, писать очень трудно!» — говорили друг другу *Серапионовы братья*. В эмиграции это приветствие звучит насмешливо: ну кто услышит одинокий голос автора, пытающегося что-то сказать на чужом языке?

Тем не менее эмиграция — лучшее место для творчества. Если, конечно, ты сумел обуздать неуемность тщеславия.

*

В ноябре 2013-го в Чикаго скончался старый врач, эмигрант из Украины Роман Вершгуб. Многие люди, умирая, уносят с собой тайну. Мне всегда казалось, что ее совсем необязательно разгадывать — человек имеет право недосказать сюжет собственной жизни. И все же тут был особый случай.

Впервые о том, что Роман Вершгуб пишет рассказы, я услышал от Ефима Петровича Чеповецкого, знаменитого детского поэта, в свои последние годы жившего в Чикаго. «Прекрасная проза, — воскликнул Е.П. — Но загвоздка в том, что Роман не хочет ее публиковать».

Он печатал свои рассказы на машинке: два-три экземпляра. И давал читать двум-трем людям. Когда мы познакомились, Роман оказал эту честь мне. Чем сразу поразили меня его рассказы? Они явно были написаны профессионалом.

Я совершил ту же ошибку, что и другие. Спросил: хотите, предлогу ваши работы в один из эмигрантских журналов, с которыми связан? И получил такой же категоричный отказ.

Тогда он был уже безнадежно болен. И знал это. И поддался на уговоры друзей: стал иногда читать свои вещи в литературной студии Чеповецкого. Однако еще тверже говорил о ненужности публикаций.

Майя, вдова Романа, нарушила его волю. Не мне ее упрекать. В былые дни легенды о Майе, враче-гомеопате, гуляли по Киеву. А сейчас, через несколько десятилетий, она занималась восточной гимнастикой, водила машину. Она не раз приезжала ко мне в редакцию. За советом: как составить сборник? Как назвать книгу? Но главное — спросить: как я понимаю подтекст того или иного рассказа?

Ее тоже волновала тайна мужа. Жене Роман никогда не давал читать свою прозу. Робел, зная ее хороший вкус и категоричность оценок? Может быть. В чем-то не доверял? Вряд ли. Многие детали безоговорочно твердили: он любил Майю, долгие годы их брака был предан ей.

У меня собралась большая папка рассказов Вершгуба. Иногда я перечитываю их. Рассказы эти печальны, а на первый взгляд — безотрадны. К одному из них автор поставил эпиграф: «Успехи мнимы, беды истинны». Герой этой новеллы молодой ученый Виталий, которого справедливо считают гением, отказывается вдруг от защиты диссертации, уходит из родительского дома — уходит к некрасивой женщине, гораздо старше себя («Маменькин сын»). Хирург Саша, делающий уникальные операции, неожиданно теряет свой дар и мучительно пытается понять, кто виноват в этом, — нежели он сам? («Кузнец своего счастья».) «Я узнаю в рассказах реальные события и реальных людей», — говорит Майя. И наконец я догадываюсь: пространство рассказов было для Р.В. своеобразной лабораторией психоаналитика. Здесь он, не верящий в Бога, но доверяющий судьбе, стремился проникнуть в логику и смысл, а скорее — в алогизм и бессмыслицу бытия.

В начале апреля мы столкнулись с Майей все на той же Devon Avenue. Торопливо обменялись новостями. «Вам передали книгу?» — «Пока нет. Уже вышла? Поздравляю! А какой тираж сборника?» — «Пятьдесят экземпляров». — «Так мало...» — «Так много. Тридцать книг валяются у меня в шкафу — никому не нужны».

Майя вздохнула: «Там, на небе, Роман, конечно, осуждает меня...»

*

В США зарегистрировано более двух миллионов авторов. Иногда, вспомнив об этом, мне не хочется писать. Представляю соревнование огромного количества муравьев.

*

Но все же, в оправдание творчества. Человек сотворен по образу и подобию Божьему. О чем это? Человек — прежде всего — создан демиургом. Творчество помогает эмигранту сохранить в себе тонкий, все уменьшающийся слой духовности.

*

Трагедия эмиграции: она дает свободу; однако часто не открывает, но закрывает мир.

«Что делать мне со своей свободой?». Это спрашивает меня Ефим Петрович Чеповецкий. Ему за девяносто. Но он еще пишет, еще любит застолья. Когда-то о его стихах с восторгом отзывались Самуил Маршак, Лев Кассиль, Михаил Светлов. Когда-то миллионы малышей читали его книжки — их названия на слуху: «Мышонок Мызык», «Непоседа, Мякиш и Нетак», «Про славную коровну Настурцию Петровну», «Солдат Пешкин и компания»... А мы познакомились с Чеповецким больше сорока лет назад, когда я писал свою первую книгу о «школе Всеволода Иванова». Этот первопроходец русского авангарда 1920-х, оппозиционный классик советской литературы учил молодых писателей прежде всего художественному поиску, вечному сомнению, которое так важно в искусстве. В феврале 1972-го я опубликовал в «Литературной газете» неизвестные отзывы Иванова о «молодых». Одна из самых интересных рецензий была посвящена творчеству Ефима Чеповецкого. А теперь, сорок пять лет спустя, Е.П. уже не в первый раз настойчиво переспрашивает меня: «Что же делать мне со своей свободой?»

*

Умер Наум К. — мрачный человек, который помогал многим и многим людям, ни от кого не ожидая благодарности. И, кажется, не получая ее. Никто толком не знал его биографию. Сам К. рассказывал мне: в войну был разведчиком, оказался в лагере (Сталинском), после освобождения, стремительно наверстывая упущенное, окончил институт, быстро защитил диссертацию, прославился изобретениями, из-за которых его долго не выпускали на Запад. В его рассказе меня смущала одна деталь: в начале войны К. был совсем молодым, едва ли не юным человеком, однако — тоже стремительно? — получил звание полковника, которое после реабилитации ему не вернули. Американская же судьба К. очевидна: он стал университетским профессором, имел аспирантов, создал собственную фирму.

В своей огромной квартире, переполненной антиквариатом, К. кажется мне уставшим путником, случайно попавшим в дорогую гостиницу. Будто между прочим, не придавая значения своему признанию, он замечает: «Мне не с кем разговаривать. Я не смотрю телевизор. В газетах читаю только новости. Мне все и так ясно».

Три раза в неделю К. неизменно посещал дома престарелых, в один из дней — онкологическое отделение Лютеран Джeneral госпиталя. Он рассказывал мне о своих визитах туда, как всегда, невозмутимо и четко: «Лежат, никому не нужные, брошенные детьми. Одно утешение: в России им было бы еще хуже»; «Когда надо, ста-

новлюсь переводчиком — с английского, русского, идиша...»; «Обязательно читаю им Священное писание. Слушают с трепетом, а ведь, как правило, ничего не понимают».

Впрочем, к Библии у К. было свое, особое отношение. Он говорил безбоязненно и безапелляционно:

— Тора дана нам инопланетянами. Это известно всем здравомыслящим людям. Инопланетяне — представители Высшего разума. Они и принесли на Землю нравственные законы, по которым должно жить человечество. А как иначе?

Он пылливо, с хитринкой смотрел на меня, как бы призывая к дискуссии о Синайском Откровении. Спорить с К. я, разумеется, не стал.

*

Мой старший друг, прекрасный писатель Владимир Ильич Порудоминский говорит о Кельне, где живет уже одиннадцать лет: «Мне здесь неплохо, но этот город никогда не станет моим прошлым. Он не растет во мне в глубину, только — вширь».

В.И. уехал из Москвы в Германию вслед за семьями двух своих дочерей. Уехал из той же комнаты, где родился семьдесят семь лет назад (2005).

*

11 сентября 2001-го. Лас-Вегас. Мы решили встретиться здесь с моим университетским другом Эмилем Горештером и его женой Динной. Накануне, десятого сентября, — чудесный вечер вчетвером. Утром — звонок Эмиля: «Включите телевизор».

Смотрю, как рушатся в Нью-Йорке башни-близнецы, думаю: что это? Неужели конец цивилизации?

Выйдя из своего гостиничного номера, проходим через зал казино. Там — всюду — огромные экраны телевизоров, на которые никто не обращает внимания. Там по-прежнему идет игра. (18 сент., 2001)

*

— ...Так значит, сны наяву, — переспрашиваю я, радуясь тому, что, кажется, нашел разгадку эмиграции. — Что это такое?

Эфраим Б. произносит вдохновенную речь о *галуте*. Изгнании, в котором евреи пребывают уже тысячелетия и которое наши мудрецы считали *сном*.

«Когда возвратит Господь из плена детей Сиона, [все пережитое] покажется нам сном». *Эту песню пели левиим, стоя на ступенях в Храме.*

Почему же галут — сон? Здесь соединяются вдруг противоположные явления. Ложь неожиданно принимает вид правды. Происходят затмения разума (хасиды и это считают сном).

О том же долгие годы размышлял, настойчиво убеждая учеников в очевидной для него истине, Георгий Гурджиев.

*

Оказалось, в мои блокноты уже давно входят сны наяву, точнее — *люди из снов*.

*

Профессии эмигрантов неожиданны. Моти С. рассказывает о своем друге Боре (тоже нелегал, уехал сейчас из Чикаго в Нью-Йорк):

— Как вы думаете, что предложили Боре? Продавать тапочки для собак! Причем, не в какой-нибудь маленькой лавочке, а на огромной плазе...

Моти — израильтянин. Бритая голова, голубые лукавые глаза. По-моему, его невозможно смутить, зато сам Моти часто старается смутить собеседника своим нагловатым взглядом. Родился и окончил школу в Москве, репатриировался в Израиль, получил в Иерусалимском университете степень бакалавра политологии, говорит на трех языках — русском, иврите, английском. Стал нелегалом в Чикаго — после того, как ему отказали в учебной визе. Жизнь: запущенная квартира с несколькими соседями, румейтами, случайные подработки. Почему не уезжает в Израиль или Россию? Моти не ответит на этот вопрос. Понимает: жизнь ускользает, течет мимо. Но он и не пытается ничего исправить. Ему нравится это состояние вечной неопределенности, открытости судьбе. С восторгом Моти рассказывает о своей последней работе. Он возит на машине врача, который навещает больных стариков на дому (кстати, таких врачей в США встретишь почему-то редко). Пока доктор беседует с пациентом, Моти, развалившись в машине и улыбаясь на этот раз собственным мыслям, перебирает в уме варианты будущей жизни.

*

Я звоню ему и — он приезжает. Деловитый, спокойный. С рулеткой и калькулятором вышагивает по квартире. Его не смущают особые обстоятельства нашего ремонта: мы с женой хотим покрасить стены и потолок, но, придавленные усталостью, решаем отодвигать шкафы, не снимать полки с книгами, не перекладывать в коробки посуду и бумаги. «Назовем это косметическим ремонтом», — сразу все поняв, с улыбкой говорит Сергей. Он обращается ко мне без заискивания, но и без едва скрытого самоуве-

ренного хамства, чем грешат русские мастера. Называет цену чуть выше той, что я собирался заплатить. А я и не спорю, уже знаю: надо взять его, он — *свой*.

Работает Сергей тихо, почти не отвлекая меня вопросами. Я сижу с ноутбуком на кухне, уже покрашенной в прошлом году, делаю очередной номер журнала. В полдень нахожу в холодильнике приготовленный женой обед, приглашаю Сергея к столу. Он отказывается, достает из синей сумки что-то свое. Однако соглашается выпить чаю с конфетами. За чаем, отвечая на мои вопросы, спокойно сообщает, что находится в стране нелегально. Конечно, я понимаю логику его смелости: в Америке тебя пока еще никто не арестует за такое признание, зато — кто знает — может, я чем-нибудь помогу ему.

Незаметно разглядываю Сергея, невольно подсчитываю: ему лет тридцать пять, из них восемь — он в Чикаго. Пшеничные, аккуратно подстриженные волосы, маленькие, но всегда какие-то теплые, тигриного цвета глаза, прямой нос, большие руки, которым, я уже убедился, все под силу. Одет не совсем по-рабочему, словно в расчете, что его увидит кто-то, чье мнение дорого ему: подогнанные в ателье по фигуре джинсы, серая фланелевая рубашка. Удивительно: в конце дня Сергей выглядит столь же опрятно, почти элегантно.

Чем он притягивает меня? Именно этим своим спокойствием, которое лучше назвать ощущением свободы и которое я никак не могу понять. Вроде бы, Сергею надо спешить обратно в Россию, надо торопиться жить, а не готовиться к жизни. Под Тамбовом осталась Аня, жена, дети — мальчик и девочка. Перспектив в Америке никаких, а ему так легко здесь дышится. Отсылает раз в месяц деньги через Western Union, показывает мне фотографию двухэтажного дома, построенного по его проекту. И молчит об отъезде.

Мне хочется иногда видиться с Сергеем. И причины находят. То ломается дверка шкафа в прихожей, то рассыпется на отдельные части кресло-качалка китайского производства. Он исправляет все умело, быстро, а потом мы завтракаем (или обедаем) и говорим *за жизнь*. Сергей не хочет брать с меня деньги. Мы ведь теперь, если не друзья, то приятели. Но, прощаясь, неизменно вкладываю купюры в карман его куртки. И он смиряется, побежденный доводом: «Если не возьмете, я не смогу обратиться к вам в следующий раз».

Конечно, я вскоре узнаю причину его нелогичного оптимизма. «Надо как-нибудь познакомить вас Ритой», — говорит Сергей. Они оба живут в так называемой украинской деревне, в четырехквартирном доме. У каждого, разумеется, своя комната, но они — вместе. Уже шесть лет. О Рите больше ни слова. Зато рассказывает Сергей об их коммуне нелегалов. «Я там как бы за старосту». Легко представляю их нередкие застолья по праздникам и дням («Нас как никак пятнадцать человек»), их несентиментальную заботу друг о друге, без которой не прожить: нелегалам, к примеру, не так просто

лечиться, найти бесплатный госпиталь. Их печальные проводы: время от времени кто-нибудь берет билет в один конец, хотя часто уже не представляет себе другой жизни, кроме этой странной вольницы.

«Что вы делаете по воскресеньям?» — спрашиваю однажды, когда Сергей приходит ко мне в понедельник. Почему-то мне кажется: он хочет, чтобы я спросил его об этом.

Он тем не менее смущается, даже краснеет: «Целый день мы в постели. И не устаем нисколько». Глаза его загораются — обычная, немного смешная мужская гордость. «И знаете, иногда, просыпаясь, забываю, где я. Тогда мне кажется: я все еще в своем поселке, в первый сладкий год после нашей свадьбы с женой».

С Ритой мы так и не познакомимся. Только увижу ее в августе — на видео, в телефоне Сергея. Она скажет ему об отъезде за день до вылета. «Раньше не смогла. Не решилась. И я не виню ее. В Калининграде у старшего сына Риты — свадьба». На посадку она идет, ни разу не оглянувшись. Маленькая, будто замороженная, в модном летнем костюме, очень привлекательная даже в безысходном своем отчаянии. (2016, дек.)

*

Радость забвения. Тема эссе, которое уже несколько лет хочу написать, а потом вдруг понимаю: мысль эта стала почти очевидной для многих.

Как известно, принятие смерти, согласие с ней — один из этапов на последнем пути человека. Но, оказывается, можно смиренно принять и свое беспамятство. И даже — обрести в этом состоянии радость.

...В четверг ко мне приходят Юра и Фира. Смущены и безмятежны — одновременно. Они хотят рассказать о своем недавнем, таком необычном для них выборе. «Вы знаете, — говорит Фира, — в конце семидесятых Юрочку таскали на допросы в КГБ. Да, как антисоветчика и диссидента. Потом все, вроде бы, утихло, утряслось. Но многие юрочкины рукописи, арестованные *органами*, так и остались у них. И вот, представьте, недавно нас отыскал один молодой исследователь из Молдовы. И — ошарашил новостью! Он обнаружил в архиве КГБ пьесу Юры. Что за пьеса? Из жизни Древнего Рима. Но пронизана, как было принято в ту пору в либеральной литературе, современными аллюзиями. *Пьеса — гениальная!* — *твердит нам по телефону молодой человек.* — *Надо ее публиковать.* И он будто бы уже договорился с редакцией какого-то сборника. А мы — в растерянности. Юрочка утверждает, что он вообще никогда не писал пьес. Меня же в те годы еще не было рядом с

ним. Может быть, это путаница, какая-то гбэшная подстава? Словом, мы решили отказаться от этой публикации. Зачем? Что изменит она в нашей жизни?»

Из окна вижу: они идут по Devon Avenue, как всегда, неторопливо. Юра, словно вернувшись в детство, боится отпустить руку жены. И великая радость забвения, впервые сознательно выбранная и принятая их душами, делает их счастливыми.

*

Многие возмущаются пошлостью, она пронизывает в эмиграции все. Но пошлость — единственная, неизменная почва эмиграции.

*

Русский ресторан с характерным для эмиграции претенциозным названием — «Живаго» — поставили возле кладбища. В ресторане всегда есть посетители: после похорон сюда идут люди — *помянуть*. Мне это нравится. Вспоминая покойного, человек думает, конечно же, о себе. Мол, ты и сам, дорогой, не вечен. А что сделал, что успел? Приспособливался, лгал. Закопал свой талант — так глубоко, что и не отыскать. Впереди же, как у всех, — земляная яма, обложенная цементными плитами. Но побеждает в этих размышлениях под рюмку водки все же подлая радость: ты еще жив, жив!

*

Мне всегда очень жаль русских врачей в Америке. Путь их преопределен и труден. Приезжают с дипломами российских мединститутов, когда им уже за сорок. Сдают — естественно, на английском — экзамены, подтверждающие диплом. Учатся несколько лет в резидентуре (но попробуй туда попасть!). А ведь им надо еще успеть стать миллионерами.

*

«И твои кишки шлепаются на асфальт», — пишет о первых днях эмиграции Дина Рубина. В конце августа и в сентябре 1996-го асфальт в Чикаго плавится от жары. Наша прошлая жизнь куда-то бесследно проваливается — будто и не было. А новая жизнь никак не начнется...

Все, как у всех. «Депрессия наползает постепенно. Мир становится темным». Это Ольга Г. Хотя сейчас она делится со мной радостью: «...я сейчас — будто заново родилась. Будто кто-то снял с головы темный мешок». (1 мая 2007 г.). Надолго ли?

*

Саша Г. признается: «А за рулем машины я пою. Как ни странно, это всего две песни. «Окурочек» Юза Алешковского и «А ну-ка, парень, подними повыше ворот... » Часто пою даже тогда, когда мы

едем вдвоем с женой. Ее это раздражает: годами — одно и то же». Задумывался ли кто-нибудь о том, что произведения на тюремно-лагерную тему важны для эмигрантов как своеобразная психотерапия? В пору глухой тоски я перечитываю самые безотрадные рассказы Шаламова.

*

Эмиграция — сон? Откроешь глаза и — ничего уже нет. Как, в сущности, мало осталось от русской литературной эмиграции 20–30-х годов прошлого века. До нас дошли самые яркие имена, многие из которых были известны еще в дореволюционной России. А сколько молодых талантливых голосов мы так и не расслышали. Их творчество осталось горьким упоминанием — в чужих письмах и дневниках. Говорю об этом с литературоведом Олегом Коростелевым. Он сотворил чудо: реконструируя жизнь литературной эмиграции 20–30-х годов, сделал не меньше, чем целый научный институт. И все-таки провалы литературной памяти огромны. Часто — необратимы. Один из наивных вопросов, который задаю Коростелеву: как сделать, чтобы подобное не повторилось? (См. нашу беседу: журнал «Чайка», 2016, 10 июня)

*

За пятнадцать минут до закрытия русского книжного магазина на пороге появляется старуха. На голове у нее — белая панاما (привет из далекого пионерского детства). В руке — большая соломенная кошелка: с такой моя бабушка отправлялась на рынок. Старуха, видно, здесь не впервые: сразу проходит к полке, где стоят книги по эзотерике. Что-то напряженно ищет, торопливо проглядывая оглавления книг.

— Могу ли я вам помочь? — обращается к ней продавщица.

— Нет, я сама, — решительно выговаривает старуха. Однако смотрит на часы и, поняв, что приехала слишком поздно, вынуждена и впрямь обратиться за помощью: «Мне нужна книга о том, как изменить судьбу».

Смешно? Вряд ли. Опять та же, характерная для эмиграции тема — перемена судьбы. (2008, апр.)

*

Отвечая на вопросы издающегося в Германии журнала «Крещатик. Перекресток», который в 2017-м отмечал юбилей, вспоминаю вдруг о том, как после переезда в Чикаго с удивлением и радостью насчитал в городе 21 магазин русской книги. Пять из них располагались совсем близко от моего дома. Как ни странно, у каждого магазина было свое лицо. В одном продавались последние новинки, доставленные из Москвы самолетом. Хозяйка другого, выпускница Литинститута, не думая о прибыли, заказывала российские и перевод-

ные издания, пронизанные духом эксперимента. В третий меня привлекали монографии по искусству, альбомы репродукций художников. Однако уверен: самым удивительным был Дом русской книги. Здесь среди картин и гравюр, собраний сочинений, множества редких изданий меня всегда ждали неожиданные находки. И почти о каждой книге вдохновенно, словно читая стихи, рассказывал, если у вас было настроение спросить, гостеприимный владелец этого праздничного царства, писатель и режиссер из Одессы Илья Рудяк. Я часто приходил «на огонек» Ильи Эзравича: поговорить, подышать особым воздухом — нет, не книжной пыли, воздухом русской культуры. Кстати, сюда так любил приезжать великий книголюб Евгений Евтушенко.

...Все эти магазины давно вышли из бизнеса. Их хозяева, в основном наивные идеалисты, разорились. Сейчас книги на русском продаются в Чикаго в трех киосках: один примостился в «русском гастрономе», два — в «русских аптеках».

Конечно, постоянно закрываются и американские книжные магазины. Дворцы в несколько этажей, куда человек нередко приходит на целый день. Книги и журналы здесь можно не только смотреть, но и читать. Здесь можно выпить с друзьями кофе, даже перекусить. И снова отважно путешествовать по книжному морю. Только вот путешественников — все меньше.

Уезжая в Америку, я с болью прощался со своей библиотекой, которую с не понятной мне самому страстью собирал с двенадцати лет. Разумеется, эти чувства испытали многие. А сейчас мы прощаемся с Читателем книги. Он уходит с пугающей быстротой. Мне все чаще кажется: эмигрантские издания читают только их авторы. (2017, дек.)

*

Нашествие гадалок, ясновидящих, потомственных колдунов. Сибирский шаман Аюн-батыр излечивает от бесплодия во время индивидуальных сеансов. Контактер с космосом Бонифатий меняет вашу судьбу... Моя приятельница М.К. была у контактера на приеме. «Он вам помог?» — «Очень! И мне повезло: я купила право обращаться к Бонифатию в любое время, без очереди. Могу звонить ему, получать его советы в любой трудной для себя ситуации.»

«Сколько это стоило вам?» М.К. мнется, не очень-то хочет говорить, да и не принято это на Западе. Но она вспоминает о нашей дружбе. Потому все же роняет: «Пять тысяч».

Деньги достались М.К. не по наследству. Моя искренняя симпатия к этой грузной, уже состарившейся, все еще красивой женщине связана с ее мужественным сопротивлением эмиграции. Приехала в Америку в пятьдесят. Без английского. С тяжело больным мужем и двумя девочками-подростками. Объясняла мне когда-то: «Одна — дочь мужа от первого брака, вторая — общая; муж через год умер,

надо было быстро решаться на что-то...» Решилась, как многие — убирать чужие квартиры. Одновременно учила английский, стала водить машину, сдала экзамен, подтверждающий ее квалификацию химика-лаборанта (правда, в прошлой жизни она была химиком-исследователем, заведующей большой лабораторией), считала каждый доллар, выучила дочек, купила хорошую квартиру.

М.К. не идиотка. Но она одинока: у дочек — своя жизнь. А у нее обнаружили рак. И она перед выбором: делать операцию или пока подождать. Контракт — сладкий молодой мужчина с решительным взглядом — советует то, что М.К. хочет услышать: ждать. После консилиума врачей операцию М.К. все-таки делает. «Общаетесь ли вы с Бонифатием?» — спрашиваю несколько месяцев спустя. «С ним стало трудно связываться», — говорит М.К. без осуждения. Может быть, думая при этом о высших силах, которые еще вмешаются в ее жизнь.

*

На обложке русскоязычного чикагского еженедельника — портрет священника в церковном облачении. А в кавычках бьются его слова: «Прошу прощения у всех!» Михаил Ц., священник Апостольской православной церкви, дает интервью журналисту. И горячо кается в грехах. В 1978-м, в Киеве, он только мечтал стать священником, но зато стал агентом КГБ. М.Ц. сам предложил свой псевдоним — Атос. (Псевдоним не случаен: будущий батюшка был фехтовальщиком, мастером спорта). Расставшись с КГБ и попав в США, М.Ц. ощутил в себе другое призвание. Он начал изготавливать международные водительские права для нелегалов-мексиканцев. Но однажды «нагрязнул спецназ и меня объявили чуть ли не крестным отцом русской мафии в Чикаго... Вышел из тюрьмы под залог, а затем был условный срок». Все это — уже давно, двадцать лет назад. Теперь его голос дрожит: «...я хотел бы сегодня попросить прощения у всех за свои грехи и ошибки». Но нет, это еще не все. М.Ц. напоследок делает подарок читателям: «В Чикаго я единственный священник, который, учитывая наши "военно-полевые условия", может принять исповедь по телефону... конечно же, совершенно бесплатно». (Апр., 2018)

*

Предчувствует ли человек свою смерть? Ответ очевиден. Сразу вспоминаю множество историй. Но расскажу только одну, собственную.

Как и все, не раз слышу о нападениях грабителей в «неблагополучных» районах Чикаго. Советы бывалых людей: ни в коем случае нельзя спорить, убегать, сопротивляться, звать на помощь... Надо отдать все, что можешь и что потребуют. А лучше всего — имей в кармане небольшую сумму денег (вдруг перед тобой наркоман с помутненным рассудком? Он, не задумываясь, выстрелит или ударит).

Минувшей субботой иду из синагоги домой. Около часа дня. С утра был дождь, а теперь — сухо и чуть морозно. Иду, думаю: «Вот и прошла жизнь... Нет, не так... Это ушла неопределенность юности и молодости. Теперь все впереди ясно. Не ясно одно: каким будет конец и когда он наступит...»

Говорят, когда души спускаются в этот мир для того, чтобы облечься в плоть, точная дата нашего ухода отсюда уже определена. Как определена и миссия, с которой мы приходим. Конечно, Всевышний дает человеку выбор: маршрут нашего земного пути во многом зависит от нас самих. Но последняя дата неизменна.

Такие вот банальные мысли...

Идти мне минут пятнадцать. Неожиданно в одном из переулков (около стройки, где возводятся скромные двухмиллионные особняки) догоняют меня два афроамериканца. Лет восемнадцати. Прилично одеты. Один забегает вперед, протягивает мне руку: «Гуд шабес!»

И тут же, с другой — угрожающей — интонацией: «Давай деньги... Быстро... Иначе буду стрелять».

Опускает руку в карман куртки, вынимает оттуда револьвер, снова прячет его, наставляя на меня дуло через куртку.

Почему я спокоен? Может, потому что тут же вспоминаю свои размышления — всего несколько минут назад. Неужели Всевышний именно так готовил меня к смерти?

«У меня нет денег». Это правда. В шаббат евреям не полагается брать в руки денежные купюры.

Парни оглядываются. На улице по-прежнему — ни души.

-Я считаю до трех и буду стрелять... Раз... два...

Он считает до восьми. А я жду выстрела. Неужели это, действительно, все?

Словно по чей-то подсказке, вдруг снимаю с себя новое итальянское пальто:

-Это вам!

Поняв, что денег у меня действительно нет и проигнорировав мое пальто, они разворачиваются и — уходят.

Четыре дня спустя все это по-прежнему выглядит странно.

Странно: в шаббат в нашем районе, где живут в основном ортодоксальные евреи, на улице не было прохожих (а в синагогах как раз закончились службы). Странно то, что они появились здесь. И то, что безмолвно ушли.

Это была репетиция ухода или только сон наяву?

Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ПИР

* * *

Полуслепой библиофил,
бумажный червь усопшей книги,
на целлюлозном кладбище жил-был,
Декарта теребя вериги.

Вот старости полураспад.
Смотри, моллюск, на сморщенное тело.
Тяни стихи, как шелкопряд,
пока оно не омертвело.

Каков итог темнеющего дня?
Душа как голова не поседела.
Там ночи нет. Там нет меня.
Действительность не одолела.

Душа всё пела бы и пела.

Полевая почта

В траншее бытия
ползёт сверхсрочник разум.

Там хлюпает земля.
Пространство пышет газом.

Рисует хлорофилл
пятнистую зелёнку.

И кто бы ты ни был
получишь похоронку.

Пир

Жизнь
выпала
в осадок.

Всплыло
памяти
пятно.

Ты
на прошлое
не падох.

Но
осталось
лишь оно.

Всё.
Вперёд
дороги нету.

Пало
эго,
и-го-го.

Пир!
Сознания
котлету

Мозг
изжарит
в ничего.

Прощание мотылька

Исчезают
в неизвестности
старики.

Опустевшие окрестности
гробовой
доски.

Вечное молчание
длинного
гудка.

Долгое
прощание
мотылька.

Слалом

На склоне дней
осваиваешь слалом.
Летишь под горку
всё скорей,
лоснясь
воспоминаний
салом
лыжни
своей.

Мелькают дней
тонюсенькие ёлки.
Скрипит скелет.
Навстречу мчат
невидимые волки...

Небытия
глухонемой
привет.

Призрак

Привычка
вредная
собою
быть
нам
позволяет
как-то
жить.

Так,
будто
это
ты
наводишь
с космосом
мосты.

Дурак,
проснись,
тебя
здесь
нет.

Башки
тугой
велосипед
вращает
бренное
пятно.

Ты
призрак
ДНК-кино.

2017

ПЕРЕПРОСМОТР

* * *

Чую-чую, чувства стынут.
Индевет голова.
Ты почти из тела вынут,
выдыхатель CO².

Никому уже не нужный,
даже самому себе,
человек всемирно чуждый,
помаши рукой судьбе.

* * *

Шизофрения белой ночи
терзает мозг.
Мутаций раб,
чернорабочий
сознания воск
в печурке
черепа
топлю.

Не сплю.

* * *

Ментальных пятен суета.
Калейдоскоп с названием «Тщета».

Каптёрка крошечного я
на острове бескрайнего меня.

Живу на нём как Робинзон,
смотрю сознания беспрерывный сон.

Оксюморон.

Перепросмотр

Ольге Хрусталёвой

Дышу архивной пылью третий день.
Шуршу бумажками. Страдаю.
Прожитой жизни бюллетень,
как будущий покойник, созерцаю.

Так странно исчезать в самом себе
и превращаться в тень былого,
по-братски хмыкая судьбе:
«Опять ab ovo?»

Постфутуризм

Сам
себя
сбросил
с корабля
современности

2017



Дария КОШКА

/ Харьков /

ДАЛЬНИЙ СОБЕСЕДНИК СЕГОДНЯ, ИЛИ ПОЭТИЧЕСКИЙ АКТ КАК БЛОКБАСТЕР

Мандельштам начинает статью «О собеседнике» вопросом о том, что же нас пугает в сумасшедшем — и отвечает: нас пугает его равнодушие к нам. Безумец говорит не к нам, а к камням и деревьям. И именно таков поэт: он игнорирует нас. Поэт к кому-то обращается — но не к нам. К кому же? Мандельштам цитирует Боратынского, где есть такие строчки о бытии поэта: «Его найдет далекий мой потомок // В моих стихах — как знать — душа моя // Окажется с душой его в сношеньи...»

Он описывает свое отношение к полюбившемуся ему стихотворению Боратынского, сопоставляя ощущение от чтения с тем, которое испытывает тот, кто находит выброшенную на берег моря бутылку с письмом. И стих Боратынского, и письмо никому не адресованы, но оба имеют адресата: «Хотел бы я знать, кто из тех, кому попадутся на глаза названные строки Боратынского, не вздрогнет радостной и жуткой дрожью, какая бывает, когда неожиданно окликнут по имени».

Именно так, и признание Мандельштама: «Да, когда я говорю с кем-нибудь, — я не знаю того, с кем я говорю, и не желаю, не могу желать его знать», — вызывает у меня чувство, что меня окликнули, назвали именно мое имя. Это ощущение возникает от слов Мандельштама «не хочу знать». Ведь он не хочет знать — других, которые не есть я. Вот почему он должен сказать, что не хочет знать и меня. От этого возникает чувство единства душ, которые могут услышать друг друга на расстоянии лет и тысяч километров, поверх городов и целых стран, где живут другие, которые, слыша слова поэта и, возможно, откликнувшись на них, попытавшись вступить в диалог, обязательно что-нибудь да упустят, исказят. Или, напротив, поймут все предельно точно, и, сказав, убедят в своей правоте еще и поэта, и

тогда несказанное поэтического слова станет сказанным, а значит, в стихе не останется простора поэзии. Ведь поэтическое всегда подразумевает загадку.

Но Манделъштам не просто не желает знать этого собеседника — он в принципе не может этого желать. Почему? Потому что желать знать можно — кого-то, о ком уже хоть что-то да знаешь. Можно мечтать познакомиться со звездой или с по-настоящему добрым человеком — кого-то, о ком уже известно нечто конкретное. Но тот, кто нас поймет лучше всех и даже лучше нас самих, всегда находится далеко впереди. И читателю, если вдуматься, и не хочется знать поэта, читатель чувствует, что он должен оставить поэта в покое, предоставить поэта его побегу «на берега пустынных волн».

Между поэтом и дальним собеседником обязательно должна быть пропасть незнакомости — иначе не будет чуда поэзии. Мне почему-то кажется, что, случись нам с Манделъштамом встретиться на улице, я прошла бы мимо, чтобы не нарушить тайну близости. Это чувство знакомо каждому, кто бывал очарован стихотворением. Что спросить у того, кто, не зная тебя, за тысячу верст и лет, разглядел в тебе самое лучшее и светлое? Разве уместны слова — даже слова благодарности, когда твоя речь сомкнута, само-склеена в молчание его речью? Ощущение тяжести, тревожности, которое будит в нас стих, ощущение, что здесь за нас сказали лучше, чем мы сами могли бы, и что единственный долг перед словом поэта — деятельно, всей своей жизнью помнить это слово, не перестать быть-под-воздействием-стиха. *Это ощущение есть тот конститутив, через который поэзия творит мир.* За счет этой дистанции незнакомости поэты есть, как говорил в своем программном эссе Перси Шелли, «непризнанные законодатели мира».

У меня возникает закономерный вопрос: как работает конститутив дистанции незнакомости теперь, в эпоху Интернета? Поэт неизбежно становится *интернет-артистом*, сливая свой образ и образ своего лирического героя в единое целое за счет фотографий, облика в соцсетях и прочего, не относящегося к поэзии. Кроме того, для читателя теперь связаться с кумиром не представляет никакого труда.

Мне кажется, было бы поспешно снимать это противоречие, ссылаясь на то, что Манделъштам говорит о «читателе в потомстве», а не «друге в поколении». До читателя в потомстве поэту как культурному событию еще нужно дожить. Потому что ситуация, в которую теперь попала литература, меняет и отношение поэта к поэзии. Я имею в виду, в первую очередь, снижение роли литературы в жизни, то, что поэзии теперь приходится конкурировать с другими *наполнителями досуга*.

Чтобы конкурировать с другими наполнителями, поэзия должна стать именно наполнителем досуга. Остается ли она при этом поэзи-

ей? Продолжает ли она, как сказал Мартин Хайдеггер, «призывать в разверстые просторы сущего истину», «именуя богов и все вещи в том, что они»? — вопрос сегодня неумолимо открытый.

«Если я знаю того, с кем я говорю, — я знаю наперед, как отнесется он к тому, что я скажу», — говорит Мандельштам. Диалог, считает он, возможен только с тем, с кем мы достаточно далеки друг от друга, чтобы прислушиваться к словам друг друга. «Лицом к лицу лица не увидать», — говорил Есенин.

А что, если поэт может разглядеть лицо читателя, если это лицо стоит перед ним и в момент поэтического озарения? Не начинается ли он петь в голос с собеседником в процессе стихосложения так же, как при случайной встрече, которая может оказаться полезной? Не поддается ли он тяге апеллировать к фальшивому ощущению коллективности, сходства, не обращается ли к интонациям утешения и потакательства привычным для собеседника настроениям? Или, например, желанию шокировать неслыханными экспериментами, или своей красотой, дав пытливому уму собеседника пищу для обсуждений? — что, в сущности, является тем же потакательством и утешением.

Вообще, какой должна быть интонация поэта? Кто должен ему сообщить эту интонацию, то есть, *то, как* его говорения о чем-либо? Тот же, кто подсказывает мыслителю, как ему говорить — *то-о-чем* его говорения. Значит, интенция утешать и привлекать внимание вступает в соперничество в диктовке интонации с тем, что хочет самовыговориться в стихе.

И потому слова Мандельштама не утрачивают актуальности и сегодня, и теперь даже еще настойчивее говорят в своей актуальности, перерастающей в тревожащую насущность вопроса. Мандельштам говорит нам: «Скучно перешептываться с соседом. Бесконечно нудно буравить собственную душу. Но обменяться сигналами с Марсом — задача, достойная лирики, уважающей собеседника и сознающей свою беспричинную правоту. Эти два превосходных качества поэзии тесно связаны с «огромного размера дистанцией», какая предполагается между нами и неизвестным другом — собеседником». Значит, дальний собеседник — вообще не землянин. Он живет на Марсе.

«Только реальность может вызвать к жизни другую реальность», — подытоживает поэт. Следует согласиться: лишь безусловная вера в существование того дальнего собеседника, который однажды прочтет и поймет стих лучше даже, чем я сам его понимаю; кто услышит и удивится; и кто бы мог в ответ удивить меня своим пониманием меня, — лишь вера в реальность такого собеседника может быть основанием для веры в нерушимость собственных прозрений. Дальний собеседник, к которому поэт обращается — залог беспрекословного доверия этим прозрениям.

В противном случае — на мой взгляд — в стих проползают фальшь и цинизм. Кто сейчас пишет, например, о доблести? Как можно писать о доблести в годы, когда признанными поэтами становятся холодные мрачные юноши, в чьих тонких пальцах распадается, рассыпается поэтическая форма и чьим глазам в годы взросления предстает равнодушие окружающих и несправедливость «плюрализма мнений»? Им немногим больше двадцати, но говорят они так, будто уже все попробовали и во всем разочаровались. Их герой — «мерцательный субъект», как его назвал Дмитрий Пригов, их слова заострены для развенчания, растворения одного контекста в другом. А тот растворяется в следующем. Начни эти поэты говорить о доблести — или о верности, человеческом достоинстве — неизбежно повторятся, то есть, впадут в «графоманство». Но что остается делать перед лицом перспективы застрять в XIX столетии, повторяя прежде открытое? Ведь поэзия всегда говорит впервые. Она говорит — из будущего. Возможны и другие образы — вроде тех, которые транслирует Жадан, но в гражданскости такой лирики слышатся интонации любующегося собственной персоной потакания болтовне некоторого сегмента политически активной аудитории.

Я хочу сказать, что поэзия не столько вследствие «эпохи конца авторства» и (по-видимости неизбежного) «распада формы» (термин Седаковой), сколько из-за своего интернетствования и непопулярности среди наполнителей досуга становится говорением-в-духе (образа, который нужен некой аудитории). Например, образ меланхолического юноши Холдена Колфилда, образ юного Вертера, образ Сала Парадайза, или собирательный образ героев Брюсса Уиллиса. Но в «моде» на эти интонации также проявляется обращение к ближнему собеседнику (апелляция к аудитории), и похоже, что эта интенция современной поэзии конфликтует с подлинно поэтическими прозрениями.

Что они такое, эти прозрения? Илья Исаакович Риссенберг, крупнейший поэт-мыслитель русскоязычной Украины, так охарактеризовал свое понимание необходимости поэзии в частной беседе: «Я просыпаюсь, и мне нужно понять, где я, что я. Как меня зовут? Как я вообще здесь оказался? Ответить на этот вопрос я могу, написав стих. Стихотворение — это развернутое имя присутствия».

Это имя всегда ново, оно звучит для читателя так, как если бы его окликнули издали, вдруг увидев лучше, чем он сам себя видит. Фридрих-Вильгельм Фон Херрманн в своей работе «Фундаментальная онтология языка», интерпретируя слова Хайдеггера о том, что поэты наряду с мыслителями суть хранители жилища бытия в эпоху мировой ночи («Письме о гуманизме», Хайдеггер), связывает силу поэта с «зоркостью», то есть, со способностью чутче быть к вещам и настроениям, в которые эти вещи нас вводят. Именно так: все вещи вводят нас в настроения, задевая. И поэт больше задет вещами, чем другие, чутче ощущает боль и радость от этих вещей.

Итак, можно подвести итог: поэт — это не образ в глазах аудитории, а тот, кто зорче обнаруживает присутствие.

В чем разница между продавцом и поэтом?

Продавец образа — или, как уже было сказано, интернет-артист — придерживается целостности в своей продукции исходя из бренда. Он четко знает, что нужно избранному сегменту аудитории, и называет покупателей — покупателями. Покупатели не способны стать никем, кроме самих себя. Поклонники образа Брюсса Уиллиса не захотят слышать от него излияний юного Вертера. Или Эммы Бовари. Или вообще кого-то непонятного. Но, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: не веря в то, что читатель может стать кем-то, кроме самого себя (тем самым считая его тем, что в терминологии Хайдеггера это обозначено термином «подручное»), поэт тем самым передоверяет читателю определить, кто есть автор текстов. И читатель, желая видеть образ, к которому он тянется, назначает поэта не быть никем, кроме него самого — а быть производителем, источником образа. *Тогда стих становится способом самоутешения, точкой трансляции некоторой устойчивости.*

Но ведь таких точек трансляции устойчивости много: это и образы артистов, и образы солистов популярных музыкальных групп. Мы знаем, что в Одессе есть некая живая Барби, поддерживающая кукольный образ и живущая жизнью куклы. Ее инстаграм вдохновляет нас, мотивирует к работе над собой, сведенной над беспокойством о своей внешности. Мы знаем, что в американской глубинке есть парни, которых играют Брюсс Уиллис и Джеймон Момоа, при необходимости эти ребята спасут не только страну, но и всю Землю. Это делает нас мужественными, и мы смотрим в зеркало с восхищением — ведь в зачине фильма они играли именно нас. Мы знаем, что есть классные девчонки, которые свою печаль по поводу неразделенной любви переводят в веселость и целеустремленность. Это заставляет нас искать в себе силу радоваться жизни. *Артистический образ — часть нашего устойчивого миропонимания. Но это не та роль, которую должна играть поэзия.*

Поэт придерживается целостности — стиха и стиля — исходя из самовыговаривания смысла. Он верит в правоту своих прозрений, которые могут быть странными и увести в неизвестное, новое. И эта вера в свою правоту дана поэту именно благодаря дистанции незнакомости в отношении читателя. Он верит в то, что есть некий дальний собеседник, который сможет понять его. Поэтому читатель для поэта — возможность иного-себя, возможность преображения в кого-то другого — в дальнего собеседника, способного услышать стих. Когда же поэт остается для читателя далеким, и у читателя не возникает иллюзии близости, то не возникает и читательского панибратства — кажимости, что речь поэта — это речь кого-то, кого он уже слышал (например, девчонки из соседнего двора, мудреца, способного научить, как жить). Тогда, и только тогда возможно более

трепетное отношение к слову поэзии, которое родом из будущего. Таким образом, *благодаря дистанции незнакомости стих обретает силу поэзии, то есть, говорит о несбывшемся, которому предстоит сбыться в нас — на пересечении слов из будущего и нашего деятельного понимания этих слов. Теперь становится понятным высказывание Перси Шелли о том, что поэт — это «непризнанный законодатель мира».* Тогда прозрение поэта — не слово-о, но сотворение будущего, идущее из него самого. Такое сотворение есть акт, акт поэтический, поскольку сам язык — из которого мы сделаны и вне которого невозможны — со-творяет в нем.

Есть такая ходовая сцена в современных блокбастерах: герой оказывается у препятствия: чтобы сделать последний шаг к цели, ему необходимо подняться по отвесной скале. Или хуже того, он сорвался в пропасть и чудом остался жив. Так или иначе, нужно карабкаться. Герой забрасывает на уступ веревку с крюком на конце, и она соскальзывает. Он бросает ее снова. И снова. И спасается только в том случае, если крюк на конце веревки зацепится за какой-нибудь выступ. Но там может этого выступа и не оказаться. Нам показывают момент последнего броска. Потом — как летит веревка. Потом, наконец, крюк зацепляется, и в этот момент звучит торжественная музыка: победа! Герой спасется! А как иначе? Иначе бы не было фильма о нем: ведь некому было бы увидеть подвиг и рассказать о нем.

Думается, поэтический акт и есть этот самоуверенный бросок поэта в неизвестное, где, вероятнее всего, никто никого не ждет. Но странным образом именно вера в то, что ждут (поймут) создает ожидающего, благодаря чему самовыговаривающийся смысл чудом спасается от небытия. За счет обращения к дальнему собеседнику поэтический акт — это речь из «далека» (слово Цветаевой): из — будущего; чудесное спасение и водворение слова (и всего мира в нем) на то место, где долю секунды назад — была одна пустота.



Дмитрий АРТИС

/ Москва /

* * *

У меня в кармане ножик,
а за пазухой — кирпич.
Я почти полжизни прожил,
как поэт бездомный, бич.

Всё отдал, кому не надо,
там, где надо воровал.
Светит мне почище ада
солнца дивного овал.

Если пил чуть меньше чая,
то чуть больше водки пил.
Каждый божий день встречая,
мысли страшные копил.

Если спросишь: почему же?
Я отвечу: потому ж...
Никому такой не нужен
сын, отец, приятель, муж.

* * *

Быть исключительным подонком,
ходить в белье простом и тонком,
среди бездомных, полных желчи,
искать дающих даром женщин.

Безбожно пить и пить в котельной
с одной на станции Удельной,
потом с другой дойти до белки
в кустах какой-нибудь Дыбенки.

Жизнь промелькнёт перед глазами,
как бюст петровский на вокзале,
стремглав — отчаянно и быстро,
но избежишь самоубийства.

* * *

Внутри меня живущий демон
был занят всю неделю делом:
спиртное пил за семерых,
гоняя демонов твоих.

Нехватка сна, плохая пища,
глаза чернее пепелища —
мой демон выдохся, затих
в ногах у демонов твоих.

* * *

Вся ничтожная суть мироздания в патоке слов:
перед тем как заснуть, пылесосом ловлю комаров —

это значит, что ты будешь спать, и не будут щедры,
раздувая цветы волдырей на спине, комары;

это значит, что август ещё, а быть может, уже.
(Колосится черта между нами на том рубеже.)

Появились грибы — земляника почти отошла,
ноша мнимого быта, как будто бы не тяжела.

Совершаем обряд, посчитав на смартфоне шаги,
заодно аккурат на неделю двоим — шашлыки.

От души постарался, когда запасался углём.
Только та пастораль наших будней пошла под уклон.

Как судьбу не итожь, получается лишь вещество:
счастьем тоже пресытиться можно, устав от него.

Всю ничтожную суть мироздания преодолев,
мы расстались, ничуть не ругаясь, — отчаянный блеф.

Только я — сам не свой, задыхаясь от патоки слов,
буду этой зимой пылесосом ловить комаров,

чтобы ты где-то там, забывая любовь и дела,
без меня где-то там, где-то там, будто ангел, спала.



Николай КАРАМЕНОВ

/ Александрия /

ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ

(о рассказе Андрея Назарова «Дичары»)

В художественной литературе было достаточно попыток описать состояние, которое ожидает человека после его смерти. Намного меньше — описать агонию в ее экзистенциальном понимании. Иосиф Бродский однажды заметил, что если символически изобразить реальную и познанную синтаксисом человеческого языка действительность, то она будет напоминать скатерть с бахромой. Подлинная литература — это попытка выйти за пределы скатерти, то есть окружающий нас мир, и описать хотя бы маленькую частицу непознанного. И поэтому сильное стихотворение или сильный рассказ художественно изображают то, что существует вне скатерти, в просветах между бахромой.

Мне кажется, что в рассказе «Дичары» Андрей Назаров шагнул дальше бахромы. Он вырвал, высветил часть того, что вообще находится за пределами реальной и познанной действительности. Сила художественной выразительности рассказа Андрея Назарова заключается и в том, что в нем отсутствуют какие-либо элементы мистики, нет ничего фантастического, того, что в обыденном или даже религиозном мироощущении воспринимается как чудесное, как проявление иного. Но в том-то и дело, что Андрей Назаров описывает это иное, находящееся по ту сторону смерти, реалистически изображая последние дни жизни знаменитого художника, который поселился в русской деревне на заброшенной даче.

Короткое содержание рассказа таково. Художник, которого некогда *«волна вынесла <>к вершине успеха и схлынула»*, перестал писать, развелся, запил и сбежал на заброшенную дачу, *«словно умер (здесь и далее жирным курсивом выделено автором статьи) для всех»*. Он бродит по полям и старым рощам в надежде, *«что за поворотом распахнется, собьет дыхание волшебный вид»*, чтобы его запечатлеть на своем холсте. И однажды, оказавшись на поляне, наблюдал, что поляна вбирает в себя грозное небо, а потом краем глаза заметил *«вспыхнувший желтый всплеск, мгновенно сместивший оттенки»*. Когда же снова открыл глаза, то оказался сильно разочарован, ибо желтого всплеска уже не было, хотя он поклясться мог, *«что там, обочь кустов, светился желтый росплеск пижмы, волшебно осветивший поляну»*.

Расстроенным вернулся художник на дачу и потом, проснувшись после тяжелого сна, увидел девочку, одетую в куртку грязно-желтого цвета, именно такого цвета, что привиделся ему вчера. Оказалось, что на поляне была эта девочка, и именно ее в этой куртке герой рассказа принял за росплеск пижмы.

Сразу же некая сила толкает художника к проходящей девушке, которой он взволнованно говорит: *«Это ты, это же ты!»*, глядя в некрасивое одуловатое лицо идиотки. Она и говорить-то нормально не умеет. А на его вопросы отвечает, произнося лишь начальные слоги слов. После ей удается объяснить ему, что родная тетка ее стыдится, и она ушла жить к дичарам, то есть к собакам, в вольер, где и спит.

Художника *«мутило от желания»* овладеть девочкой, и, как в рассказе объясняет он сам, это желание возбудил в нем запах исходящий от идиотки: *«пахло её миром, пахло животным, угрожающим»*. Художник несколько раз жадно совокупляется с девочкой, становится ее первым и последним мужчиной, понимая, какой великий грех — обидеть идиотку. Интуиция ему подсказывает, что, переспав с нею, он принесет ей смерть, *«... и он скрепил ее гибель, властно войдя в простертое под ним, доверчивое, отозвавшееся немой жалобой»*. На следующий день он узнает, что собаки, рядом с которыми спала девочка, загрызли ее до смерти и разорвали на куски, они каким-то образом почувствовали, что она потеряла девственность, и, если данное понятие можно применить к объяснению поведения животных, не простили ей этого.

Когда девочка после встречи с художником вошла в вольер, она еще успела удивиться, *«что собаки не кидаются к ней залиvisto, как всегда. Они затаились, ее дичары. Они поняли, что она принесла в себе, — и не простили»*. *<> Утром на растерзанные останки наткнулся сторож, народ подтянули. Собрали, что пришлось, в брезент, к тетке отнесли, Тихоновне. Та, отыв родную свою рябую дурочку, обмыла от крови и открыла тихую улыбку, запечатленную на разорванном лице»*, — так заканчивается рассказ Андрея Назарова «Дичары».

О том, что действия в рассказе разворачиваются после смерти художника или во время его агонии, в их экзистенциальном понимании, говорит не только все содержание «Дичар», но и отдельные мысли автора о судьбе героя.

Желая того или нет, но Андрей Назаров несколько раз подчеркивает уход в потустороннее своего героя. Художник *«сбежал на заброшенную дачу, исчез, не сказавшись, словно умер для всех. По пальцам пересчитал, кто вспомнит, кто искать кинется, да много их, пальцев, не нужен он стал никому, даже детям»*.

А после первой близости с идиоткой, *«Страх уже не существовал, оставшись по ту сторону жизни — как не существовало более ни той прежней жизни, ни его в ней, — ничего, кроме обнаженного, притихшего под ним тела»*. *<> «По ту сторону понимания, где он сейчас находился, ничто уже не имело значения»*.

В потустороннем, в мифологическом пространстве, куда художник попадает после своей смерти или во время агонии, на первый взгляд все напоминает сельскую местность средней полосы России. Однако автор

постоянно вводит в рассказ художественные детали, которые заставляют несколько иначе посмотреть на якобы просто образное описание реалий сельской природы.

Во-первых, небо. Там, куда художник сбегал, *«не сказавшись, слово умер для всех»*, и твердь земная и почти все, что на ней находится, представляют собой другое небо, небо вообще, и с какого-то момента на уровне художественного восприятия становится ясно, что то небо, что вверху, является лишь отражением неба, простёртого внизу. Художник и сам вначале не понимает, в чем дело, поскольку, как, по логике вещей, и должно быть с человеком, попавшем в мифологическое измерение — в потустороннее, в свой персональный ад — воспринимает окружающее его, как реальность по эту сторону жизни. Но взгляд мастера, сбегавшего на заброшенную дачу, все же ловит определенные отличия того, что начинает окружать человека после его смерти. Однажды, *«Возвращаясь с луга, он слегка сбился с тропы, оказавшись на небольшой оцепенелой поляне, наблюдал, как вбирает она грозное небо»*. Художник суеверно зажмурился, а когда снова *«раскрыл глаза, то чуть не взвыл. Неверно в нем отразилось. Неверно. <> ...Он сразу понял, что теперь не так. Исчезло главное, придававшее жизнь и боль найденному, наконец, и пропавшему пейзажу»*.

Но пейзаж, который художник увидел вначале, не исчез, просто небо в пространстве, куда он попал, перетекает сверху вниз, в земную твердь, или, может, земная твердь и является небом. Дальше в рассказе читаем, что поляну, которая вбирала в себя грозное небо, герой рассказа во сне видел как *«лиловое, затягивающее пространство, освещенное и дразнившее желтым всплеском»*. После близости с девушкой он дал ей поесть, а сам *«отвернулся. Покрытая серебристой влагой, тихая трава за окном ловила переливы неба»*.

Сама девушка, увиденная боковым зрением художника на поляне и принятая им за желтый всплеск пижмы, одета в желтую куртку, а *«по ее омытым дождем резиновым сапогам светлыми тенями скользят облака»*. Интересно, что идиотка не умеет полностью выговаривать слова, и только когда художник переспал с ней, начинает произносить их целиком, спрашивая у человека, которого начала считать своим возлюбленным: *«День, день?»*, как бы намекая об отсчете времени, которое она и воплощает. Услышав ее вопрос, художник взглянул в окно, — *«По ту сторону стоял день без имени»*. Наверное, от этой ключевой фразы — *«День без имени»* — и необходимо отталкиваться, чтобы понять, где оказался художник, сбегав от людей, и кто такая идиотка, к которой он внезапно испытал неудержимое желание.

Поскольку поляна, где герой рассказа увидел девушку, была небом, а на омытых дождем резиновых сапогах девушки светлыми тенями скользили облака, можно предположить, что она — в том мифологическом пространстве, куда попал художник, — ступает по небу. Да и одета она в желтую куртку, другими словами, на поляне, и, естественно, в символическом контексте рассказа, она была символом солнца или другим солнцем. Но, осуществилось это опять же, в том измерении, где оказался во время агонии герой *«Дичар»*.

Девушка несет — на себе и в себе — символику рыжего, оранжевого и желтого цветов, да и чем могло раскрыться лиловое небо, если не

вспышкой на нем солнца — *«желтым всплеском на волшебной поляне»?* К тому же автор рассказа как бы поясняет: *«Она рыжая была, по бледной ее коже разбегались рябые крапинки, которые, жадно роднясь с ею, он неотрывно целовал, спускаясь к лобку, подернутому слабо-желтыми, неухоженными волосами».*

И лицо у идиотки кругло, как солнце. Лишь только художник увидел ее в *«том грязно-желтом, что привиделось ему вчера»* и рванулся к ней, *«Она обернулась слегка одутловатым лицом и осталась ждать».* Дальше читаем, что герой «Дичар» *«впился взглядом в выцвевшие глаза на слегка припухшем лице, не имеющем возраста».* Когда же, после соития, художник предложил девушке пойти помыться, *«прислушиваясь, она повела головой, запрокинула ее вверх и застыла в каком-то не свойственном людям движении».*

Дело в том, что из содержания рассказа невозможно понять, сколько дней без имени художник провел вместе с девушкой, но в символическом ряду это один день — вечность. В конце «Дичар» говорится, что художник *«втянув ее запах, не испытал приступ страсти, не схватил в объятия, не подмял, как все эти безымянные дни»*, потому что она уже произнесла полно и упоённо свой «люблю», утратила тот запах животного, что так страстно влёт его к ней.

Идиотка, попав в дом художника, как бы отмеряет собой, солнцем, один вечный день, ведь в том измерении, в котором оказался художник после смерти, времени нет. Она ступает по вечному небу, ибо поляна, по сути, и становится настоящим небом в посмертном существовании художника. Это и есть ад главного героя. Андрей Назаров описывая ад, наказание за деяния в этой жизни, развивает события, поселяя художника на заброшенной даче в русской деревне. Ад, как постоянно повторяющееся однообразие и невозможность определить, по крайней мере, внешне, а не чувством, течение времени, течению времени, описывает в своей пьесе «За закрытыми дверями» и Жан-Поль Сартр. Ад героев его произведения — это закрытая комната без окон, в которой они должны вечно находиться.

У Андрея же Назарова художник, естественно, не понимая, что он во время своей агонии или после своей смерти попал в другое измерение, пытается объяснить свое пребывание на заброшенной даче и свою связь с идиоткой таким образом: *«Значит только страх перед истиной удерживает здесь? Прячемся от нее трусливо в созданиях своих, мучаем себя, цели ставим, а на самом деле только ширму и строим — чтоб не увидеть, не ужаснуться. И зачем надо было так наглядно открывать мне эту истину теперь, подсунув конопатую дурочку, заманив желтым всплеском на волшебной поляне? Зачем мне знать, что все просто, как соитие с идиоткой, а никакого другого смысла нет, и не было во всем, чем я жил? А, может быть, такое только перед концом и открывается?»*

Именно то, что находилось во время жизни художника за ширмой, которую он пытался ставить перед собой, чтоб не видеть действительности, и стало его наказанием. И сама девочка, как и должно быть солнцу, но в другом измерении — *«воплощенная вечность — бессмысленная и анонимная, как соитие. И заслониться от ее ужаса своей палитрой он уже не мог».*

Один из центральных нервов рассказа, его подтекст или надтекст — очень древний миф о чудовище или звере, проглотившего либо же съевшего солнце. Поэтому художник и знает, что своей близостью несет гибель идиотке. В данном случае, воплощая собой стража-мертвеца в потусторонний мир, он живую девушку-солнце не видит, а чувствует обонянием, ибо мертвые в мифологических картинах мира почти всех народов не способны узреть живого, но способны почувствовать запах живого существа. Это не значит, что в рассказе художник не видит идиотку, ведь внешне в рассказе описывается старый мастер, сбжавший жить на заброшенную дачу в русской глубинке. Это значит, что в его восприятии идиотки огромную роль играет ее запах. И хотя это запах собак, который передался ей, поскольку она живёт с ними в вольере, герой рассказа воспринимает его именно, как страж: он чувствует запах живой плоти. Перед первым соитием с девушкой художник *«Прижался к ней и понял. Запах. Запах чужого, непреодолимо притягательного. «Дичары», — вспомнил он, — вольер»*. *От нее пахло ее миром, пахло животным, угрожающим. Его мучило от желания, которые запах этот поднимал в нем»*. Да и дальше, познав идиотку, художник продолжает ее скорее чувствовать, чем видеть, ибо после того, как она помылась, и, в символическом контексте рассказа, смыла или уменьшила свой запах живого существа, он все равно как бы не увидел ее, а *«услышал ее кровь, приливавшую к лицу. <> ...и он снова потянулся на запах, утопил в ней лицо»*. Скорее всего, именно по этой причине, слепоты мертвого, герой рассказа после близости с идиоткой *«бросился за мольбертом»*, но сразу осознал, что *«Не напишет он ни ее, ни лиловые подтеки ветвей, которые она наполняла тревогой и светом. Никогда и ничего он уже не напишет, потому что нет больше в его сердце ни света, ни надежды»*.

Собаки — второе естество художника. В том мифологическом измерении, куда он попал, герой рассказа, как это часто и случается с мифологическими героями, существует сразу в двух ипостасях и находится одновременно в нескольких местах. Но сам он об этом ничего не ведает, только чувствует. Поэтому, как было сказано выше, он точно знает, что его близость с девушкой принесет ей гибель. И он первый начинает над ней расправу, хотя полностью уверен, что испытывает лишь непреодолимое физическое желание к идиотке. Это и есть его по-смертному наказание — постоянно попирает солнце другого неба в образе девочки-идiotки и приносит своей близостью ему гибель, то есть уничтожать время.

Следует заметить, что девушка после близости с художником не только начинает полностью произносить слова, то есть как бы из «звереныша» очеловечиваться, она начинает любить мужчину, которому отдалась. После первого соития с ним идиотка пыталась понять, что такое любовь, и доверчиво приняла телесную близость с мужчиной за выражение любви: *«Вы так меня лю... лю... так, да? Значит, счастливая... тяперьча, <> А прежде рази дичары лю... и лю...»*.

В конце рассказа девушка впервые сумела полностью выговорить слово «люблю»: *«Люблю, — впервые произнесла она свое «лю» полностью и прислушалась. А потом повторяла, повторяла упоенно, перекладывая голову от плеча к плечу. Он заметил, как она любит себя своим сло-*

вом, как осмысленной радостью оживает ее улыбка, и глаз не мог отвести от того девичьего, что проступало на ее лице, от движений ожившего рта и поворота настороженной шеи. На его глазах менялось ее существо, исчезало то главное и единственное, что так жадно влекло его к ней».

На первый взгляд кажется, что художник своей телесной близостью очеловечивает ее, но в том-то и состоит одна из смысловых особенностей рассказа, что «мертвого», замороженного запахом живой плоти, девушка делает более «живым», как бы возвращает ему все его сознание, которое было у него до его смерти. А до смерти он никогда бы не обратил внимание на такую некрасивую дурочку. Художник как бы, в контексте того, что символически отображает в рассказе слепого стража в потустороннее, начинает видеть ее, прозревает и замечает — как символ солнца или само солнце-девочка взшла, и уже не обнаруживается только лишь желтым всплеском пижмы на волшебной поляне, а находится в зените, освещает и согревает его своим светом и теплом. Однако как раз это ему, как стражу-мертвецу, и чуждо. И все это в мифологическом контексте рассказа совершается только для того, чтобы больше усилить боль художника, его муки ада, ибо, *«Когда отголосок ее ног истаял, он почувствовал боль и ударил себя в то место под сердцем, где комом застряла пустота».*

Девушка в глазах художника становится человеком, перестает быть идиоткой, и, скорее всего, не потому, что художник нечто вложил в нее или дал ей. Она для него — нерв вечно повторяющегося в его потустороннем пребывании события, где муки совести и чувство вины и отчаяния за содеянное должны постоянно, после вспышки страсти и надежды на некое обновление «жизни», преследовать его. И хотя идиотка *«уносила любовь, держа ее заполненным телом, почему-то зная, что любовь нужно держать в себе именно так, специально переставляя ноги, чтобы донести, не расплескав, в свой мир, где не надо говорить»*, в мифологическом контексте она распознается мертвым, как живая, и поэтому должна быть наказана.

Было бы слишком очевидным и поэтому недостаточно художественным, если бы человек, вступивший с ней в половую связь, знал, что его телесная близость с девушкой принесет ей смерть, но перед ее гибелью, переспав с ней, попытался очеловечить ее. Он просто насытился ее запахом, ее плотью, как живого существа, и одновременно забрал, вобрал в себя то, что было его второй сущностью, ибо, как было сказано выше, художник существует одновременно в двух ипостасях, как чудовище, потому что не только как чудовище поедает солнце, но и, в обыденном понимании совершает чудовищный поступок, и в виде псов, которым идиотка приносит пищу — ту же плоть, и спит рядом с собаками. Именно это следует учитывать, что она спит рядом с собаками, а затем переспала с художником.

Утрата девушки запаха псов делает художника равнодушным к ней, а собак агрессивными. В том, как бы реальном разворачивании событий в русской деревне, страж в царство мертвых не может пахнуть как мертвый, ибо, если бы от него несло мертвечиной, рассказ бы потерял очарование образного отражения действительности и приобрел бы оттенок произведения, написанного в жанре мистики. Художник, забрав у

девушки запах псов, начинает пахнуть псами, а то, что в контексте стража он вначале распознает запах псов, как дуновение живой плоти, говорит лишь о многозначности его образа. К тому же данная многозначность как бы с двух сторон все равно оттеняет его символическое значение как потустороннего существа. По сути, его равнодушие к ней, а ведь он ее недавно взял, насытился ее телом (псам она носила пищу), тоже есть вид агрессии и жестокости.

В рассказе написано, что девушка, уходя от художника, «уносила любовь, держа ее наполненным телом». В прямом смысле — это сперма художника, которая, поскольку идиотка олицетворяет собой солнце, может стать зародышем нового дня. Но в том-то и дело, что «любовь» художника — оставить в девушке и на девушке запах чужого, чтобы собаки не распознали ее. И в итоге они разорвут идиотку, то есть девушку уничтожит та сущность художника, которая существует параллельно с ним в другом месте. Встретив девушку и почуяв от нее запах псов, а, другими словами, запах самого себя в своей полной реализации как уничтожителя времени в потустороннем, художник совершает надругательство над идиоткой.

Андрей Назаров великолепно в образе человека передал поведение художника-пса, пожирающего солнце, ведь, как известно, совокупление у собак начинается с обнюхивания: пес, прежде чем совокупиться с сучкой, обнюхивает ее и от этого возбуждается. В принципе запах и есть тем фактором, который возбуждает половой инстинкт животного, и животное не имеет понятия о красивой внешности, ему не присущ эстетизм. Но как раз именно это присуще и художнику, который, как живописец, в первую очередь должен постигать мир, в том числе и женщину, визуально. Правда, он замечает некрасивость идиотки, но этот художественный нюанс как раз и говорит о том, что его, как пса, внешность женщины не интересует.

Так что, если подытожить, запах в рассказе имеет несколько смыслов. Во-первых, это запах живой плоти, которую чует мертвый художник. Во-вторых, это запах, являющийся сущностью художника, как пса, поскольку данный запах периодически покидает его, а затем, через совокупление с девушкой, возвращается к нему. В-третьих, запах определяет сексуальное поведение художника и делает его в мифологическом контексте рассказа псом-чудовищем.

В конце рассказа художник начинает замечать, что девушка, которую он взял, не так уж и некрасива. Он видит, *«как осмысленной радостью оживает ее улыбка»*, как она меняется, становится красивее, но именно это и отворачивает его от нее, ибо в ней *«исчезало то главное, и единственное, что так жадно влекло его к ней»*.

Итак, в рассказе «Дичары» Андреем Назаровым сделана попытка описать непознанное еще синтаксисом человеческого языка, ад творческой личности. И она удалась. Ад художника — это невозможность что-либо написать, только иногда найти нечто, что можно перенести на бумагу или на полотно. Поскольку в потустороннем нет времени и не существует его исчисления, автор описывает уничтожение времени и отсюда выплывающий кошмар адской вечности через показ уничтожения художником того, что могло бы в его потустороннем существовании исчислять время.

Художник существует в виде стража в царство мертвых и в виде чудища-пса, обольщающего солнце, а затем съедающего его. Почему так случилось, можно только гадать. Может причина такого наказания художника кроется в том, что в новой жизни, требовавшей глянцевого величия, *«свое он писать перестал. Запил, развелся, злился чужой какой-то злобой, уезжал в мастерскую, бессмысленно рассматривал холсты, отыскивая в них свои оттенки, — и не находил, расшвыривал»*.

Однако в содержании рассказа прослеживается бинарная оппозиция. Вечное уничтожение времени художником в посмертном его существовании посредством обольщения и уничтожение девушки-солнца, которая только и может, если бы была воспринята им как личность и оставлена рядом, исчислять время, — и вечное, ибо художник в своей жизни на земле до того, как пришли новые хозяева жизни, требовавшие глянцевого величия, *«не менялся с юности»*, а затем, оказавшись не нужным новой России, запил и перестал писать. Может постоянная, вечная преданность творчеству в этой жизни, несмотря на то, кто бы ни правил ей, находясь на политическом Олимпе, и есть условием ухода творческой личности после смерти в рай, где творческий человек не будет самолично, не отдавая себе в этом отчета, уничтожать время, чтобы вечно пребывать в муках, а выращивать его и оперировать им. Ибо постоянная и вечная преданность искусству здесь, без компромиссов, без обольщения и расчета — единственный или один из немногих путей, который может привести творческую личность после ее смерти к ее персональному Эдему. Возможно...



Валентин НЕРВИН

/ Воронеж /

* * *

Хочу дотянуться до Господа Бога
и правду о жизни узнать у него.
Обидно, что сил остается немного
и времени тоже всего ничего.
Душа Голубиную Книгу листает
и силится уразуметь, почему
любви человеку всегда не хватает,
а смерти надолго хватает ему.
Ввиду неминуемого эпилога,
над логикой существования бьюсь:
хочу дотянуться до Господа Бога,
но правду о жизни услышать боюсь.

* * *

У художника — холсты,
у поэта — лира,
у садовника — цветы,
у Земли — Луна.
На последнем рубеже
суетного мира
в глубине моих зеркал
ты отражена.
Я люблю твои глаза,
волосы и губы,
и не знаю о любви
больше ничего.
Но архангелы трубят
в траурные трубы,
словно на похоронах
счастья моего.

* * *

Смурные, как дым без огня —
глаза бы мои не глядели —
тревоги минувшего дня
стоят в изголовье постели.
Пока раздвигают они
пространство и время ночное,
повсюду банкуют одни
бессонница и паранойя.
Смятение чудится мне,
которое ночь показала
на сумеречной простыне
убыточного кинозала.

* * *

Не светильник и не факел —
головешка про запас;
даже самый Падший Ангел
ярче нас и выше нас.
Он летит, изнемогая,
по Вселенной напрямиком,
зная, что судьба другая
в общежитии людском.

Утоли мои печали
сказкой о добре и зле —
нас летать не обучали,
вот и ходим по земле.
Мы таращимся из мрака
на феерию огней,
но последняя собака
и добрее, и умней.

* * *

Памяти Е. М.

Танцуешь легко и раскованно,
почти не касаясь земли,
со стоном по разные стороны
горячие тени легли.
Кому-то шуршать кринолинами,
кому-то на сцене стоять:
Анюта ли, Екатерина ли —
уже невозможно понять.

Земное и даже небесное
беру напоследок займы,
пока ты летишь по-над бездною,
в которой находимся мы.
Душа никогда не заблудится
на той, неземной высоте
и крутится, крутится, крутится
немыслимое фуэте!

СВИДАНИЕ

Не подвела, не опоздала:
навеселе и налегке
стояла около вокзала
с нелепой сумочкой в руке.
Все тайны жизни — в косметичке!
Но это горе — не беда;
мы на последней электричке
закатимся, невесть куда.
В колониальном лесопарке,
с поэзией накоротке,
уговорим бутылку «Старки»
на деликатном языке.
Дай руку, или что иное —
в тени планеты мы одни.
Существование земное
всегда безумию сродни.
Влюбиться никогда не поздно:
поют ночные соловьи
и многочисленные звезды
горят, как праздники мои!



Евсей Цейтлин

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /

Евсей ЦЕЙТЛИН

/ Чикаго /



Владимир
Порудоминский

БЫЛО — НЕ БЫЛО

Беседа Евсея Цейтлина с прозаиком и историком культуры
Владимиром Порудоминским

Из цикла «Писатели Русского зарубежья»

Е.Ц. Сначала давайте предупредим читателя: эта беседа — продолжение нашего долгого разговора. Он длится уже более двадцати лет. По телефону и в письмах. Кажется, разговор «обо всем», на самом деле об одном — о творчестве. И прежде всего о том, как известный литературовед Владимир Ильич Порудоминский в эти самые десятилетия искал себя в прозе.

Что добавить еще? Время от времени Вы присылали в Чикаго материалы своего архива: «Пусть у Вас хранятся, мне это дорого. Я с моим «архивом» обхожусь постыдно плохо». Говорю об этом потому, что — с Вашего разрешения — буду обращаться в нашей беседе и к Вашим письмам, и к Вашим неопубликованным заметкам.

В.П. Мне нравится эта тема — *искал себя в прозе*. Она предполагает серьезный разговор.

Мольер когда-то славно пошутил над нами, предложив нам определение, что проза — это всё, что не сказано стихами. «Значит, я говорю прозой!» — восторженно кричит его герой. Но у нас на его месте вряд ли есть основания для восторгов. *Искать себя в прозе* — серьезная, подчас долгая работа. Иногда человек много пишет, выпускает книги, — но прозой так и не заговорил.

Но — *литературовед?! Помилуйте!* Конечно, среди моих работ есть такие, которые можно отнести к литературоведению — статьи, комментарии, составление собраний сочинений классиков. Некоторые, впрочем, весьма условно. Вряд ли назовешь литературоведением «Болдинскую осень» (которую делали вместе с Натаном Эйдельманом) или книгу о молодом Толстом «Счастье, которое меня ожидает». А книги о художниках, о Николае Ге, например, или Кар-

ле Брюллове? Ну, не искусствоведом же еще меня числить? В последние годы, правда, прицепилось определение «историк культуры», — и мне это, признаюсь, нравится. Но главное: литературоведение (как и искусствоведение) никогда не было основным направлением моей работы. Оно развивалось параллельно ему, как помощь, как поддержка, как необходимость, но никогда, или лучше почти никогда, этого главного не замещало. Главное для меня было жизнеописание, биографический жанр.

Это *искал себя в прозе*, которым Вы определяете мой путь, мое движение в литературе, на протяжении многих лет было для меня поисками в рамках, в пределах (так будет точнее) именно биографического жанра. Позволю себе своего рода тавтологию, но иначе как-то не получается: жизнеописание, биографический жанр открывает перед автором бесчисленные жанровые возможности. Почти невозможно найти литературный жанр, которым не могло бы обернуться жизнеописание. Другое дело, что в силу обстоятельств, достаточно известных и понятных, чтобы сейчас говорить о них, биографическая книга слишком часто превращалась у нас (и у многих с таковым ассоциировалась) в некоторое подобие многократно увеличенной в объеме скучной газетной статьи. Но, к счастью, литература предлагает нам и совершенно иные образцы жанра — «Освобождение Толстого» Бунина, и тонкие, я бы назвал «очерковые», повествования Бориса Зайцева, и роман Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», и булгаковского «Мольера», впервые увидевшего свет в обновленной общественной «оттепелью» серии ЖЗЛ (Мастер после нескольких десятилетий официального забвения снова встретился с читателями).

Мне повезло: я вступал в литературу, в биографический жанр, в серию ЖЗЛ как раз на пороге шестидесятых. Серия тогда решительно изменила свое лицо. В новых книгах менялись отношения автора с героем, лицо автора обретало индивидуальные черты, свободнее становились оценки, шире привлекался исторический материал, много внимания отдавалось стилистическим поискам. В итоге рождался, становился на ноги современный отечественный биографический жанр. Такие книги, как «Лунин» Н.Эйдельмана, «Чаадаев» А.Лебедева, «Лев Толстой» В.Шкловского, «Резерфорд» Д.Данина, «Николай Вавилов» С.Резника (называю те, что сразу вспомнились) — подтверждение этому. Новый подход ознаменовался даже сменой оформления: именно тогда книги ЖЗЛ обрели нынешний узнаваемый внешний облик (который держится уже более полувека).

Первой книгой, увидевшей свет в обновленной серии и в обновленном переплете стал (символично и не случайно) «Мольер» Михаила Булгакова. Перемена внешности и характера серии обозначена номером выпуска. На титульном листе булгаковского «Мольера» значится: «Выпуск 1 (334)» (334-й книга числилась со времени основания серии в 1933 году).

Моя первая книга «Гаршин» вышла в обновленной ЖЗЛ под номером 5.

Мне очень близок Гаршин с его болезненно-обостренным отношением к «непорядку» в мире в себе и в мире вокруг, с его тревогой, с его отчаянием, с его знаменитым «Именем его императорского величества государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому». Я так и писал книгу — не о некоем писателе Гаршине, о котором знаю сегодня нечто более существенное, чем он сам о себе знал, а как о близком, дорогом мне человеке. Для меня важнее было увидеть мир глазами Гаршина, нежели Гаршина глазами моего сегодня. Несколько десятилетий спустя я прочитал в труде по истории серии ЖЗЛ, что представленная мною (тогда начинающим) рукопись привлекла редакцию именно этим искренним нежеланием автора дистанцироваться от своего героя, как это было принято, критиковать его ошибки, заблуждения, высчитывать отдаленность того, каким он был, от того, каким, по официальному мнению, должен был быть (какой «нам нужен»).

Литература в Советском Союзе, конечно, и в шестидесятые оставалась подцензурной, но простора для маневра открывалось всё же несравнимо больше, чем в недавнем сталинском прошлом. Писателю-биографу подчас дышалось полегче, нежели его собратьям, обращавшимся к современности. Неоспоримость жизнеописания — исторических событий, фактов и реалий жизни героя, документов, хотя «сверху», «сбоку» постоянно вмешивались и в отбор событий, фактов, документов, и в их толкование, — неоспоримость эта тем не менее позволяла порой развить мысль, неординарную для тогдашних печатных страниц, сообщить нечто, наводящее на раздумья о своем сегодня, привести суждения, недопустимые в произведении на современную тему. (Только не будем преувеличивать силу неоспоримости. Доводы тоталитаризма не имеют ничего общего с элементарной логикой.) *Сила вещей*, по слову Пушкина брала свое, биографическому жанру отдавалось всё больше места и в издательских планах, и на книжных полках, появлялись новые биографические серии: «Жизнь в искусстве», «Писатели о писателях», госполитиздатовские «Пламенные революционеры» (здесь сотрудничали Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Булат Окуджава, Натан Эйдельман, — появилась возможность сказать нечто)...

Но вернемся к нашему *искал себя в прозе*.

Определение, мне кажется, имеет двойной смысл. Первый (наверно, это Вы и имели в виду): работая, я от книги к книге искал *свою* прозу. Так оно и было, наверно. Мои биографические книги не похожи одна на другую. И по замыслу (хотя на первый взгляд это звучит несколько условно применительно к жизнеописанию), и по отношениям, устанавливаемым между автором и героем, и по образной системе, и стилистически (композиция, язык и проч.) они

решительно одна от другой отличаются. Сопоставьте хотя бы «Брюллова» и «Даля». Или биографию Крамского и повесть о собирателе сказок Афанасьеве. Я никогда не «придумывал» язык и стиль новой книги, ее образную систему: ее проза рождалась сама собой, пока осмыслялась и развивалась тема, пока собирался и обдумывался материал и в значительной степени, когда книга уже писалась. Эти поиски завершились четверть века спустя, в середине восьмидесятых. Завершились они *биографическим романом* «Грустный солдат». Это роман — о Гаршине. Здесь я могу повторить: сравните первого ЖЗЛ-ского «Гаршина» с «Грустным солдатом» — ничего общего. Хотя в целом мое отношение к герою не изменилось. Но это были Гаршин, жизнь Гаршина, воспроизведенные *другой прозой*.

Но у определения *искал себя в прозе* есть и другой, не менее значимый смысл. Помните, Гоголь в статье о живописце Александре Иванове замечательно говорит о том, что, пока художник работает над картиной, не только она меняется под его кистью, но работа изменяет и его самого. Каждая книга меня изменяла, из работы над каждой я выходил обновленный, другой. Рос и углублялся опыт, обреталось новое умение, но и взгляд на мир изменялся, на происходящее в нем. Суждения становились более зрелыми и, наверно, более самостоятельными (я надеюсь, во всяком случае). Более совершенными становились и творческие приемы. Захотелось энергичнее попробовать себя на других дорогах литературы. Отъезд помог мне в этом. Отсутствие нужных книг, архивов, общений, невозможность путешествовать по местам жизни героя (я, за редкими исключениями, писал о России) облегчило, во многом сделало само собой разумеющимся мое расставание с биографическим жанром. Но главная причина этого расставания была, конечно, иной. Для меня настала пора *новой прозы*, и работал над ней уже совсем иной автор, нежели тот, который некогда получил возможность написать свою первую книгу — биографию Гаршина для серии ЖЗЛ.

Е.Ц. Обычное чувство писателя, оказавшегося в эмиграции, это ощущение своей ненужности, точнее — полной ненужности своей работы. Помню рассказанную Вами в письме (в марте 1998-го) маленькую новеллу. Тогда только что появилась Ваша книга «Цвета Толстого» — интереснейшее исследование о том, как в зависимости от психологического состояния героев меняются краски в палитре писателя. Конечно, я спросил: в каком издательстве вышла книга? Вы ответили со спокойной улыбкой: «Книга эта на самом деле «нигде не вышла»... Мой зять, хороший книжный график, сделал дизайн и набрал текст на компьютере, а я, накопив некоторую сумму денег, для того потребную, напечатал в недалекой «друкарне» сто экземпляров. Эти экземпляры разослал тем, о ком знал, что им может быть по-настоящему нужна такая книга, а так-

же в университетские (и не только) библиотеки... Несколько немецких, американских и английских адресатов меня поблагодарили, большая часть этого не сделала, ни одно российское учреждение, включая Пушкинский дом, не потрудились даже сообщить, что книга получена».

В Советском Союзе Ваши вещи издавали огромными тиражами, зачастую в самых популярных сериях — «Жизнь замечательных людей», «Жизнь в искусстве», «Писатель о писателях». Как быстро Вы привыкли к новой для себя бытовой и творческой ситуации? И привыкли ли вообще?

В.П. Без убежденности, что кто-то твою книгу прочитает, писать трудно.

Что же до нужности того, что ты делаешь, то мир обошелся бы без любого, даже самого великого творения, созданного литературой. Конечно, для кого-то мир без «Гамлета», тем более вообще без Шекспира непредставим, но многие и не заметили бы его отсутствия. Для многих же, да, возможно, для большинства, он и отсутствует.

Но я так же убежден, что люди из другой части человечества, проживавшие на той же шестой части Земли, где и я, не просто так выстаивали ночи в очередях за подпиской на собрание сочинений, за новым томом биографической серии, просто за новой, нетерпеливо ожидаемой книгой, — не «для виду», не «для мебели». И это при многотысячных тиражах. Они, эти люди, и впрямь, не всегда прочитывали эту в трудах и усилиях приобретенную книгу, но обладание ею было для чего-то нужно и дорого им.

В последние годы, десятилетия, по совокупности причин, которые сейчас и здесь нет возможности обсуждать, наше отношение к книге, к чтению сильно, подчас в корне изменилось. Помню (кажется, в начале восьмидесятых) появилось правительственное распоряжение при подписке, под видом нехватки бумаги, резко сократить тиражи толстых журналов. Почтовым отделениям был определен строгий лимит на подписку. Боже мой! Что поднялось! Только что не бунт. И это в стране, умевшей многое стерпеть. Возмущение было так велико, что власти отказались от принятого решения и оставили журналам их шестизначные тиражи. Теперь же издавай, сколько угодно, но гигантская страна вполне обходится тиражами четырехзначными.

Литература утратила ту духовную и общественную роль, которую всегда играла в России.

Е.Ц. Сколько книг Вы издали в СССР? Кажется, сорок. «Признанный мастер биографического жанра» — это из «Википедии». Вы поведали читателю о судьбах и творчестве Пушкина и Гоголя,

Льва Толстого и Тургенева, Чехова, Владимира Даля, Гаршина, Пирогова, Брюллова, Николая Ге, Крамского, Ярошенко... Но вот другой портрет, точнее — автопортрет. Долгие годы Вы сознательно соблюдали дистанцию, отстраняясь от литературного официоза: «Я жил на обочине, а не в обойме. Я быстро понял, что, если хочу чего-нибудь от «них» иметь, то должен им отдаться, а в моем положении беспартийного еврея, пишущего о литературе и искусстве прошлого, тем более. Понял, что они мне «дадут», если сначала сделаю меня ветошкой, будут ноги об меня вытирать, — а я знал, что нравственно не выдержу этого. Помню зашел в Союз писателей выпить кофейку, коньячку, а там партийное собрание — славят, переходя в овацию. Вдруг дверь распахивается, перерыв, и из зала несутся в буфет — нет, не Бубенновы, не Марковы, хотя и они, конечно, а дорогие мои друзья, те у кого я на кухне, кто у меня на кухне... Я всегда это знал, никого не судил, но сам — не мог... Вся эта союзписательская жизнь с ее лживостью, подлостью была мне невыносима» (письмо от 3 марта 1998 г.).

«Теперь же я и не на обочине, а далеко за вдольдорожными кустами». Это Вы уже об эмиграции, о первых ее годах. Ваше состояние можно, впрочем, назвать по-другому: обретение внутренней свободы. Волшебная легкость безвестности. Полная открытость времени, пространству, судьбе. Именно тогда и родился замечательный прозаик Владимир Порудоминский. Примечательно: Вы пытались писать прозу в Москве. Так появились несколько прекрасных рассказов («Немец», «Начало марта»). Но Вы быстро замолчали. Как будто что-то мешало — пейзаж, люди, невозможность полностью изменить привычный литературный почерк? В середине 90-х Вам было почти семьдесят. Однако начинать, как известно, никогда не поздно. Какими помнятся Вам эти годы нового творческого старта?

В.П. Я, к сожалению, не отношусь к людям, которые умеют жить с ощущением полной внутренней свободы. Как ни складываются обстоятельства, я всегда «чувствую тяжесть атмосферы».

Уезжая, я не предполагал, что буду писать. Надеялся лишь, если получится, закончить несколько начатых работ, которые считал для себя обязательными. Я ехал начинать «всё» заново, а что начинать, не очень себе представлял. Мне было шестьдесят шесть лет. Пенсионный возраст. Не самый подходящий возраст для радужных перспектив.

Но в голове, в памяти, в душе за долгую жизнь многое накопилось и просилось быть запечатленным на бумаге. На дворе стояли очень живые девяностые (1990-е) годы, годы перемен, когда еще не был утрачен интерес к недавнему прошлому, еще существовали и, того более, множились издания, желавшие рассказывать о времени, в котором я прожил жизнь, которое живо помнил, чувствовал, кото-

рое, когда писал о нем, заново переживал, проживал и которое, что очень важно и дорого, пока рассказываешь о нем, становилось *историей*. Так, почти сами собой, начали появляться уже не биографические повествования, а прозаические тексты, в основе которых лежал опыт собственной внешней и внутренней жизни.

Е.Ц. Молодые авторы нередко пробуют себя в разных жанрах и стилях. Тут нет формализма, как иногда считали ретивые советские рецензенты. Тут попытки найти жанр и стиль, адекватные собственному дару. Для этого нужны годы? У Вас было мало времени. Одно за другим появлялись Ваши произведения, талантливо не похожие друг на друга. В некоторых просматривался Ваш интерес к «магическому реализму» («Женщина племени Майямаори»). Иные Ваши вещи выполнены в традиционной реалистической манере, конечно, очень созвучной Вам — исследователю русской классики («Частные уроки», «Комдив», «Великие мастера музыки», «Из жизни негров»). Кое-где я различил перекличку с поисками Юрия Олеши и позднего Валентина Катаева («Короткая остановка на пути в Париж», «Трапезы теней»). Думаю, однако, самым плодотворным был другой Ваш эксперимент. Суть его Вы выразили в одном из своих писем: «...мне хочется придать прозаическому замыслу ощущение документальности» (3 сентября 2001 г.). Эксперимент этот мало кто заметил и понял. К примеру, Ваш теперь уже знаменитый рассказ «Похороны бабушки зимой 1953 года» первоначально был опубликован в журнале «Знамя» (2001, №11) в разделе non fiction. А куда стремится Ваша проза теперь?

В.П. Ощущение документальности возникает у читателя прежде всего от точности письма, о которой я очень забочусь, оттого, что стараюсь писать только о том, что хорошо, в точных подробностях знаю. Биографический жанр приучил бережно и серьезно относиться к подробностям. Есть у меня и определенные приемы «документализации» текста, но тут нужно помнить, что эти приемы, как и всякие иные, не должны стать нарочитыми.

Как я пришел к этому, я не знаю. Так получается. «Каждый пишет, как он дышит»...

Да, когда в журнале «Знамя» опубликовали мой рассказ «Похороны бабушки зимой 1953 года», его поместили в разделе «Нон фикшен», хотя рассказ этот сплошь вымысел.

Дальше больше. Одна читательница даже поведала мне, что была знакома с моим дедом, о котором идет речь в рассказе, работала с ним в типографии, хотя сам я (так сложилось) своих дедов не знал, и в типографии ни один из них не работал. Я это воспринял как похвалу.

Е.Ц. Однажды Вы заметили, между прочим: «...Все мои стихи бросил в Москве, не знаю сохранились ли». Так что же с Вашими стихами? Нашлись? Ведь это явно не тот случай, когда о «поэтиче-

ских опытах» прозаика и литературоведа вспоминают стыдливо, вскользь. В подтверждение процитирую одно Ваше стихотворение 1983 года — «Востряковское еврейское кладбище». Оно попало ко мне почти случайно, «всплыло» вдруг в Вашей дневниковой записи от 26 февраля 1989-го:

Я Авраам,
 Я Ицхак,
 Иаков
 И Давид.
 Я глина
 И огонь,
 И стук Господень в двери.
 Я урна с прахом тех,
 Кто триста раз убит,
 И триста раз сожжен,
 И триста раз развеян.
 Я Сарра,
 Я Юдифь,
 Я Эстер
 И Рахиль.
 Я руки гончара, слепляющего пыль
 В округлость кувшина для погребенья праха.
 На кладбище
 Берез сквозная пестрота.
 Все снега ждет.
 Пространств прозрачных пустота.
 Ленивый крик ворон.
 И отчужденье страха.

В.П. Что это Вы вдруг заговорили о стихах? Нет, к сожалению, это не мое. В юности я, конечно, баловался стихами. Но это не серьезно. В восьмидесятые я вдруг в течение нескольких месяцев писал стихи. И почти никому их не показывал. Это пришло и ушло. За четверть века здешней жизни я почти случайно написал, может быть, десять стихотворений. Уезжая, я оставил свои стихи среди ненужных бумаг. Скорей всего, они не сохранились.

Е.Ц. Еврейская тема, практически вообще невозможная для советского писателя, задавленная уже в подсознании многими талантливыми авторами, реализовалась в Вашем творчестве исповедально и своеобразно. Что воодушевляло и подталкивало Вас? Конечно, я помню очевидное. Записки о Виленском гетто Вашего дальнего родственника Григория Шура: Вы готовили их к печати несколько лет. Произведения Исаака Башевиса-Зингера, которые в это время начали свою жизнь по-русски, оказавшись столь близки ми Вам. Что еще?

В.П. Как было к еврейской теме не прийти?.. Мы жили в стране, где постоянно в той или иной степени, а точнее — в той и иной форме существовал антисемитизм; но тема эта десятилетиями была запретной. Антисемитизм вообще всегда существовал. Так и в Советском Союзе. Сложились, правда, мифические представления об исторических периодах, когда якобы его не было. Но это ошибочные представления. Многие полагают, например, что страна была свободна от антисемитизма в 1920-е годы, когда после октябрьского переворота евреям были даны общие права и их присутствие в обществе стало очень заметно. Но я изучал центральные газеты тех лет — они полнятся материалами об антисемитизме. Другое дело, что тогда явление это критиковалось. Потом антисемитизм всё более становился государственным, и о нем перестали говорить вслух. Я помню антисемитизм с детства. У меня есть об этом рассказ «Детские игры».

Но Вы правы: главным побуждением для поворота к еврейской теме, как и одним из главных событий моей жизни вообще, оказалась встреча с записками моего дяди Григория Шура, которые он вел в Виленском гетто. Восемь лет я готовил эту рукопись к печати, и все эти восемь лет чувствовал, что живу в гетто. Книга Григория Шура увидела свет, переведена на шесть языков. Мне эта работа подказала замысел и дала материал для нескольких рассказов.

Но я писал не только о гетто. Из сочинений на еврейскую тему сложилась книга «Уходящая натура».

Е.Ц. В эти десятилетия мы с Вами нередко говорили о снах. Для того были свои причины. Вы написали глубокую и, как мне кажется, первопродходческую работу о феномене сна и сновидений в духовных исканиях Толстого. Я долгие годы записывал сны евреев, пытаюсь через них приблизиться к разгадке судеб соплеменников. «Шаги спящих» — называется цикл моих дневниковых новелл. А имя Вашей книги «Пробуждение во сне» поистине многозначно. Во-первых, однажды Вы провели в состоянии искусственного сна около сорока дней; это было необходимо врачам в период лечения Вашей тяжелой болезни. Но Вы многое слышали, даже думали в этом состоянии. Во-вторых, вспомню: согласно некоторым религиям — в том числе и иудаизму — вся наша жизнь — это только сон. Какое толкование названия ближе всего Вам?

В.П. Я, к сожалению, всё же изрядный скептик, поэтому не решусь, пожалуй, готовно поставить знак равенства между жизнью и сном. Но такое толкование мне близко. Оно нашло себя, хотя себя не исчерпало, и в названии книги. Вообще же на эту тему я, действительно, довольно много написал в большой статье о сне и сновидениях в духовных исканиях Л.Н.Толстого («Особенно оживленная деятельность мозга»).

Е.Ц. Вернусь к Вашим работам о Толстом. В эмиграции Вы ярко завершили свой толстовский цикл. В нем — Ваши многочислен-

ные статьи, комментарии к составленным Вами сборникам Льва Николаевича, книга о молодом Толстом. А в эмиграции, кроме работы «Цвета Толстого», появилась Ваша уникальная книга «Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины». Что же вновь и вновь возвращало Вас к Толстому?

В.П. Моя встреча с Толстым произошла очень рано. Мне было восемь лет, я тяжело болел, и мой отец читал мне вслух толстовское «Детство». С тех пор я не то, что вновь и вновь возвращался к Толстому: с тех пор мы не расставались. Проза Толстого, его романы, рассказы были реальным миром, в котором я проводил значимую часть жизни.

Позже для меня настало время философских и религиозно-нравственных его трудов. После октябрьского переворота большинство из них попало по существу под официальный запрет. Тома полного собрания сочинений, где эти труды всё же напечатаны, увидели свет таким (тем более в масштабах России) ничтожно малым тиражом, что, едва выйдя из типографии стали библиографической редкостью: не то что во многих библиотеках — во многих городах не найдешь.

Про людей, ценивших его художественные произведения, но не принимавших религиозно-нравственного учения, Толстой говорил, что они разрывают его по частицам. Семь десятилетий не было для нас одного, единого Толстого, великого художника, уяснявшего в творчестве важнейшие философские и нравственные вопросы жизни, и вместе философа и моралиста, учение которого рождалось в обобщении его художественного опыта. Семь десятилетий нам предлагали, навязывали, приказывали разорванного на части Толстого — «с одной стороны», «с другой стороны»... И если с одной стороны — «гениальный писатель», то уж с другой непременно — «помещик, юродствующий во Христе», и к тому же «истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом», и навязчивые «рисовые котлетки», и преступное «нравственное самоусовершенствование».

В одной из своих статей, как раз из тех, что нам читать не давали, Лев Николаевич пишет: в обстановке насилия людей так вышколивают и одуряют, что они верят в ложное учение, которое им передают за истину, а в истину не верят. Нас школили вычитывать у Толстого то, что он не писал, школили не читать того, что он написал, да еще судить и рядить — с чужих слов — о недочитанном и непрочитанном.

Мне выпало счастье еще в молодости приобрести так называемое Юбилейное 90-томное полное собрание сочинений Л.Н.Толстого, в котором были напечатаны те труды его, которым был прегражден путь в другие издания. Эти тома не пылились у меня на полках. Я постоянно возвращался к ним. Вслед за Толстым, вместе с Толстым я искал и уяснял истину. Учение Толстого с годами всю больше определяло мои собственные нравственные поиски, воз-

действовало на решение моих жизненных и подчас даже житейских проблем. Не говорю уже о художественном опыте Толстого, который как школа необъятен и в ширь, и в глубину.

На вопрос Наполеона, почему в его теории Вселенной не упомянут Бог, Лаплас ответил: «Я не нуждался в этой гипотезе». Толстой, рассказывая эту историю, прибавлял: «А я без этой гипотезы не мог бы сделать в жизни ничего доброго». Мне близка и понятна позиция Толстого, я бы мог повторить за ним его ответ и, более того (с понятной поправкой) мог бы прибавить, что точно так же и без Толстого в жизни многого не сумел бы сделать.

В поздние годы моей жизни были периоды, когда я почти исключительно занимался Л.Н.Толстым. Я издал книгу о молодости писателя, о его «начале» («Счастье, которое меня ожидает»), исследование о колорите в его творчестве («Цвета Толстого»), ряд статей, большая часть которых составила сборник «О Толстом».

Я печалюсь, что в наше время принято какое-то пренебрежительное, свысока отношение к классикам и классике как к чему-то безнадежно устаревшему, ненужному, даже нелепому, почти смешному. Толстой, конечно, устоит. Просто жалко, что хорошие люди, увлеченные отрицанием и не самого доброго разбора шуточками, бездарно теряют время. Что же до учения Толстого, то, не сомневаясь, что вызову огонь на себя, берусь утверждать, что оно набирает, обречено набирать в наш век всё большую силу. Благодаря внешней простоте, его легко представить утопией, но, если поразмыслить, именно утопия и несет в себе подлинный здравый смысл, тогда как «здравый смысл» в его расхожем понимании ведет человечество в тупик, оборачивается утопией в ее худшем виде (антиутопией).

Е.Ц. В одном из Ваших писем (12 ноября 2002) — горькое признание: «Живу с усталой душой. Под собою не чую страны (в самом широком смысле слова — бытового, бытийного, подчас и духовного материка.) В моем возрасте пора уже на все махнуть рукой и доживать — не умею. Я плохой верующий (это тоже меня огорчает): умом понимаю, что надо отдаться на волю Его, да и не умом только — всем своим существом, но, как большинство евреев, мучим страхами — сегодняшними, вчерашними, завтрашними. Они оттесняют в душе мою веру, оттесняют меня от веры, погружают в уныние — все это я тяжело переносу: и само состояние, и сознание его греховности, часто и неразумия».

Помогает ли Вам творчество «восстанавливать», ежедневно воссоздавать себя заново?

В.П. Я из тех пишущих людей, которым необходимо ежедневно подходить к верстаку. Без этого жизнь становится скучной, теряет интерес, кажется, что остаток жизненных сил утрачивается понемно-

гу. Толстой писал своему другу Страхову: «Я очень хорошо знаю это чувство... всё как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела. Недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя. И нельзя начинать...»

В последнее время мне стало не доставать этой энергии заблуждения. Всё чаще стало «не работаться». Дни без работы томят, тягостят, огорчают. Жизнь становится иной, чем прежде.

Е.Ц. Полвека Вы, если можно так выразиться, были частью литературной Москвы: издали много книг, общались и дружили с прекрасными поэтами, прозаиками, литературоведами. С некоторыми активно переписывались. Но воспоминания ни о ком из них не написали. И это — при Вашей человеческой и творческой отзывчивости. Есть ли внятная причина тому?

В.П. Я не веду дневника, не делаю для себя подробных заметок. Хочешь написать воспоминания, и непременно начинаешь присочинять. Не говоря уже о том, что мемуары это литература, они — *строятся*, материал подчиняется замыслу архитектора. Я как писатель-биограф прочитал множество мемуаров и, сопоставляя написанное в них с другими источниками, с документами, очень часто находил неточности, подчиненность материала авторской идее и композиции. Да и память штука ненадежная. Когда читаешь, например, прямую речь героя, пересказанную мемуаристом три десятилетия спустя, подчас справедливо сомневаешься в достоверности текста. И так далее. Всё это не мешает мне очень любить мемуаристику и всегда охотно работать с ней. Но самому писать мешает. Иногда начинаешь «вспоминать», и тотчас начинаешь чувствовать несовпадения между тем, что ты пишешь, что помнится и что хотелось бы написать.

Е.Ц. Многие русские писатели подолгу жили за границей — Гоголь, Тургенев, Тютчев... Однако они не считали себя эмигрантами. Относите ли Вы к себе это понятие — эмигрант?

В.П. Гоголь, Тургенев, Тютчев и не были эмигрантами. Они подолгу жили за границей, случалось, там и умирали (Тургенев), но уезжали, чтобы вернуться. Я уезжал насовсем. Поэтому я отношу к себе понятие «эмигрант».

Для нас, россиян, это слово ныне звучит осуждающе. Так было не всегда. В выпущенном еще в советские годы (1984) академическом четырехтомном Словаре русского языка, который стоит у меня на полке, примером к понятию «эмигрант» даны восторженные слова известного революционера Морозова: «Итак, я тоже эмигрант, как Герцен, как Бакунин, как Огарев, как Лавров! Я тоже изгнан из своей родины за гражданскую свободу, за республику». В России понятие «эмигрант» до сих пор еще очень связано с понятием насильст-

венного или добровольного «изгнанничества». В Германии (как и в других странах Запада) живут тысячи людей, переехавших сюда из разных стран мира, чтобы жить и работать; между тем термин «эмигрант» здесь мало употребителен.

Е.Ц. На наших глазах трудно ушел в прошлое двадцатый век. Поучительно наблюдать работу безжалостного времени. Сейчас уже никто не помнит литературных конъюнктурщиков 1920-80 годов, но и прекрасные писатели этого века заняли свое, увы, часто скромное место в истории литературы. «Пришли иные времена, взошли иные имена». Читаете ли Вы сегодняшнюю прозу и поэзию? Какие тенденции литературного процесса отталкивают или привлекают Вас? Кто из авторов Вам близок?

В.П. Сегодняшнюю прозу и поэзию читаю мало, поэтому не имею права вести речь о «тенденциях литературного процесса». Исторически сложилось (мы уже говорили об этом), что в последние десятилетия взгляд на роль литературы, само отношение к ней в России сильно изменились. Но литература упрямо занимается своим делом. И если суждено появиться хорошей книге, она появится. Такой бесспорно хорошей книгой стало для меня повествование Марии Степановой «Памяти памяти...»

Е.Ц. Мы не раз говорили с Вами о возрасте. Об обманчивой коварности цифр, которые дают на человека. И — мешают жить, осуществляя свое земное назначение. В 1998-м, когда Вам исполнилось семьдесят, а мне — пятьдесят, Вы заметили в письме: «Про семьдесят Корней Иванович Чуковский говорил, что это великолепный возраст, но... по-настоящему человек способен понять это только в восемьдесят. Полвека — и вовсе возраст, достойный оды! Вы хорошо написали, что чувствуете себя «вне возраста» и что природа такого ощущения — в душе, которая — часть Вечности. Об этом можно бы поговорить — хорошо и долго. Тут и философические соображения: вы со временем меняетесь, время меняет вас, но при этом вы остаетесь «в себе», и поэтому, как писал старый Толстой, я — это я 5 лет, и 15 лет, и 25-ти, и 35-ти и т.д. лет. Но тут и ощущения житейские: вне зависимости от самочувствия, лишь в силу данного тебе разума ты понимаешь, что твой срок пребывания здесь так или иначе идет к концу, и это не может, по-своему, не сказываться на образе твоих мыслей и действий».

Минуло двадцать лет. И Вам уже вот-вот исполнится девяносто. Хочется ли Вам что-либо добавить к тем давним словам?

В.П. Испытываю остро возросшее чувство благодарности миру, в котором живу, самому существованию. Никогда прежде я так не радовался деревьям, траве, воде, небу... Даже дождю, сумеркам. Радуюсь и благодарю...

Апрель-май, 2018



Евгений ВЕНЗЕЛЬ

/ 1947–2018 /

благожелательные дѹхи устают
терпенью их подведена черта
они попустят — и меня убьют
они уйдут — и придет темнота
пойдут за гробом те и тот и та
бредут за гробом тот и та и те...

Евгений Вензель 1974

10 июня этого, не високосного, но жестокого и щедрого на расставания, года ушёл Евгений Вензель. За все семьдесят отведенных ему судьбой лет о нем не написали столько, сколько за несколько дней от известия о смерти до похорон. Пожалуй, точнее всех — Варя Князева, знавшая Женю с начала 60-х, с блаженного «дерзанского» литературного детства: «не было в мире человека, менее способного к общению, чем Вензель»... Да, в сущности, это и не было общением, скорее он был наблюдателем, не диалогистом, а странным «резонером», на манер актера театра XVIII века, который «говорит в сторону»... Но реплики его были с «абсурдятиной» и «умственной извилиной»... А облик? С юности, с той самой Малой Садовой, на которой сходились поэты в 60-е годы прошлого уже века, он запомнился одиноким в толпе, отрешенным и настороженным... Живой репликой Жана Габена из «Набережной туманов», или ранних портретов Маяковского, с папироской во рту... Но вот, что удивительно — в стихах, даже самых ранних, в «фигурах речи» подражательности не было. Он видел остро, и считывал особенности времени и себя в нем — точно. Может быть поэтому так легко вставлял в свои книги, а их и было-то всего две, вышедшие с промежутком почти в десять лет, совсем ранние стихи, в которых он и «сканировал» себя настоящего... С той особенной онтологической тоской, сологубовской «недотыкомностью», злой (или нет?) иронией, которая отличает его от многих и многих... Услышанные или прочитанные его стихи запоминались, посему, когда он стал их дописывать /или завершать/ в конце 70–80-х, знатоки позволили себе недоумение — а за-

чем? — ведь было лучше в краткости. Я написала — услышанные — и подумала, что это не точно: он почти не читал стихов вслух, а если и читал, что-то происходило с голосом, он куда-то девался, при явном артистизме физического естества, он голосом не мог «актерствовать». Иногда за него читали друзья, или он давал машинописный лист — «на, читай!». Машинопись его и «кормила». «Я — хорошая машинистка», это его похвальба, и, до зры «компьютеризации всей страны», он перепечатывал научные статьи и диссертации для филологов и историков, понимая суть и не делая опечаток.

Первая публикация его стихов случилась в самиздатском альманахе FIORETTI, в 1965 году, потом были «Часы», «Митин журнал», наконец — «Голубая лагуна» Кузьминского...

Перерывы в публикациях были огромными, как и в писании стихов. А что происходит с настоящим поэтом, когда тот впадает в ступор, знает только он сам.

Женя не без гордости хвалился, что некий коллекционер собирал и даже покупал его рукописи и рисунки (он же окончил 190 школу, в те годы как-то породненную с оппозиционной Академией художеств «Мухой», и преподавали в школе хорошие художники, в том числе и ученики Петрова-Водкина братья Прошкины), на эти деньги и была куплена машина, потом стоявшая во дворе и годная только на то, чтобы в ней покурить...

Хотя отцы-основатели Музея Нонконформистского искусства какое-то время пытались поддержать физическое выживание владельца авто, используя его в качестве перевозчика живописи и графики выставляющихся художников.

Вот там же, на Пушкинской, 10, в Большом зале Музея, случилось в 2006 году и последнее авторской чтение поэта Евгения Вензеля. И он пришел в мытой, но не глаженной рубашке, волновался до дрожи, убегал, прибегал, читал, злясь на себя, вызверился на искусствоведку, которая пришла на выставку и «шарилась» у него за спиной, пока он читал... Дочитал, выдохнул... И ушел...

А теперь — ушел совсем. Если не будем «вбивать в головы», привыкшие к «устанканенным» спискам в несколько затверженных имен, имена, которые и есть н а ш е время... Потому что не всем дано выразить, не специально и натужно, а легко и естественно как дыхание, философию своего времени и то чувство оставленности, ненужности, неприкаянности, которое было знаком или клеймом...

Вот еще несколько важных для меня стихов Жени:

* * *

Лихо на болоте серый пел кулик,
Вышибая звуки носом о кадык.
Что же ты распелась, птица, мать твою?
Отвечала птица: со стыда горю.

Петь я не умею, но имею страсть
Сидя на болоте песни распевать.
Молча подивившись наглости такой,
Наподдал я птице левою ногой.
Сломанное тело, перия в крови,
Но сказала птица: черт вас побери!
Я над ним склонился, глянул в мертвый лик.
Ах ты, неудачник! — прошептал кулик.

1960-е

* * *

Просыпайся. Ты слишком глубоко уснул.
А проснулся — почти оплешивел.
Кто-то снес на толкучку прадедовский стул,
а любимую к площади вывел.
Брюки жгут ожиревшие в лежке бока.
Восемь трещин на высохшем мыле.
Руку к пачке — но там уже нет табака.
К телефону — его отключили.
Ты по лестнице, всеми дверями гремя,
к людям, кои у стеночки встали.
Спросишь их: а вы здесь не видали меня?
И ответят они: не видали.

1977

* * *

Ах ты тело, мое тело,
Тело цвета белого!
Много пило, мало ело,
Ничего не делало.

Тамара Буковская

ВЕНЗЕЛЬ И АКСЕЛЬБАНТ

(минимемуар)

Сказали: умер Евгений Вензель. Полез в «Самиздат Ленинграда» посмотреть, когда он родился. 1947. Поколение детей Победы.

Я знал его совсем чуть-чуть. По касательной, по Малой Садовой. А вот мой приятель Гоша Никитин учился с ним в школе, и когда набирал достаточную дозу, начинал цитировать пятое стихотворение из «Малого татарского цикла»: «Приходи, о безгрудая тишь,/из канавы меня выволакивать». Гоше больше не наливать, — услышав эти строки, сразу говорили знакомые.

Евгений Вензель всегда наливал себе сам. Он курсировал по Невскому с поднятым воротником пальто, которое напоминало шинель, без шапки в любой мороз. Юному мне он представлялся Наполеоном на острове св. Елены (кстати, обе его жены были Елены), или Бодлером, с выкрашенными в зелёный цвет волосами. Для тогдашнего воспалённого воображения он был живым воплощением плеяды «проклятых поэтов».

Иду однажды по Аничкову мосту и вдруг слышу: «Аксельбант!» (моя настоящая фамилия Аксельрод). Подслеповато оглядываюсь и замечаю удаляющийся хищный профиль Вензеля. Или. Захожу в «Дом Книги». 1972 год. Около касс нездоровое оживление. Оказывается, продают Тао Юань-Мина. Он стоит 36 копеек. Лихорадочно пересчитываю мелочь. Ровно 36! Потом встречаю на Невском Вензеля. Показываю книжку. «Вы третий человек, который говорит мне об этом. Ленинград — большая деревня», — чеканит он и удаляется с крейсерской скоростью, дымя «Беломором». Потом он брал у меня на время пишущую машинку «Колибри». Потом встретил его в Манеже на большой выставке ТЭИИ. Он спросил об А. Нике. Я начал рассказывать. «Ну что ты плетешь», — прервал меня Вензель. Его интересовал лишь факт существования моего двоюродного брата, а не подробности.

Помню его в Троицком соборе, когда отпевали Лену Шварц. Он ходил кругами в толпе молящихся. И что-то безумное невнятно говорил, словно оказался снова в старом своём стихотворении о похоронах А.А.А.

Ещё смутно помню, как сон, что был у него на Петроградской, по-моему, тогда только-только родилась дочь, и Евгений убеждал меня в необходимости преодоления детских комплексов.

Что-то о нём изредка вспоминала Лена Шварц, с которой я дружил последние пять лет её жизни. Так, по её словам, на протяжении десятилетий после развода, он допытывался по телефону, с кем она жарила картошку ещё в том тысячелетии. А когда в качестве гонорара ему дали какой-то малоподвижный автомобиль (по слухам, он стоял под окном, и Вензель в нём курил), он допытывался, действительны ли ещё её водительские права.

Когда стал делать подборку его стихов к этой мемориальной публикации, я оказался в затруднении, — шлягеры напечатаны уже не только в двух его прижизненных книжках, но и в антологиях, поэтому я сосредоточился либо на других редакциях («Мой отец еврей из Минска»), либо не столь известных стихах.

Большой поэт был Евгений Вензель. Вечная ему память.

Борис Констриктор

* * *

Мой отец — еврей из Минска.
Мать пошла в свою родню.
Было б, право, больше смысла
вылить сперму в простыню.

Но пошло, и я родился
половинчатей отца:
я — как русский — рано спился,
как еврей — не до конца.
И звезда моя навечно
неясна и далека.
Если вдруг пятиконечна,
не миную кабака.
Ну а если из тумана
мне покажется желта
из жидовского шалмана
иудейская звезда?
Будет так или иначе —
Все равно не сдобровать, —
Две звезды, кряхтя и плача,
Душу могут разорвать.

1968

* * *

Я ношу свою кепочку набок.
Я съедаю на завтрак лимон.
Обожаю я толстых прорабок
в хриплом мареве их панталон.
Бледным миром дышу и вдыхаю,
чаровница, его аромат.
И бестрепетно я отцветаю,
скушный, как о марксизме доклад.
Но куда, но в какую халупу,
чаровница, тебя приведу
из столовой? Там требуют супу!
Там безрадостно, словно в аду.
С этой улицы темной и дерзкой?
Чаровница в зеленом шарфе!

Из дружины какой пионерской?
Из какого глухого кафе?
Может быть, истанцованной зальцы
полупьяный мне воздух глотнуть?
Чаровница! Замерзшие пальцы!
Каждый пальчик нам нужно обдуть,
обогреть! Ты искусница! Детка!
Чаровница! Изменница! Мать!
Погоди, только звякнет каретка,
станем пальцы твои целовать!

Каждый день обветшалые мозги
расступаются. Детка, шагай.
Чаровница, ты в детской матроске,
а себе я твержу: умирай.

71 г.

* * *

В этом городе, жутком, стозубом,
когда ветер листья ворошит,
громко прячется, плачет по трубам
некто бледный, и жестью шуршит.
Истерически города прячься,
в темных трубах он только живет,
и стозубое племя иначеств
не допустит он в свой обиход.
Тяжко воют и лают окрести.
Никогда им всю грязь не соскресть.
Но, забившись в застынувшей жести,
он уже не ответит: я здесь.

1974

* * *

Как октябрьскую сажу и охру
Господи, вспомяни.
Кислым духом затертого вохра
Отдается забота родни.

И тошнит меня снегом казненным
Под подошвой сограждан моих
И будильника сумрачным звоном
И вечернею трапезой их.

В снежном хламе, юродственной мути
Дайте места немного, а то
Тесно мне, как в термометре ртути.
Либи́до ты мое, либи́до.

1992



Александр КАРПЕНКО

/ Москва /

«И КАПЛЕТ ВРЕМЯ...»

Михаил Рахунов, И каплет время... Избранное. Серия «Русское Зарубежье. Коллекция поэзии и прозы». Санкт-Петербург, Алетейя, 2018

Михаил Рахунов смотрит на мир «через плечо Бога». Город Чикаго, в котором проживает ныне поэт, чем-то похож на Москву — климатом, большими расстояниями, богатой культурной жизнью. Когда я слышу строку «и каплет время», мне представляется метафизическое пространство фильмов Андрея Тарковского, когда «малая» жизнь героев утекает из ниоткуда в никуда по капельке, зеркально отражаясь в небе. «Живым быть — это ли не чудо?» — вопрошает Рахунов. В другом стихотворении поэт говорит:

Я не знаю, кто дал мне сей шанс — овладеть золотым ремеслом,
Но я призван творить, рассекая пространство и время веслом...

Есть некая мистическая история, которая способствовала превращению известного шашиста, международного гроссмейстера Рахунова (кокон) в маститого поэта и переводчика (бабочка). Ему явилась Сара Тисдейл, «американская Марина Цветаева». И попросила о помощи. В этот момент для поэта исчез барьер, отделяющий мир живых от мира мёртвых. И он начал истово переводить стихи Сары. По своему значению в судьбе Михаила знакомство с Сарой Тисдейл сравнимо с «прививкой духа»

Новую книгу поэта украшает на лицевой стороне картина Вильяма Бугро «Искусство и литература». Этот художник стоял во главе французской живописи, но не принял модернистских течений и был незаслуженно забыт, вплоть до конца 80-х годов XX-го века. Всё изменила одна-единственная экспозиция его работ во Франции в 1984 году... Эта выставка вернула ему имя и славу, а его работы заняли достойное место в истории живописи. Картина Бугро «Искусство и

литература» выдержана в классических «Энгровских» традициях и как нельзя лучше передаёт сущность поэзии Михаила Рахунова. Книга «И каплет время...» даёт мне возможность считать поэта философом-экзистенциалистом. Порой Рахунов пишет не только рифмованные стихи, но и верлибры — и выражает в них своё творческое *credo*:

Если ты умер — значит, ты не жил.
Жить — значит полностью раскрыться.
Как раскрывается цветок
Лучам всезнающего солнца.

Михаил Рахунов убеждён: поэзия невозможна без возвышающей любви к родному языку. Язык в стихотворениях поэта — существо одушевлённое. Читаешь эти строки — и представляешь себе верного друга, которому волею судеб уготована на время участь изгнанника. Очень неожиданные стихи!

Ты вернешься в мой город дрожанием листьев,
Звоном первых трамваев, гудками машин.
Ты не можешь быть ложным, пустым, ненавистным,
Ты не можешь быть грязным, никчемным, чужим.

Ты ворвешься в дома позывною трубою,
Светом, полным надежды, речным ветерком.
Там, где каждое деревце дышит тобою,
Ты не можешь быть, слышишь, слепым чужаком.

Ты вернешься на площади, улицы, скверы,
Где сам воздух к твоим перезвонам привык.
Ты вернешься, — я верю всей силою веры, —
Оклеветанный завистью русский язык!

Сердце Михаила глубоко восприимчиво к красоте. Он умеет находить «своё» у разных писателей и художников. Блок, Пелевин и Караваджо одинаково ему понятны и близки. Не забудем: Рахунов — это не только поэт и переводчик, но и шашист, человек с ярко выраженными математическими способностями. Сама фамилия «Рахунов» переводится как «тот, кто считает». Развитие и «скрещивание» диаметрально противоположных по качеству способностей — веление нашего времени. Раньше, помнится, интеллигенцию делили на «физиков» и «лириков». Раньше почему-то считалось, что люди могут иметь только один определённый дар. Либо к точным наукам, либо к художественному творчеству. Леонардо да Винчи и Микеланджело Буонаротти считались исключениями. Но в XXI веке я всё чаще с удивлением констатирую: тот математик и поэт, тотот... Способности к точным наукам перестали мешать людям быть лириками.

Два полушария головного мозга словно бы соединились в один большой шар... И уж точно лирический склад ума не мешает поэту быть философом.

Вопросы: «кто мы есть?», «откуда?»,
«В чем жизни смысл?», и «чья причуда?»,
«Она наука или чудо?» —
Не разрешаются легко.
Они — мишени пересуда,
Блестят, как мытая посуда,
И, целясь в них, мы все покуда
Лишь попадаем в молоко.

А вот такая прекрасная философская миниатюра, посвящённая Михаилом Елене Шварц:

Мы — перелётные птицы с этого света на тот.
Тот — это бог египетский и берег невидимый — тот.
Как это грустно, что мы не встречались с тобой,
Как это грустно, что мы разминулись тропой.
Те же мелодии, тот же пронзительный звук,
Те же закрытые веки и те же движения рук.
Так, только так, отпускаются Богом грехи,
Так, только так, зарождаются в мире стихи.
Как это страшно, что плотно захлопнута дверь!..
Только теперь понимаю.
Только теперь.

Лирический дар поэта — в умении «убедить» читателя чистотой звука в своей правоте. В данном случае идёт спонтанная переключка гласных звуков — с «о» на «а» и с «а» на «о». В этом и заключается «правда звука».

Книга Михаила Рахунова «И каплет время...» очень разнообразна и насыщена. Мастерство поэта высоко оценили такие известные поэты как Бахыт Кенжеев, Евгений Витковский, Юрий Милорава. Все они очень не похожи друг на друга, и то, что поэзия Рахунова интересна представителям разных школ и направлений — залог её жизнеспособности.

7.06.18

Елена МАЛИШЕВСКАЯ

/ Киев /



ОБНИМИ СВОЙ ГОРОД

Траектории возвращений Гари Лайта

Чем лечить простуженные города? Как о них заботиться и где искать врача? Врача или знахаря, кто в этом разбирается, у кого есть опыт ухода за хворающими городами?

Искусство ухода без расставания — один из поэтических талантов; уходя, забирать с собой, уносить все свое: любовь, друзей, память, разговоры и мечты. Поэт не расстается ни с городами, ни с людьми, ни со своим прошлым. Оно отлито в образах, бережно оттенено метафорами, а его опыт — концентрированные эмоции, — хранится в подсознании, что ли, никто не знает, где все это плывет и отзывается, не затихая: «звук подков об асфальт Линкольн парка...», киевская предвесенняя капель, отраженный в Гудзоне Нью-Йорк. Перетекая из города в город, движется время в поэзии Гари Лайта, связывает XX век с XXI, скрепляет их воспоминаниями и переживаниями, досадой и восхищением.

Черты городов айта и узнаваемы, и необычны, их дни талантливы; порою солнечно, порою, «пасмурно-талантливы». В их образах, характерах и поведении преломляется дар автора. Это он видит такими свои города, это он набрасывает тонкую сеть, в которой тут же оказывается один из них, прижавшийся словно пес «теплым боком к Мичигану». Так попадет в плен поэзии Гари Лайта Чикаго, вместе с ним, одновременно с ним, и другие, а с ними, и наше воображение. «— В каком из миров, вы, любезный, живёте?»

Мы следуем за его снами, воспоминаниями, мечтами — давними, нынешними и будущими. У поэзии нет времени: и прошлое, и будущее здесь всегда в настоящем, хотя время — вот удивительный парадокс — остается одной из сквозных тем и мировой поэзии, и творчества Гари Лайта. «Есть промежуток временной — рубеж оставлен, но не занят...» Прошлое и будущее смыкают границы, и траектории поэтического полета из одной бесконечности в другую превращаются в траектории возвращений.

Города создают и особый вид поэзии, и особых поэтов — городских, перелетных. Их маршруты миграции — не с севера на юг, они связывают мегаполисы, сливают их в единое урбанистическое пространство, согревая бездушные бетонные конструкции, и наполняют их... нет, не жизнью, с этим в городах и без поэтов все обстоит неплохо, и даже не смыслом — за смысл каждый отвечает сам. «Только морем сюда, даже если открыты иные пути, только морем, а после пешком...», «В тех сферах парят и царят демиурги, нортвестернских мифов для этого мало». Стихи Гари создают объем; за сказанным, но не названным, угадываются новые области, и новые пространства, глубина и разнообразие форм жизни, способных отзываться тонкими вибрациями на слова, прозвучавшие вдали от них, но рядом с нами. Его космос чувствует нас, а мы, иногда, не понимая даже, что происходит, чувствуем космос Гари Лайта.

И если этот урбанистичный космос простудился, только поэт имеет право выписать ему рецепт. Его право не подкреплено дипломом, просто больше никто не знает, с чем подступиться к пациенту — с эпитетом, со стихотворной строкой, со стаканом чая? «Чикаго не здоровится — ты чай ему налей». Или вина. А хочеш із медом. И обними свой город.

Илья ИОСЛОВИЧ

/ Хайфа /



КАТЯ КАПОВИЧ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Катя Капович... родом из Молдавии.
Из рекламы издательства АСТ

Русская революция 1989–1992 выбросила за пределы России примерно столько же представителей интеллигенции, сколько гражданская война 1918–1920 гг. Русских или евреев? Тут я отсылаю к классической статье Бориса Парамонова «Русский человек как еврей». Константы Ильдефонс Галчински писал (1936):

Интеллигенты.
Грустная раса. Класс, что поборот.
Нищи. Раздеты.
Семей миллионы. И граммофоны
по свету с нами.

Одновременно в разных направлениях из СССР эмигрировало около двух миллионов человек с высшим образованием. Если до них доходят тексты Кати Капович, то много объяснять им не приходится — там понятна каждая буква. К примеру, безумно смешной и грустный рассказ «Доктор Ганцмахер» о том, как сотрудники журнала «Портрет» сочиняли на местном материале комментарии к французской статье про шесть способов обновить сексуальную жизнь. Все подлинно, все узнаваемо с первого слова.

В Израиле еще в 1989 году ходил анекдот: «Если новый репатриант из России сходит с трапа самолета без скрипки, значит он пианист». Как известно, Ленин выражался проще: «Интеллигенция... это говно». В отличие от ленинских времен, читать умеют все, но книги читает интеллигенция. О чем пишет для интеллигенции Катя Капович? С блестящим юмором и разящей искренностью она пишет о том, как в университетском городке лирическая героиня обнаружила у себя вшей. Еще один знаменитый рассказ Капович — история о том, как голодную героиню поймали за кражей продуктов из магазина. Как писал Артур Кестлер: «худшее мучение боги приберегают для своих любимцев, для невинных».

При этом Капович — вполне элитарный, штучный продукт эпохи. Два американских магистерских диплома, чемпион Молдавии среди юниоров по пятиборью (по пятиборью, блин!), прямая спина и прямой нос греческой богини из собрания Ивана Цветаева в музее императора Александра Третьего, премия Библиотеки Конгресса США. Две «Русских премии». Но это взгляд по диагонали. А более пристальный взгляд тут же обнаруживает следы трех эмиграций: из теплого домашнего Кишинева в холодный Тагил, потом из Кишинева в Иерусалим, а после еще в Массачусетс. Если сложить расстояния, то будет больше, чем длина перелета красавицы и героя Советского Союза Марины Расковой на самолете АНТ-37 «Родина», которая так и не долетела до Комсомольска-на-Амуре и оказалась одна в тайге. Бывшая родина Молдавия тоже оставила следы своей радиации: Кишиневский погром 1901 года, истребление евреев при румынской оккупации, военные бордели вермахта, куда сгонялись еврейские студентки, а затем уничтожались (Курцио Малапарте, «Капут»). И туда же антисемитизм родной КПСС.

Эмиграция вполне напоминает катапультирование, а несколько военных летчиков мне рассказывали, что катапультирование обычно ломает позвоночник — и в любом случае летчика стараются списать из военных кадров. Это разумно, но не со всяким проходит. Не с Катей.

Кроме преподавания и издания альманаха «Фулкрум», Катя каждый день выкладывает стихи и рассказы в Фейсбук и четыре тысячи френдов в ответ вопят: «Прекрасно! Изумительно! Молодчина! Ох, спасибо!». И даже бывшая издательница из израильской русскоговорящей прессы регулярно пишет: «Унесла!» Хотя куда она унесла? Ее газета давно приказала долго жить.

При этом Катя пользуется довольно ограниченным русским тезаурусом, почти без обценной лексики, но дело не в этом. Когда она, так сказать, приплясывает и играет на своем аккордеоне и нажимает перламутровые клавиши, френды вздыхают как один и плачут в заранее обозначенных местах. Как писал Брехт: «Это искусство, скотина, а ты говоришь: “Мило!”»

Капович не вставляет никуда мораль или оценки — это традиция Чехова, которая его отличала от Короленко. А что отличает Капович? Ее герои не живут в имениях, не продают с молотка вишневых садов, не выдавливают по капле раба... И их настроение гораздо более сумрачно и беспросветно. Ведь певец сумерек, в сущности, был довольно беззаботным и веселым человеком (судя по Рейффилду, «Жизнь Антона Чехова»). У временных преподавателей в Кембридже другие заботы.

В семье моего дедушки Чехов был иконой, его портреты висели, где только можно, украшенные ветками лавра, и собрание сочинений (издатель А.Ф. Маркс) стояло в книжном шкафу на лучшем месте, в кожаных переплетах. Чехов тоже писал стихи, процитирую мое любимое «Зайцы и китайцы»:

Мораль у басни сей одна:
Кто зайцев хочет кушать,
Тот ежедневно, встав от сна,
Папашу должен слушать.

Катя Капович обошлась без зайцев и продолжает не слушаться.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И. Савкин
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство
«Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53

Подписано в печать 14.08.2018
Формат 66x88^{1/16}. Усл.-печ. л. 21
Печать офсетная. Заказ 267

ISSN 16192966

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#81

www.kreschatik.kiev.ua

https://vtoraya-literatura.com/razdel_2211_str_1.html

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы — перенесенный
в ментальное пространство
проспект, как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...

All rights reserved © Kreschatik

